Стебель травы

Антология переводов

KRESCHATIK
ПЕРЕКРЕСТОК



Стебель травы. Антология переводов поэзии и прозы

Антология, Борис Н. Марковский

Аннотация
Антология. Составитель Борис Марковский. Стебель травы. Антология переводов поэзии и прозы
Из американской поэзии
  Эми Лоуэлл
    «Белые лошади луны несутся по небу…»
  Денизе Левертов
    Весенняя пора
  Анонимный автор
    Кокаиновая Лил
  Эдгар Ли Мастерс
    Молчание
  Брайан Паттен
    Стебель травы
Из польской поэзии
  Вислава Шимборска
    К вопросу о статистике
    Похвала снам
  Збигнев Херберт
    Бездна Господина Cogito

Из английской поэзии
Льюис Кэрролл
Охота на Снарка
Приступ первый. Высадка
Из американской поэзии
Джон Апдайк
«Деревья питаются солнцем...»
Жар
Эдгар Аллан По
Эльдорадо
Аннабель Ли
Из французской поэзии
Жак Превер
Прогулка Пикассо
Из китайской поэзии
Лао Цзы
От существования – к сущности
Из «Книги Пути». (Дао Дэ Цзин)
18
33
44
67
Из английской поэзии
Джон Донн. Из «Священных сонетов»
«Ты – мой Творец. Твой труд ли пропадет?..»
«Смотрите, сэр, как мужественный пла-

мень…»
Джон Китс
Кузнечик и сверчок
Из ирландской поэзии
Шеймус Хини
Копаем…
Персональный геликон
Фонарь боярышника
Дождь дирижер
Мята
Из украинской поэзии
Николай Луговик
Вязание
Осенние мытарства
Из немецкой поэзии
Герлинд Фишер-Диль
1. Бонвиван и скромница
2. Чувствительный
3. Кокетка
10. Болтливая
11. Чувствительная
13. Льстец
16. Недоверчивый
21. Хвастун
22. Эгоист
25. Мечтатель

26. Фальшивая
29. Аскет
37. Истеричная
38. Влюбленная
43. Равнодушный
47. Дипломат
48. Интеллигент
49. Честный
50. Обыватель
52. Любимец
60. Наивная
63. Диктатор
Гюнтер Грасс. Из сборника «Преимущества гончих кур»
Фасоль и груши
Открытый шкаф
Комариная мука
Школа теноров. (фрагмент)
Из немецкой прозы
Юдит Герман
Хантер – Томпсон – Музыка
Из средневековой японской поэзии
Кокан Сирэн. (1277–1346)
Осенним днем в полях гуляю
Сэссон Юбай. (1290–1346)
В начале осени

Дзякусицу Гэнко. (1290–1367)
Забрался в горы
Брожу в горах
Дзэккай Тюсин. (1336–1405)
А впрочем, где-то есть гора Пэнлай
Старый храм
Итю Цудзё. (1348–1429)
Сочинил во время вечернего дождя у моста
Из итальянской поэзии
Винченцо Кардарелли
Венецианская осень
Из немецкой прозы
Уве Копф
Алая буква
Из латиноамериканской поэзии
Хорхе Луис Борхес
Трофей
Читатель
Границы
Живущий под угрозой
Сесар Вальехо
Никто уже не живёт…
Желание утихло…
Я буду говорить о надежде
Из испанской поэзии
Хуан Рамон Хименес

Зимняя песня
Нищие
«Несут золотые стрелы…»
«Поэзия, рассветная…»
Утро в саду
Актуальность
Любовь
Идеальное море
Творение
Из ирландской поэзии
Сэмюэл Беккет
Cascando
1. «Превысив отчаянье…»
2. «Повторяю…»
3. «Если не полюбят…»
Из польской поэзии
Ежи Групиньский
Антифона
Апостроф
Свет
Стихи из памяти
К читателю
Письмо на подоконнике
Перо
Плод
Разговор со стеной

Нелюбимая
Заклятье
Из аргентинской прозы
Мануэль Рохас
Заказаны, но не пойдут...
Мужчина с розой
Из кубинской прозы
Эвора Тамайо
Капитан ждет
Листок из свадебного альбома
Сильвио Родригес
Реальный мир
Из австрийской поэзии
Георг Тракль
Плач
Вороны
Гродек
Хоэнбург
Топь
Элису
Из французской поэзии
Сен-Жон Перс
Анабасис
Песня
Анабасис
1

2
3
4
5
6
7
8
9
Из ирландской поэзии
Шеймус Хини
Оденеск
Электрический свет
Из сумки
I
II
III
IV
Посещение больного
Люпины
Из австралийской поэзии
Джон Кинселла
Циммерман, Анаксагор и Большой Белый Кит
Modus Operandi
Шторм
Штиль
Развлечение

Изоляция, навигация, танцы
Кристалл
Благодать
Мертвое море
Циммерман организует танцы для островитянок и сифилитических моряков
Сибариты
Антропология Кука
Циммерман о политике Кука
Циммерман и пресса
Из немецкой поэзии
Эрих Фрид
Триптих. (Франкфурт – Некаргемюнд – Дилсберг)
1. «Четкие картины…»
2. «И я в самой сердцевине…»
3. «Некар отражает…»
Условие
Юлиан Туэ
Осенние краски
Желтая шляпка
Георг Гейм
Printemps
Спящие
Середина зимы
Берлин I

Umbra Vitae
Из словацкой поэзии
Юрай Калницкий
Эрос и Психея
«Усмешка местью самаритян...»
«Гнусный инцест...»
Опускаюсь по кругу
Из польской поэзии
Вислава Шимборска
Натюрморт с воздушным шариком
Приятелям
Кшиштоф Лисовский
Из цикла «Пятнадцать тысяч дней»
Послание 3; снящееся
Страницы гербовника
Схватка с ангелом
Придут посмотреть на поэта
Юлиан Корнхаузер
Из цикла «Камушек и тень»
«И уже ничего...»
Карандаш
Коробка
Стены
Бронислав Май
Из цикла «Свет»
Знаки

Спускаясь вечером с горы Сальваторской
Просьба
Спокойной ночи
Из французской прозы
Жильбер Сесброн
Старик в саду
Из болгарской прозы
Стоян Вылев
Дивный волк
Из якутской поэзии
Елена Слепцова-Куорсуннаах
Родословная народа Саха
Из рода боронг-саха
Сон
Весенний ветер
Однажды ночью
Я вернусь
Из грузинской поэзии
Нико Гомелаури
«С кем в аду окажусь? – Будет враг ли мне, друг ли?..»
«Десять секунд, как с тобой повстречался…»
«„Я“ мое второе…»
«Не осталось сердца, почек…»
«Если дали мяч, то нету поля…»
Из немецкой поэзии

Эрих Мария Ремарк
Он погиб под Можайском
Из немецкой прозы
Зигфрид Ленд
Как у Гоголя
Из итальянской поэзии
Аттилио Бертолуччи
Ветер
Из сборника «Зимний путь»
«Оставьте меня на дороге, истекающим кровью...»
Понедельник
Годы
Октябрь
Сентябрь
Ни один из вас
Из немецкой поэзии
Райнер Мария Рильке
В старом доме
На Малой Стра́не
Дворянский дом
У Святого Вита
Вигилии
I
II
У капуцинов

Когда наступает весна
В предместье
«Здесь воздух затхл, как в комнате больного…»
«Ночь залегла в глубинах парка…»
«Над белым замком хлопьев хоровод…»
Осень
«Здесь, что ни день – один и тот же сон…»
Суровый час
Теодор Шторм
Осень, I
Альфред Лихтенштейн
Сумерки
Фридрих Гёльдерлин
Дубовая роща
Христиан Моргенштерн
Парабола
1. «Ты знаком с фигурой полонеза…»
2. «Два твои зрачка взрывают полночь…»
3. «Я из породы птиц, и потому…»
Германн Гессе
Без передышки
Гавот
На севере
Элеонор
Гюнтер Айх

Конец лета
Где я живу
Инвентаризация
Оптика
Арьергард
Послание дождя
Эй!
Присутствие
Конец августа
Предзимье
Рабочий кабинет
Пауль Целан
Песня в пустыне
Воспоминание о Франции
Из немецкой прозы
Генрих Ран
Креатура
Чек-чек
Из французской прозы
Франсуа Деблю
Из двух книг
1
2
Из иранской прозы
Амир Ноепараст
Поклонник ночи

Из английской поэзии
Исаак Розенберг
Дочери войны
Охота на вшей
Рассвет в окопах
Без вести пропавший
Еврей
Разрушение Иерусалима вавилонскими ордами
Горящий храм
Через эти пасмурные дни
На войне
Получая вести с фронта
Из немецкой поэзии
Пауль Целан
Корона
Некий гул
Из тьмы во тьму
Я слышу зацвел топор
Легенда
Склон
Желание
Георг Тракль
Ночное смирение
Воро́ны
Осенний вечер

Аминь
Вечернее обращение к сердцу
Маленький концерт
Ночной романс
Тлен
Зима
«В окружении женщин подтянуто горд…»
Музыка в саду. Мирабель
Гродек
Вдали
Человеческая скорбь
Из польской поэзии
Александр Навроцкий
Цецилия
Изольда
Мария
Влюбленные
Барбаре
Из английской поэзии
Венди Коуп
Разница во мнениях
Замкнутый круг
Беспокойство
Цветы
Потеря
Попытка верлибра

Тичь Миллер
Из австралийской поэзии
А. Д. Хоуп
Счастье королей
Смерть птицы
E questo il nido in che la mia fenice?
Прометей освобождённый
Муза
Из окна последнего вагона
Разглядевшей
Из греческой поэзии
Константинос Кавафис
Декабрь 1903 года
Итака
Окно табачной лавки
Дом с участком
На корабле
Из немецкой поэзии
Людвиг Фельс
Попытка стать ближе. (еще раз для Рози)
Одиночество это лишь слово, чтоб выразить одиночество
Природа
Немецкие стихи
Ах да, и вправду
Близость

Любовная жизнь
Стремительное чувство
Территория любви, ну конечно
Это
Из литовской поэзии
Витаутас Брянцюс
Защитное слово ветрам
В океане, рядом с вечностью
Перечитывая старые письма в снегопад
Крымский ноябрь
Из немецкой поэзии
Райнер Мария Рильке
Последний дом
Георг Тракль
Осень
Фён в предместье
Стефан Цвейг
Брюгге
Из украинской поэзии
Игорь Павлюк
Самопародия
Весеннее
В баре
Юрко Издрык
Demосезон
Third

Пленение
Fly
Пределы
Ярослав Павуляк. (1948–2010)
«В моей каморке среди ночи…»
«Безлюдно здесь…»
«Кого-то нет, кого-то не хватает…»
«Вчера сегодня завтра послезавтра…»
«Голос колодца…»
«Вознамерилось солнце взойти…»
«Ищем…»
«Флейты дождя…»
«Будущее…»
«Вот место…»
«Знаю, ночка, знаю…»
«Наши предки…»
«Лежит лицо на тротуаре…»
«Не надо тёрна и тюрьмы…»
«Во рту человека…»
«В час ранний рождения солнца…»
Из английской поэзии
Мервин Пик
Из книги «Звуки и призраки»
К MAB
Со мной повсюду призраки-вояки
Разрушенье

«Измена!» – крикнул пальцев хор
Братство немоты
Из книги «Стеклодувы»
Калибан
Теченье, наполняя руки-реки
Сидит на сердце Джексона ворона
Другие стихотворения
Глаза мои, откуда вы взялись?
Натурщик
Твоей любовью взятый в плен
Крылья
Старый седой осёл
Круговорот голов
Из латышской поэзии
Леонс Бриедис
Мой шестой подвиг
I
II
«В ночи звучит призыв как плетка хлесткий…»
Выстывшая математика
«На этих берегах штормящих…»
Варвары
Волны пустыни
«Куда несут нас эти дни?..»
Через ливонские поля

De Tristia
«Пред тем, как небосвод звезду зажжет…»
«Что в срок и свято начиналось…»
Из еврейской поэзии
Моше (Моисей) Кульбак
Вильно
1. «Кто-то в талесе бродит среди твоих стен…»
2. «Грустя в одиночестве, бодрствую в городе ночью…»
3. «Ты – псалтырь из железа и глины…»
4. «Грусть – твоя радость, торжество глубокого баса…»
5. «Ты – темный талисман, вправленный в Литву…»
6. «И на старой синагоге оцепеневший водонос…»
Из белорусской поэзии
Тимур Хомич
Мойщица посуды
Маша
Стих написанный за полчаса до того как ничего не случилось
Обнявшись, мы могли лежать так до утра…
Когда я сажусь писать стих…
Сидя в электричке

Когда-то я снимал…
Из словацкой поэзии
Зузана Куглерова
Баллада
Гасну
Ожоги под белым пеплом
Звезда
Из украинской поэзии
Остап Сливинский
Неопределённая форма
«И даже в самом конце…»
Алинка в саду с большим псом
Из литовской поэзии
Генрикас Радаускас
Зимняя песня
Белые мельницы
Сказка
Элегия
Зацветает каштан
Дождь
Вечер
Сон в летнюю ночь
Графство Юнипер
Начальник станции
Стрела в небесах
Фонтан

Из белорусской поэзии
Андрей Хаданович
«Назначишь мне стрелку в песочных часах, чтобы я…»
«Падает август с метеоритных ног…»
«Так потянешь за шпильку, а вытянешь ветер в причёске…»
Город, который никогда не спит. (так и не адаптировался к местному времени)
Ночь музеев. Старинная грузинская песня
Детали
Из датской поэзии
Нильс Хав
Женщины Копенгагена
Моя фантастическая авторучка
Визит моего отца
Проблемы с сердцем
Охота на ящериц в темноте
Анестезиологи обсуждают астрономию
Кафе «Пушкин»
Из польской поэзии
Кшиштоф Шатравский
Продавец имен
День рождения
Ночь Дездемоны
Кладбище в Черновцах

Теория малого взрыва
Сон в летнюю ночь
В дороге
Теория большого взрыва
Битва наших встреч
Из украинской поэзии
Галина Крук
Формальная логика
«Ничто не спасёт нас от этого разговора…»
Тактическая правота
«На линии огня…»
«Самый устойчивый человек…»
Freefall in Love
«В такую ночь как эта…»
Главное
Самооправдание
«Не забыть бы о самом главном…»
Из польской поэзии
Вислава Шимборска
Негатив
Военный парад
Аннотация
Лагерь голода под Яслом
Радость письма

Аннотация

В книгу вошли избранные переводы (как поэтические так и прозаические) опубликованные на страницах журнала «Крещатик» на протяжении почти четверти века его существования. Более семидесяти авторов представляют английскую, американскую, австрийскую, австралийскую, немецкую, французскую, итальянскую, ирландскую, испанскую, латиноамериканскую, литовскую, польскую, белорусскую, датскую, словацкую, украинскую, якутскую и японскую поэзию, а также аргентинскую, болгарскую, иранскую, немецкую, французскую прозу.

Антология
Составитель Борис Марковский
Стебель травы
Антология переводов поэзии и прозы

* * *

© Авторы переводов, 2021
© Б. Н. Марковский, составление, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Из американской поэзии

Эми Лоуэлл
«Белые лошади луны несутся по небу...»

Белые лошади луны несутся по небу,

Золотыми копытами бьют о стекло небес.

Белые лошади луны – антиподы квадриги Фаэтона

Золотыми копытами бьют о зеленый фарфор небес.

Летите, лошади!

Изо всех сил старайтесь,

Разбрызгивайте молочную пыль звезд,

Пока тигры солнца не слижут вас

Киноварью своих языков.

Перевод с английского А. Хорунжего

Денизе Левертов
Весенняя пора

Красные кроличьи глаза
не грустны. Никто не проплывет уже
в барке мимо печальной золотой деревеньки. Закат
оставит ее в покое. Если
шторы висят косо,
в этом никто не виноват.
Вокруг… вокруг… вокруг
повсюду один и тот же звук
вращающихся колес и вещей,
обещающих стать старше, обещающих
стать тише. Если собаки
перекликаются
всю ночь, и их глаза
вспыхивают красным, то это
никого не касается. Им принадлежит
огромное пространство темноты,

через которое можно обмениваться лаем. Кролики
станут точить зубы на
весеннюю луну.

Перевод с английского. В. Билецкого

Анонимный автор
Кокаиновая Лил

Вы слышали когда-нибудь о Кокаиновой Лил?

Она жила в кокаиновом городе на Кокеин-Хил.

Были у нее кокаиновая собака и кокаиновый кот

И дрались они с кокаиновой крысой каждую ночь напролет.

Были у Лил кокаиновые волосы на кокаиновой голове

И кокаиновое платье, которого нет нигде.

Шляпа с нежными перьями и, как снежный вихрь, белье,

И кокаиновая роза венчала ее пальто.

Золотые фаэтоны на Млечном Пути,

Серебряные змеи, серые слоны,

О, кокаиновый блюз, какая в них грусть!

О, кокаиновый блюз, мне плохо, ну что ж, и пусть!

Однажды холодной ночью отправилась Лил погулять

И там она так нанюхалась, что мне вам не передать.

С Пивной Головою Мэчем был там одурманенный Слим,

Была там Лиза Кэнчкаки и с нею Йен Ши Джин.

Еще и Гашиш Елена, Опиумная Рожа Малыш,

По скользкой взбирались лестнице

И снова катились вниз.

И был там Стремянка Кит

В шесть футов верзила-бандит,

В придачу еще и сестрички

Покмаке Попейте Водички.

Уже под утро, почти к четырем,

Они заискрились самим рождеством.

Пришла Лил домой отдохнуть и поспать,

Да пришлось ей в постели концы отда-

вать.
Сняли с нее кокаиновое пальто,
С перьями шляпу, кокаиновое белье.
Остался на камне рефрен один:
Жила и ушла из жизни, нюхая кокаин.

Перевод с английского А. Хорунжего

Эдгар Ли Мастерс
Молчание

Я знаю молчание звезд и моря

И молчание города, когда он отдыхает.

И молчание мужчины и девушки,

И молчание, о котором лишь музыка может найти

подходящее слово.

И молчание лесов, прежде чем налетят

весенние ветры,

И молчание больного, когда его глаза странствуют по комнате.

И я спрашиваю: для каких глубин нужен язык?

Степной зверь воет, когда смерть забирает

у него детеныша,

Но мы теряем дар речи перед действительностью,

Мы безмолвствуем,

Есть молчание ненависти

И молчание великой любви,

И молчание глубокого мира памяти,

И молчание омраченной дружбы,

И молчание духовного кризиса,

Пройдя через который, душа попадает в сферу

Более высокого понимания жизни;

И молчание богов, понимающих друг друга без единого слова.

И есть молчание поражения,

Молчание несправедливо наказанных,

И молчание умирающего, чьи руки внезапно сжимают вашу,

И есть молчание отца и сына,

Когда отец не может объяснить свою жизнь,

Даже если бы он не был понят за это.

Есть молчание, которое наступает между мужем и женою.

Есть молчание потерпевших поражение;

И есть безбрежное молчание покоренных наций

и побежденных вождей

Есть молчание Линкольна, думающего о своей

бедной юности,

И молчание Наполеона после Ватерлоо,

И молчание Жанны Д'Арк, объятой пламенем:

«Благословен Христос!»,

Показывающее в двух словах всю скорбь, всю надежду.

И есть молчание возраста, слишком мудрое,

чтобы произнести его

Тем, кто еще не жил.

И есть молчание мертвых,

И если вы, живые, не можете рассказать

О своем опыте, о своей мудрости,

Почему вы удивляетесь тому, что мертвые

не говорят о смерти?

Перевод с английского А. Хорунжего

Брайан Паттен
Стебель травы

Ты просишь у меня стихотворение
Предлагаю тебе стебель травы
Говоришь – это не то
Просишь у меня стихотворение

Я отвечаю что стебель травы подойдет
Он покрыт изморосью
Он более непосредственен
Чем любой из моих образов

Ты говоришь – это не стихотворение
Всего лишь стебель травы а трава
Вовсе не то
И все же вот тебе стебель травы

Ты раздражена
И говоришь – так легко предложить траву
Но это абсурд
Ведь любой может предложить траву

Ты просишь у меня стихотворение
Что ж я написал тебе трагедию
О том как все трудней и трудней
предлагать тебе стебель травы

И о том как по мере твоего созревания
Еще сложнее тебе будет его принять

Перевод с английского А. Хорунжего

Из польской поэзии

Вислава Шимборска
К вопросу о статистике

На сто человек
знающих все лучше
– пятьдесят два,
неуверенных в каждом шаге
– почти все остальные,
готовых помочь,
если это не продолжится долго
– до сорока девяти,
добрых всегда,
ибо не могут иначе
– четыре, ну может пять,
склонных к восхищению без зависти
– восемнадцать,
введенных в заблуждение
молодостью, которая проходит
молодостью, которая проходит
– плюс минус шестьдесят,
тех, с которыми не шутят

– сорок четыре,
живущих в постоянной тревоге
перед кем-то или чем-то
– семьдесят семь,
способных к счастью
– двадцать с чем-то, самое большее,
не опасных по одиночке,
дичающих в толпе
– свыше половины, наверное,
жестоких,
когда их вынуждают обстоятельства
– этого лучше не знать,
даже приблизительно,
умных после неудачи
– немногим больше,
чем умных перед неудачей,
ничего не берущих от жизни, кроме вещей
– тридцать,
хотя хотелось бы ошибиться,
съежившихся, изболевшихся
и без фонарика в темноте

– восемьдесят три
раньше или позже,
справедливых
– достаточно много, ибо тридцать пять,
если же эта добродетель соединяется
с усилием понимания
– три,
достойных сочувствия
– девяносто девять,
смертных
– сто из ста.
Число, которое до сих пор не поддается изменению.

Похвала снам

Во сне
я пишу как Вермеер Дельфтский.

Я бегло говорю по-гречески
и не только с живыми.
Я веду машину,

которая мне послушна.

Я талантлива,
я сочиняю большие поэмы.
Я слышу голоса
не хуже чем серьезные святые.

Вы были бы поражены
блеску моей игры на фортепиано.

Я убегаю как должно,
то есть из самой себя.

Падая с крыши,
я умею мягко упасть в зелень.

Мне не трудно
дышать под водой.

Я не сетую:
мне удалось открыть Атлантиду.

Меня радует, что перед смертью
всегда я могу проснуться.

Тотчас же после начала войны
я поворачиваюсь на бок поудобней.

Я дитя эпохи,

но не обязана быть им.
Несколько лет тому
я видела два солнца.

А позавчера – пингвина.
Совершенно отчетливо.

Збигнев Херберт
Бездна Господина Cogito

Дома всегда безопасно
но сразу же за порогом
когда утром Господин Cogito
выходит на прогулку

перед ним – бездна
это не бездна Паскаля
это не бездна Достоевского
это бездна
по мерке Господина Cogito

ее особая черта
это и ни бездонность
и ни пробужденье ужаса

она следует за ним как тень
придерживает шаг перед булочной
в парке через плечо Господина Cogito
читает с ним газету

тягостная как экзема

привязчивая как собака
слишком мелкая чтобы поглотить
голову руки и ноги

быть может когда-нибудь
бездна вырастет
бездна дозреет
и станет серьезной

если бы только знать
какую пьет она воду
каким ее кормить зерном

сейчас
Господин Cogito
мог бы набрать
пару горстей песка
засыпать ее
но не делает этого

итак когда
он возвращается домой
он оставляет бездну
за порогом
старательно прикрывая ее

куском старой материи.

Господин Cogito
и чистая мысль

Господин Cogito стремится
достичь чистой мысли
хотя бы перед засыпанием

но уже само стремление носит
в себе зародыш краха
оттого-то когда он доходит
до состояния что мысль уже как вода
большая и чистая вода
у равнодушного берега

вода вдруг рябит
и волна приносит
консервные банки
полено
пучок чьих-то волос

вправду сказать Господин Cogito
не совсем без вины
он не мог оторвать

свой внутренний взор
от почтового ящика
в ноздрях его был запах моря
сверчки щекотали ухо
и он чувствовал ребрами пальцы отсутствующей

он был обычный такой как другие
меблированные мысли
кожа руки на ручке стула
след нежности
на щеке

когда-нибудь
когда-нибудь позже
когда он остынет
он достигнет состояния ***сатори***

и будет как рекомендуют учители
пуст и
удивителен

Перевод с польского В. Барского

Из английской поэзии

Льюис Кэрролл
Охота на Снарка

ТД

е

ρ

з

а

н

и

е

в

восьми

приступах

Предисловие переводчика

Досужий читатель!.. Обращаюсь к тебе в надежде, что ты отринешь страсти, обуревающие героев поэмы, хотя бы на время чтения. Это необходимо, ибо иначе ты упрекнешь знаменитого автора «Алисы в стране чудес» в бездарности, а произведение его уподобишь пустому кривлянию, чем еще раз повторишь традиционную ошибку отечественного литературоведения.

Но не зря же с 1876 года, когда была опубликована поэма, она дарит крылатые фразы для цитат и эпиграфов, имена ее персонажей становятся названиями яхт, гостиниц и т. д.

Что такое Снарк? — гадают не только герои Кэролла, но и легион исследователей. Несть числа объяснениям этого слова (любимое — сочетание дракона с акулой). Толкований самой поэмы еще больше — от философских сопоставлений с гегелевским абсолютом до намеков на конкретные клубные скандалы. Объединяет все эти версии одно — охота на Снарка, которая, как ведётся, пуще неволи. Автор, говорят, справедливо считал свою поэму годной на все случаи жизни.

Предлагаемый перевод концептуально соответствует оригиналу, однако почти не превра-

щает Йонаса-Пронаса в Иванушку-дурачка. Так, переложив большинство слов-нонсенсов, я сохранил природные названия всяческих чудовищ. Прежним осталось имя капитана команды, отправившейся в поход за Снарком — имя бравого Белмана. Так назывались глашатаи, скликавшие колокольчиками горожан. Моряки же в колокол (bell) «били склянки», отмеряя время. И Белман Кэрролла неумолчно звонит в свой единственный навигационный прибор — колокол — и всех торопит.

Не будем же и мы мешкать. Итак:

(отрывок)

Приступ первый
Высадка

«Вот где должен быть Снарк!» – так
Белман гласил
И, думой заботливой полн,
Для высадки в волосы людям вкрутил
По пальцу над гребнями волн.

«Вот где должен быть Снарк! – Я вновь
говорю.

Даже так экипаж поддержу!

Вот где должен быть Снарк! – в третий раз повторю.

Всё правда, что трижды скажу!»

Был Чистильщик обуви принят в отряд,

Был Шляпник неистовый взят;

Оценщик ценил их добро – всё подряд,

А в спорах мирил Адвокат.

Побольше, чем ставил, выигрывать мог

Игрок на бильярде отличный,

Но общие средства надежно берег

Банкир, к миллиардам привычный.

Бобёр был на палубе или вязал,

Примостясь на носу, кружева.

Он спасал от крушений (так Белман сказал),

Но как – не узнала братва.

А один в экипаже взял уйму поклажи,

Но забыли ее при посадке —

И кольца, и перстни, и зонтик, и даже

Походный костюм и перчатки.

Свое имя на все сорок два сундука
Нанес он, как будто печать.
Намекни он об этом – и наверняка
Решили б их с берега взять.

Он скорбел о былом гардеробе своем:
Ведь пальто лишь семь штук нацепил,
Да ботинок три пары. Но истинным злом
Было то, что он имя забыл.

Откликался на «Эй!» и на «Парень, скорей!» —
На любой громкий окрик и брань;
На «Валяй!», на «Мотай», на «Медяшку задрай»
Но особо – на «Дай эту дрянь!»

Но для умных голов, для ловцов крепких слов
Имена он иные носил:
Он для друга в ночи был «Огарок свечи»,
Для врага – «Недоеденный сыр».

«Да, он толст, неуклюж, и умишком не дюж, —

Белман часто говаривал так, —

Но ведь редкий храбрец! И важнее, к тому ж,

Что ему позарез нужен Снарк!»

Он гиенам на взгляды шутя отвечал

И беспечно качал головой,

А однажды с медведем под ручку гулял,

Чтоб поднять его дух боевой.

Он Пекарем стал и не скрыл свою грусть:

Печь он мог только свадебный торт.

Капитан чуть не спятил – не взяли, клянусь,

Подходящих припасов на борт!

О последнем в команде особый рассказ:

Редчайший по виду болван

Жил одною идеей – о Снарке, и враз

Зачислил его капитан.

Он стал Мясником. Но, угрюм и суров,

Признался неделю спустя,

Что умеет разделывать только бобров.
Добрый Белман дрожал не шутя.

Еле вымолвил он, отступив на корму,
Что Бобер лишь один, да и тот
Его личный, ручной, чья кончина ему
Глубокую скорбь принесет.

Бобер, услыхавший про гибель свою,
Был новостью жуткой сражен
И плакал, что Снарком, добытым в бою,
Уже не утешится он.

Но тщетно он требовал для Мясника
Отдельное судно найти —
Ведь Белман не стал бы менять ни штриха
В намеченных планах пути.

Навигация трудным искусством слывет
Даже для одного корабля,
Где один только колокол. Вряд ли в поход

Он бы вёл, подопечных деля.

Бобра защитить, преуспев в дешевизне,
Кольчугой подержанной можно! —
Так Пекарь считал. Страхование жизни
Казалось Банкиру надежней.

Он мог замечательных полисов пару
Продать или дать напрокат
Один – от ущерба на случай пожара,
Другой – если выпадет град.

С тех пор, после этого скорбного дня,
Если близко Мясник проходил,
Бобер, даже глаз не пытался поднять,
Непривычно робел и грустил.

Перевод с английского С. Воля

Из американской поэзии

Джон Апдайк
«Деревья питаются солнцем...»

Деревья
питаются солнцем
Это факт:
их широкие листья лакают солнце, как молоко
и превращают его в ветки.
Рыбы поедают рыб.
Лампочки едят свет,
и, когда их пир истребляет все припасы
накальной нити —
гаснут.

Так же и мы,
как и все милые создания —
коты едят коней, кони – траву, трава – землю,
земля – воду —
все кроме Далекого Человека,

который вдыхает ароматы душ —

давайте все постараемся походить на этого гиганта!

Жар

Я вернулся с хорошими новостями из страны озноба и

температуры 39,9:

Бог существует.

Прежде мне всерьез приходилось в этом сомневаться;

но ножки кровати говорили об этом с предельной

откровенностью,

нитки в моем одеяле считали это само собой разумеющимся,

дерево за окном отклоняло все жалобы,

и я уже много лет не спал таким праведным сном.

Трудно, пожалуй, выразить теперь

до чего эмблематичны были отражения вещей

на мембранах сознания;

но давно известна истина:
есть тайны, сокрытые от здоровья.

Перевод с английского В. Билецкого

Эдгар Аллан По
Эльдорадо

Рыцарь в броне
Скакал на коне,
Сверкая блеском наряда.
Ночью и днем
Он пел об одном,
Пел о стране Эльдорадо.

С годами остыл
Неистовый пыл
И на сердце легла прохлада.
Он весь мир обошел,
Но нигде не нашел,
Нигде не нашел Эльдорадо.

Встал он без сил
И тень вопросил,
Блуждавшую у водопада:
«Поведай же мне,
В какой стороне
Искать теперь Эльдорадо?»

И слышит от ней:
«В Долину Теней,
Не сводя горящего взгляда,
Днем и в ночи,
Рыцарь, скачи,
Если ищешь ты Эльдорадо».

Перевод с английского С. Степанова

Аннабель Ли

Это было давно, много весен назад,
В королевстве у края земли.
Там прохладное море и алый закат,
Там жила моя Аннабель Ли.
И она наслаждалась лишь мыслью одной,
Чтоб любить и любимой быть мной.

Я и Аннабель были детьми
В королевстве у края земли,
Но любили с недетскою силою мы —
Я и нежная Аннабель Ли.
Там крылатые ангелы с синих небес

Нас от взоров чужих берегли.

Был внезапен конец у невинных утех
В королевстве у края земли:
С моря ветер подул, и предательский снег
Усыпил мою Аннабель Ли.
Ее дядюшки прочь на руках унесли,
Чтобы спрятать в холодной дали.
Так я был разлучен с той, в чей смех был влюблен,
В королевстве у края земли.

Даже ангелам столько познать не дано,
Сколько знали о счастье мы с Ли.
Много весен назад, очень-очень давно
В королевстве у края земли,
Там, где с моря завистливый ветер подул
И убил мою Аннабель Ли.

Только наша любовь ярче солнца была
И взрослей, и мудрее, чем мы.
И она наши души на крыльях несла

Из зловещей, безжалостной тьмы.
И ни Бог, и ни дьявол не разъединит
То, что вечный скрывает гранит…

Мне луна навевала тоскливые сны
О потерянной Аннабель Ли.
Как глаза ее, звезды сияли, грустны.
О, прекрасная Аннабель Ли!
На холодной земле, там, где милая спит,
Я лежал между каменных плит.
Пусть же будут всегда наши вместе тела
В королевстве, где море шумит.

Перевод с английского И. Зуевой

Из французской поэзии

Жак Превер
Прогулка Пикассо

На очень круглой тарелке из настоящего фарфора
обнаженное яблоко
позирует художнику-реалисту который
тщетно пытается изобразить
яблоко таким каково оно есть
но
яблоко не дается
оно не хочет быть
яблоком
у него свое ***Я***
и свои секреты в мешке с яблоками
и вот оно переваливается на бок
на вполне реальной тарелке
и мягко
тайком от себя самого
крадется на задних лапках

по краю газовой горелки

в которую превратился герцог Гиз

который от злости тут же скис

увидев что кто-то без разрешения пишет его портрет

и яблоко подмигивает – «Привет!»

и превращается в переряженный прекрасный плод

и вот

художник-реалист наконец сознает

что все превращения яблока – его враги

а он – обездоленный нищий

ничтожный бродяга – лишь жертва какой-то приятной

ассоциации; благодарный и ужасно напуганный

благотворительностью

щедростью и неожиданностью

и несчастный художник-реалист

вдруг становится пессимистом

становится пессимистом и жалким рабом

безумной толпы ассоциаций

а яблоко катится и вспоминает яблоню
земной рай и Еву и еще впрочем Адама
лейку шпалеру Пармантье и лестницу
и Канаду и Гесперид и Нормандию и Ренет
и Апи
и лапту и крученую подачу и змия
и забитый в ворота мяч
и первородный грех
и детство искусства
и Швейцарию с Вильгельмом Теллем
и даже Исаака Ньютона
и множество его премий полученных на Выставке
всемирного
тяготения
и обалдевший художник не помнит больше о своей
модели
он спит
а тем временем Пикассо
проходивший мимо как он везде про-

ходит
у себя дома
как у себя дома
видит яблоко тарелку и спящего художника
что за идея рисовать яблоко —
думает Пикассо
и Пикассо съедает яблоко
и яблоко ему говорит – «Мерси!»
и Пикассо разбивает тарелку
и улыбаясь удаляется
тогда художник вскакивает
как от зубной боли
и попадает в общество своей незавершенной картины
и поскользнувшись на осколках разбитой посуды
жадно пересчитывает ужасающие обломки реальности

Перевод с французского Е. Ветровой

Из китайской поэзии

Лао Цзы
От существования – к сущности

Лучший правитель тот,
о котором людям известно
лишь то, что он существует.

Очевидно, эти строки древнекитайского философа Лао Цзы (разумеется, за исключением слова «правитель») вполне приложимы к нему самому. О нем действительно известно только то, что он существовал. Но и в этом мы не уверены. Его биография — это не более чем легенды. В частности, они рассказывают о том, что философ родился старцем, словно специально оказывая услугу Карлу Густаву Юнгу с его теорией архетипов Старого Мудреца и Младенца. Само имя Лао Цзы означает «старый мальчик».

…Дао Де Цзин — философская книга о некоей Сущности, которая стоит за бесчисленными вещами материального мира. Быть может Дао — наиболее абстрактная категория прафилософии.

…Пересказывая современным слогом («в забавном русском слоге», как некогда писал Державин) древнюю и мудрую книгу, не могу не признаться,

что перед вами не перевод, а переложение.

Источниками для него явились несколько переводов книги на английский язык (помимо наиболее известного комментированного издания текстов Лао Цзы под редакцией Чен Ку-янга и перевода Джи-фу Фенга и Джейн Инглиш, мною в значительной степени использован замечательный перевод Стефана Митчела), а также академический русский перевод Ян Хин-шуна. При подобном подходе, очевидно, бессмысленно говорить о буквализме и научности предлагаемого читателю текста. И вместе с тем мне не хотелось бы, чтобы переложение воспринималось как вольная импровизация. Более того, некоторые наиболее явные отступления от «канонического» текста представляют собой попытку реконструкции, об оправданности которой — судить не мне. Главное, чего хотелось мне достичь, это «перевести» Книгу Пути из раздела «философская проза» в раздел «философская поэзия». Многие авторы отмечают поэтичность текста Лао Цзы, а на Западе существует устойчивая традиция перевода Книги Пути ритмизованной прозой либо верлибром. Это вполне оправдано, ибо китайский подлинник также имеет ритмическую организацию.

…И — последнее.

В разное время Книга Пути (как и любая книга подобного рода) воспринимается по-разному. Стоит ли удивляться тому, что когда наша слишком бурная деятельность лишь подтвердила ограниченность наших возможностей, когда каждый рывок все туже затягивает петлю, образ старика на буйволе со свитком в руках все чаще возникает перед нами? Мы сыты действиями, не попробовать ли действовать недеянием и учить молчанием?

Будь осторожен в словах —
с ними могут согласиться.
Будь осторожен в поступках —
им могут последовать.

Борис Херсонский

Из «Книги Пути» (Дао Дэ Цзин) 18

Когда великое Дао
было забыто,
появились «добродетели»

и «милосердие».
Когда исчезла
природная мудрость тела,
появились «рассудительность»
и «образованность».

Когда родичи
перессорились вчистую,
появились «сыновняя почтительность»
и «родительская опека».

Когда государство
впало в хаос,
родился «патриотизм».

33

Знание других —
не более чем знание,
знание самого себя – мудрость.

Господство над другими —
не более чем господство.
Господство над собой —

истинное могущество.

Богат лишь тот, кто знает,
что имеет достаточно.
Если ты станешь в центре,
и примешь смерть в свое сердце,
значит – ты устоял.

44

Слава или целостность —
что важнее?
Деньги или счастье —
что ты ценишь более?
Успех или провал,
что более разрушительно?
Ищущий удовлетворения вовне
никогда не достигнет цели.
Если счастье зависит от денег,
не будешь счастлив сам по себе.
Будь доволен тем, что имеешь,
радуйся естественному
ходу событий,

в миг, когда поймешь,
что ни в чем не нуждаешься,
мир будет твоим.

67

Кто-то считает мое
учение – бессмысленным.
Кто-то считает его
возвышенным, но непригодным.

Но для тех, кто смотрит
вглубь самого себя,
абсурд преисполнен смысла.

Они знают, что возвышенное
имеет корни в глубинах.

Я учу только трем вещам:
простоте, терпению и пониманию.
Эти три вещи —
истинное сокровище.
Простота в мыслях и действиях
возвращает к истокам вещей.

Терпенье с друзьями и недругами
возвращает к начальной гармонии.
Понимая себя, примиряешься с миром.

Перевод Б. Херсонского

Из английской поэзии

Джон Донн
Из «Священных сонетов»
«Ты – мой Творец. Твой труд ли пропадет?..»

Ты – мой Творец. Твой труд ли пропадет?
Исправь меня, избавь кончины зряшной.
Я в смерть лечу и смерть ко мне течет,
И все удачи, будто день вчерашний.
Не смею я поднять потухших глаз,
Отчаянье и страх снимают взятки,
Как вспышка малая мелькнет последний час,
И в вечный ад я ринусь без оглядки.
Но вот Твое искусство надо мной,
Когда к Тебе я поднимаюсь взором,
Мой старый грех, соблазн извечный мой
Горит во мне спасительным укором.
И я лечу над бездной бытия,

И эти крылья – благодать Твоя.

«Смотрите, сэр, как мужественный пламень…»

Смотрите, сэр, как мужественный пламень
Из нильской гнили странные творенья
Извлечь готов; так рифм граненый камень
Во мне от Вашего растет благоволенья.
Вот сила и источник бытия
Для семерых, чтоб вместе им родиться,
Но только шесть Вам посылаю я,
Седьмого же нельзя не устыдиться.
Ваш суд избрав, поскольку в равной мере
Сестра его, изысканность способна
Огнем преображения поверить
Бурленье разума, ворчащее утробно.
Вы – чародей, имеющий отвагу

В мгновенье ока зло вернуть ко благу.

Джон Китс
Кузнечик и сверчок

Поэзия земли всегда с тобой.
Когда все птицы, ослабев от зноя,
Прохлады ищут в зелени густой,
Чья песня полю не дает покоя?
Кузнечик правит этот дивный бал.
И роскошь свежескошенного луга,
Притихнув, слушает, пока он не устал,
Пока его не перебила вьюга.
Поэзия земли всегда с тобой.
Зимой, когда потрескивают свечи,
Уму и сердцу придают покой
Сверчка за печкой вычурные речи.
И вспомниться сквозь дрёму городов
Кузнечик среди солнечных лугов.

Перевод с английского В. Верлоки

Из ирландской поэзии

Шеймус Хини
Копаем...

Большой с указательным пальцы сжимают перо,

оно прилегает удобно, как будто это – ружьё.

Звуки трения слышу отчетливо я под окном:

то скрежещет лопата, входящая в почву с песком.

Отец мой копает.

Его поясница видна мне над длинной ботвой,

как лет двадцать назад, он склоняется над бороздой

напряженно. Отец мой копает,

упирая ботинок, как будто бы делая шаг,

нажимая на ручку лопаты, он держит её как рычаг

между ног, прижимая к колену, срезая

верхушки долой,

яркий край погружая, чтоб выбросить ком земляной

и рассыпать картошку. Мы любили её собирать

и прохладную твердость и тяжесть в руках ощущать.

Ей-богу, старик мой обращаться с лопатой умел,

и его старик тоже.

Мой дед на болоте у Тонера торфа нарезать за день

больше всех успевал. Я однажды ему молоко

в бутылке с бумажной неплотной затычкой принес:

распрямился и выпил он, и, чтоб наверстать, подрубал,

разрезал и швырял дёрн через плечо и назад,

углубляясь всё ниже и ниже,

где торф был получше. Копал.

Этот запах прохладный ботвы снова в

памяти ожил моей.

Ярким краем лопата мелькает быстрей и быстрей.

И сырые дернины бьют оземь сильней и сильней.

Нет у меня лопаты, чтобы их преемником стать.

В моих пальцах перо зажато.

Вот им я и буду копать.

Персональный геликон

Ребенком от старых колодцев меня было не оттянуть,

где ржавые вороты с ведрами и черпаками,

там, где, небо в ловушку поймав, вёдра падают в тёмную жуть,

отдающую холодом, сыростью, плесенью, мхами.

На кирпичном заводе я помню колодец с подгнившей доской;

когда падал отвесно черпак

на длиннющей верёвке – грохочущим звуком движения

я любил наслаждаться. Там дно глубоко было так,

что уже невозможно внизу разглядеть отраженья.

Другой неглубокий, под высохшим каменным рвом,

плодоносный, как всякий аквариум, илистый, сорный,

твое белое лицо колебалось внизу надо дном,

когда ты из мульчи выволакивал длинные корни.

А в других жило Эхо. Они возвращали твой зов

с чистой новою музыкой. Чувство опасности, риска

ощутил я в одном – когда, выбежав из папоротников и кустов,

прямо по моему отраженью прошлепала крыса.

Теперь любопытствовать, – что там,

в корнях? —

и рассматривать мхи,

большеглазым Нарциссом уставясь в источник при этом,

стало ниже моего взрослого достоинства. Я пишу стихи,

чтобы увидеть себя и заставить темноту отвечать эхом.

Фонарь боярышника

Эти колючие дикие ягоды ярко горят даже среди зимы, —

маленький огонек для маленьких людей, —

он желает им только, чтобы их достоинство не погасло,

чтоб язычок его пламени ровно горел,

но и блеском своим их тоже не ослеплял.

Иногда, на морозе, когда дыхание превращается в пар,

разрастаясь и принимая вид Диогена,

блуждающего с фонарем в поисках человека,

ты испаряешься, – он пристально рассматривает тебя,

держа красные ягоды перед собою, на уровне глаз,

на кончике ветки;

и ты отступаешь перед плотной связью их мякоти с косточкой,

перед жалящим до крови уколом, желая, чтобы он испытал

тебя и очистил,

перед его проклеванной спелостью, – и тогда он высвечивает

тебя и уходит дальше.

Дождь дирижер

Бет и Ренди

Вот-вот будет дождь. Взмах палочки и потом

хлынет музыка, которую раньше

ты никогда не мог бы услышать. Под-

крадывается

как кактус, растёт поток, ливень, водоворот,

рвёт шлюзы, падает, течет сквозь. Ты как труба,

на которой играет вода. Снова – встряхнёшь легко

и diminuendo вдоль всех колен,

спотыкаясь, как струи о водосток. И вот —

кап-кап – с омытых листов,

еще нежнее – с трав, лепестков

ромашек, пылью блестящей, почти дыханием воздух.

Вот-вот – палочкой снова он взмахнет и потом

с неослабной силой всё повторит, что было однажды,

дважды, десять, и тысячу раз – до.

Кому это важно, что музыка, которая вся улетела, испарилась —

лишь паденье песка, сухих семян сквозь

кактус?
Ты как богач пройдёшь на небо
сквозь ушко дождевой капли. Слушай же снова.

Мята

Как низкий куст пыльной крапивы
на гребне крыши. За ней без названья
ненужные вещи лежат сиротливо
на свалке. Почти недостойны вниманья.

По правде сказать, живое надежде
нас учит. И слабое может быть цепким.
Задний двор нашей жизни. Растенье, как прежде,
из редкого может стать обильным и крепким.

Взмах лезвий ножниц. Её Воскресеньями
любовно срезают и берегут.
Последние вещи нас покидают первы-

ми.

Раз выжили – пусть свободно уйдут.

Пусть беззащитный запах её течёт нескончаем,
освобожденный, как обитатели свалок иных,
как те, которыми мы пренебрегаем
потому, что пренебрежением губим их.

Перевод с ирландского А. Михалевич

Из украинской поэзии

Николай Луговик
Вязание

И паутина
бабьего лета
над пожарищем палой листвы,
и немая игра
светотени —
мимолетные тени испуганных птиц,
неподвижные тени деревьев...
проступают
и тонут в узоре.
Я знаю —
этот свитер ты будешь вязать мне
не день
и не два.
Серебристые тонкие нити дождя
и прозрачные нити ущербной луны,
под которой мы ждали друг друга,
льются
по спицам,

сквозь пальцы,
сквозь годы,
чтобы ожить в цветоносном узоре.

Осенние мытарства

Ритуальное чудо,
печаль багряницы…
Тщетно полетом печалится лист,
едва продлевая падение,
мертвеют земля и душа,
когда проплывает безмолвно жар-птица,
роняя небрежно
красивые перья…
Муравей с муравьиным терпением
тащит в дом насекомого зверя.
Допотопный сверчок
не упрятал за печь свои длинные песни,
но травы уже онемели.
Как явственно, как откровенно
проступает знакомый по храмовым стенам

и пожелтевшим страницам орнамент!

А в чистых полях
бродят скифские бабы,
на украинский борщ собирают
тяжелые рыжие камни.

Перевод с украинского И. Винова

Из немецкой поэзии

Герлинд Фишер-Диль
1. Бонвиван и скромница

Лица – как открытые окна.
Они дают ограниченную возможность
заглянуть во внутреннее убранство
человеческого характера.

2. Чувствительный

Бумажные стены защищают фасад. На дожде
все размокает. Целые локоны падают с головы.
Даже сквозняк заставляет дрожать ноздри.
Хочется, чтобы в чувствительном цвете глаз
отражались лишь тихие летние вечера
и на устах лежал серп луны.

3. Кокетка

Глаза боятся щекотки. Придется
срочно спрятаться в морщинки
и надуть губки.

10. Болтливая

Услышанное рекой стекает
из ее ушей на язык
и водопадом сносит его.

11. Чувствительная

Ушами летучей мыши
она слышит блошиный кашель
и ломает мимозу, если
дует прохладный ветер.

13. Льстец

Своим бархатным языком

он, как следует, полирует слова,
чтобы они у него блестяще слетали с губ.

16. Недоверчивый

Его перспективы лопаются,
как мыльные пузыри под веками.
Тяжеловесно каждое слово
на его задубевшем языке.

21. Хвастун

Надутые паруса на задранной мачте носа.
Под звуки губной гармошки
рот уходит в большое плаванье.

22. Эгоист

Он носит пупок во рту,
держит нос в поле зрения,
чтобы никогда не терять

себя из виду.

25. Мечтатель

В сетчатке глаз паутиной
фата моргана. Он быстро
закрывает глаза, чтобы
свет не обокрал его.

26. Фальшивая

У нее на кошачьих лапах
любезность ползет по лицу.
В комедии губ
глаза не играют роли.

29. Аскет

Блеск вечного блаженства
в глазах, тогда как рот
иссох и щеки припали
к костям. Напрасно нос
растет непомерно.

37. Истеричная

Язык гоним амоком,
когда у нее на носу
пляшут белые мыши и
вдруг бросаются в глаза.

38. Влюбленная

Она потеряла рассудок
и забила голову розовыми облаками.
Тюлевая фата застилает глаза по уши
и фильтрует для носа пыль пересудов
вокруг. Милый ротик под ней
обращает слова в поцелуи.

43. Равнодушный

Пустынное лицо: в глазах —
высохшие оазисы.
Глубоко под кожей – ископаемые следы
жизни.

47. Дипломат

Глаза настроились
предупредительно. Даже почуяв
дурное, его нос сохраняет
лоск. Податливые губы
прикрывают гибкий язык. Из него
вынули пружину.

48. Интеллигент

Его голова ходит на ходулях.
К холодной вершине лба
настойчиво стремится рот.

49. Честный

Пунктуальность в зрачках.
Нос прямой, как стрела,
летит ко рту и запрещает ему
ходить на сторону.

50. Обыватель

Он делает себе пробор линейкой
и фиксирует зрачки, чтобы они
не выходили из ряда вон. Едва
он привел нос в порядок и скривил рот,
как что-то бьет по барабанным перепонкам,
выводит уши из равновесия и разрушает
педантично убранную голову.

52. Любимец

Народный праздник в самом разгаре.
От его взглядов зажигаются
цветные фонарики и создают
повсюду хорошее настроение. Кто
хочет влететь в глаза, кто сесть
на шею? Воздушные шарики
слетают с губ, и язык продает
медовые пряники.

60. Наивная

В ее глазах гнездится
слепая вера.
Никогда и ничто
не бросит тень на чистые вишневые уста.

63. Диктатор

Под триумфальными арками
глаза стоят на страже. Строго
вдоль носа сбегают складки.
Подбородок вышел вперед
к прочной цепи зубов. Никто
не смеет перечить, даже рот.

Перевод с немецкого М. Клочковского

Гюнтер Грасс
Из сборника «Преимущества гончих кур»
Фасоль и груши

Пред тем, как стухнут юные желтки —
наседки рано высидели осень —
как раз теперь, пока лезвия ножниц
луну проверят твердым большим пальцем,
пока висит на нитях троиц лето,
пока мороз укрыт под медальоном,
пока игрушки елок, словно дождь, блуждают,
пока что шеи голы, в половину укутаны туманом,
пока пожарная охрана не погасит астры
и пауки попадают по банкам,
чтоб так избегнуть смерти сквозняка,
пред тем как нам переодеться

и завернуться в жалкие романы,
давайте поедим фасоль.
Со спелой желтой грушей и гвоздикой,
с бараниной давайте же фасоль,
с гвоздикой черной и со спелой грушей,
отведаем стручковую фасоль,
с бараниной и грушей, и гвоздикой.

Открытый шкаф

Внизу топчутся туфли.
Они боятся жука
по дороге туда,
пфеннига по дороге обратно,
жука и пфеннига, которых могут растоптать,
так, что останется след.
Вверху – хранилище шляп.
Сохрани, схоронись, осторожно.
Невероятные перья,
как название птицы,
куда закатились ее глаза,

когда она поняла, что жизнь для нее чересчур пестра.
Белые шарики, что спят в карманах,
грезят о моли.
Здесь нет пуговицы,
на поясе утомилась змея.
Мучительный шелк,
астры и другие огнеопасные цветы.
Осень, что становится платьем,
по воскресеньям полным плоти и соли
сложенного белья.
Прежде, чем шкаф замолчит, станет доской,
дальним родственником сосны, —
кто будет носить пальто,
когда ты однажды умрешь?
Шевелить рукой в рукаве,
Упреждая любое движенье?
Кто станет поднимать воротник,
останавливаться перед картинами
и жить одиноким под колокол ветра?

Комариная мука

В нашем районе год от года становится хуже.
Часто мы приглашаем гостей, чтоб немного
уменьшить толпу.
Но люди вскоре опять уходят, —
после того, как похвалят сыр.

Это не беда.
Нет, чувство, что происходит нечто
более древнее, чем рука —
что есть в любом будущем.

Когда кровати спокойны
и маятник висит на звучащих, бесчисленных нитях,
нитях рвущихся и начинающих вновь,
немного громче,

когда я зажигаю трубку
и сижу лицом к озеру,
по которому плывет плотный шорох,

я беспомощен.

Теперь мы не хотим больше спать.
Мои сыновья бодрствуют,
дочери толпятся у зеркала,
жена поставила свечи.
Ныне мы верим в огни,
по двадцать пфеннигов каждый,
к которым летят комары,
к короткому обещанью.

Школа теноров (*фрагмент*)

Возьми тряпку, сотри луну,
напиши солнце, другую монету
на небе, школьной доске.
Потом садись.
Твой аттестат будет хорошим,
тебя переведут,
ты будешь носить новую, более светлую кепку.
Ибо мел прав,

и прав тенор, поющий его.
Он лишит бархат листьев,
плющ, метр ночи,
мох, его нижний тон,
он прогонит любого черного дрозда.

Перевод с немецкого М. Клочковского

Из немецкой прозы

Юдит Герман
Хантер – Томпсон – Музыка

День, когда что-то все-таки происходит, это пятница перед пасхой. Хантер идет вечером домой, купив в супермаркете супы-концентраты, сигареты, хлеб и в вино-водочном магазине — самый дешевый виски. Он устал, у него слегка подкашиваются ноги. Он идет по 85-й улице, зеленые кульки, болтаясь, бьют его по коленям, мартовский снег, тая, превращается в грязь. Холодно, световая реклама «Вашингтон-Джефферсона» неясно мерцает в темноте словами «Отель-Отель».

Хантер толкает ладонью крутящуюся дверь, тепло затягивает его внутрь, у него перехватывает дыхание, на зеленом полу остаются черные следы. Он входит в сумрачное фойе, стены которого, обитые темно-красным шелком, мягкие кресла и большие хрустальные светильники говорят о необратимости времени; шелк топорщится волнами, кожаные кресла выглядят засиженными и потертыми, во всех светильниках не хватает матовых стекол, и вместо двенадцати лампочек

в каждом горят только две. «Вашингтон-Джефферсон» уже больше не отель. Он — убежище, дешевая ночлежка для стариков, последняя станция перед концом, дом с привидениями. Только изредка сюда по неведению попадает обычный турист. Пока кто-то не умирает, все комнаты заняты, когда же кто-то умирает, комната на короткое время освобождается, чтобы принять очередного старика — на год или на два, или на четыре-пять дней.

Хантер идет к стойке, за которой сидит владелец отеля Лич. Лич занят тем, что ковыряет в носу и просматривает объявления о знакомствах в «Дэйли Ньюз». Хантер ненавидит Лича. Каждый в «Вашингтон-Джефферсон» ненавидит Лича, за исключением разве что старой мисс Джиль. Лич разбил ее сердце. Сердце мисс Джиль и без того было покрыто шрамами, в нем стоит искусственный клапан. Лича не интересует мисс Джиль. Его интересует только он сам, да еще объявления о знакомствах в «Дэйли Ньюз» — и только с извращениями, подозревает Хантер — и, конечно, деньги. Хантер ставит зеленые кульки на обшарпанную стойку, тяжело дышит, произносит: «Почта».

Лич, не глядя на него, говорит: «Почты нет. Ко-

нечно же, нет никакой почты». Хантер чувствует перебои сердца. Ничего серьезного — оно пропускает один удар, медлит, а потом стучит дальше, милостиво, и, как будто хочет сказать: маленькая шутка. Хантер говорит: «Не могли бы вы, по крайней мере, взглянуть, нет ли для меня почты».

Лич встает с видом человека, которого оторвали от чрезвычайно важного дела, и усталым жестом указывает на пустые ящички. «У вас номер 93, мистер Томпсон. Видите — он пуст. Так же как всегда».

Хантер видит пустой ящик, смотрит на другие пустые ящики вверху и внизу, в 45-м лежит шахматный журнал для мистера Фридмана, в 107-м руководства по вязанию для мисс Вендерс, их как-то необычно много. «По-моему, мисс Вендерс уже много дней не берет свою почту, мистер Лич», — говорит Хантер. «Вы бы посмотрели, все ли у нее в порядке».

Лич ничего на это не отвечает. Хантер с чувством маленького триумфа берет кульки и поднимается на лифте на четвертый этаж. Лифт сильно трясется, срок его эксплуатации давно прошел, света в нем нет. Двери с грохотом открываются, Хантер идет по коридору, ощупывая стенку. С тех пор, как три недели назад умер

старый Райт из 95-го номера, Хантер чувствует себя в этом углу одиноко, ему страшно. Надпись «Выход» над дверью, которая ведет на лестницу, светится тускло. Судя по звукам, доносящимся из ванной комнаты в конце коридора, там кто-то есть, слышен плеск воды, сильный кашель, Хантера передергивает, сам он обычно пользуется рукомойником в своем номере, в общую ванную старается ходить как можно реже, к сожалению, большинство стариков вызывают в нем отвращение. Хантер поворачивает ключ в замке, включает свет, закрывает за собой дверь. Он выкладывает продукты, ложится на кровать и закрывает глаза. В темноте вспыхивают и гаснут зеленые точки. Здание движется. Скрипят половицы, где-то хлопает дверь, вдалеке дребезжит лифт. Слышна тихая музыка, звонит чей-то телефон, что-то падает с глухим стуком на пол, на улице сигналят такси. Хантер любит эти звуки. Он любит «Вашингтон-Джефферсон». В этой любви есть грусть, покорность судьбе. Он любит свою комнату, которая стоит 400 долларов в месяц, он заменил в ней 20-ваттные лампочки на 60-ваттные, повесил на окна синие шторы. Он поставил книги на полки, магнитофон и кассеты положил на комод, повесил над кроватью две фотографии.

Есть стул для гостей, которых никогда не бывает, и телефон, который никогда не звонит. Возле рукомойника стоит холодильник, на холодильнике — маленькая электроплитка. Точно так же и во всех других номерах. Раз в неделю меняют постель, причем Хантер настоял на том, чтобы делать это самому, ему неприятно было думать, что горничная будет сновать по номеру между его книгами и картинками.

Хантер поворачивается на спину, отодвигает занавеску на окне и смотрит на темное небо, разрезанное решетками пожарной лестницы на маленькие квадраты. Он засыпает и снова просыпается. Смотрит на коричневый коврик. Встает. В марте еще будет идти снег, Хантер чувствует это по тому, как ломит в костях. Но усталости уже нет, в комнате тепло, что-то пощелкивает в батарее, где-то далеко, в самом конце коридора тонким высоким голосом напевает мисс Джиль. Хантер усмехается. Подогревает на плитке суп, наливает себе виски, ест, сидя перед телевизором. Комментатор Си-Эн-Эн бесстрастным голосом рассказывает, что в районе Бруклин города Нью-Йорка мальчик застрелил трех работников «Макдональдса». На экране появляется мальчик, он чернокожий, наверное, ему семнадцать лет,

его держат трое полицейских, голос из ниоткуда спрашивает, почему он это сделал? Мальчик смотрит прямо в камеру, он выглядит абсолютно нормальным, он объясняет, что заказал «биг-мэк» без огурцов. Он им ясно сказал: без огурцов. А они ему дали «биг-мэк» с огурцами.

Хантер выключает телевизор. В коридоре, кажется, в 95-м номере хлопает дверь. Хантер поворачивает голову, напряженно вслушивается. Тихо. Он моет тарелки и кастрюльку, наливает себе еще виски, нерешительно поглядывает на кассеты. Время для музыки. Каждый вечер. Время для сигареты. Время для времени. А что ему еще делать, как не слушать музыку. Хантер трет рукой глаза, щупает пульс. Сердце бьется тихо и как-то лениво. Может быть Моцарта. Или лучше Бетховена. Шуберт как всегда слишком грустен. Бах. Иоганн Себастьян Бах. Хорошо темперированный клавир, том 1-й. Хантер вставляет в магнитофон кассету и нажимает кнопку «Пуск», слышится тихий шум, он садится на стул возле окна, закуривает сигарету.

Гленн Гульд играет медленно, сосредоточенно, иногда слышно, как он при этом тихонько подпевает, или, как он тяжело дышит. Хантеру это нравится, ему кажется, что в этом есть что-то

личное. Он сидит на стуле и слушает. Когда он слушает музыку, ему иногда очень хорошо думается, а иногда он вообще ни о чем не думает, и то и другое замечательно. Гудки такси, где-то далеко. Мисс Джиль уже больше не поет, а может Гленн Гульд громче, чем мисс Джиль. Возле двери его комнаты скрипит половица. Громко скрипит. Она всегда так громко скрипела, когда перед дверью стоял мистер Райт, который заходил к Хантеру за сигаретой, виски, или просто, чтобы поболтать. Мистер Райт мертв, он умер три недели назад, он был единственный, кто когда-либо стоял у двери Хантера.

Хантер смотрит вытаращенными глазами на дверь, в отличие от того, как это бывает в фильмах, дверная ручка не поворачивается. Но половица снова скрипит. Сердце Хантера начинает быстро биться. В Нью-Йорке очень большая преступность. Никто не придет на помощь, если он закричит. Лич притворится, что забыл, как звонить в полицию. Хантер встает. Он крадется к двери, сердце его замирает, он берется за ручку, делает глубокий вдох, открывает дверь.

Девушка стоит, освещенная зеленым светом указателя «Выход». Хантер смотрит на ее маленькие ноги с поджатыми пальчиками, он видит

расчесанный комариный укус на левой лодыжке, кусочек грязи под ногтем большого пальца. Подол халата подшит бахромой, халат синий, с белыми зайцами на карманах. Она туго затянула поясок на талии, под мышкой у нее полотенце и пузырек с шампунем. У нее узкие губы, она кажется взволнованной, с мокрых волос на пол капает вода. Она щурится, пытаясь что-то высмотреть в комнате Хантера, под левым глазом у нее маленькая родинка. Хантер непроизвольно переводит взгляд на себя, смотрит вниз, собственную пряжку он не может увидеть, потому что над ней нависает живот. Девушка произносит какое-то слово, что-то типа: «Музыка». Хантер открывает дверь шире, так, чтобы она могла осмотреть комнату. Он снова слышит пение мисс Джиль, она поет «Honey Pie, you are making me crazy», ему почему-то это неприятно. Девушка говорит что-то вроде: «Извините, музыка». Она неумело выговаривает слова, как ребенок, чешет при этом пальцами правой ноги свою левую икру.

Кожа Хантера покрывается мурашками. Он выходит в коридор, прикрывает за собой дверь и говорит: «Что это значит», девушка отступает назад, кривит рот. Хантер чувствует, как у него дрожит рука, лежащая на дверной ручке, девуш-

ка перекладывает полотенце и шампунь из-под правой руки под левую и говорит: «Это еле видение или музыка?» Хантер смотрит на нее, ему вспоминается какое-то телешоу, она говорит с помощью некого кода, но он не может разгадать этот код, «смотрит он еле видение или слушает музыку», что бы это могло означать?

Она говорит: «Телевизор или музыка? Реклама, клипы или действительно музыка?»

Хантер медленно повторяет: «Действительно музыка», и девушка, на этот раз нетерпеливо, встает на носочки и говорит: «Бах».

Хантер говорит: «Да, Бах. Хорошо темперированный клавир, Гленн Гульд».

Она говорит: «Ну вот. Значит, вы слушаете музыку».

Хантер задерживает дыхание, он чувствует, что живот от этого раздувается еще больше, но тут же ему становится лучше. Конечно, он слушает музыку. Он хочет вернуться к началу, к первому вопросу, ему трудно скрыть свое замешательство, он понимает, что выглядит простофилей. Он говорит еще раз, и на сей раз решительно: «Что все это значит», и девушка медленно отвечает голосом школьной учительницы: «Я остановилась возле вашей двери, чтобы послушать музыку».

Хантер неловко улыбается, его улыбка скорее похожа на оскал, мисс Джиль поет «I'm in love but I'm lazy», ему хочется свернуть ей шею, как это сделали утке в каком-то знакомом комиксе. Он хихикает. Девушка тоже хихикает. Она говорит: «У нее не все дома, да?», Хантер перестает смеяться и говорит: «Она старая».

Девушка высоко поднимает левую бровь. Хантер поворачивает дверную ручку, готовый вернуться в комнату, он говорит смущенно: «Ну, вот».

Девушка делает решительный вдох, переступает с ноги на ногу и произносит одно за другим три предложения, Хантеру нужно сильно напрягать свое внимание, она говорит: «Знаете, я тут проездом. Остановилась в девяносто пятом номере. Было очень приятно. Послушать вашу музыку. У меня украли магнитофон».

Хантер спрашивает: «Кто?», ему вдруг зачем-то нужно выиграть время, для него все это уже чересчур, она слишком молода для этой гостиницы, она так смешно говорит. Она говорит: «Эти типы на Гранд Сентрал, они украли у меня рюкзак и магнитофон, и теперь я не могу слушать музыку. И это плохо. Без музыки невозможно», она внимательно смотрит на Хантера.

Хантер говорит: «Мне очень жаль», он смотрит в темный коридор, как будто ждет оттуда помощи, мисс Джиль прекратила петь, есть слабая надежда на то, что она сейчас пойдет к лифту и прервет, таким образом, этот разговор. Мисс Джиль не идет. Девушка (Хантер чувствует, что она за ним наблюдает), говорит с какой-то странной интонацией: «Вы здесь живете?», и Хантер снова поворачивает к ней голову, у нее такое выражение лица, как будто она сейчас разозлится, ее тело властно клонится вперед, с волос все еще капает вода.

— Да, — говорит Хантер. В том смысле, что я… — он замолкает, он хочет вернуться в комнату, захлопнуть дверь у нее перед носом.

— Это довольно странная гостиница, вы не находите? — спрашивает девушка, засовывая руку в карман халата, при этом аппликация зайца неприлично выгибается. Хантер чувствует смертельную усталость. Ему хочется вернуться к Гленну Гульду, к синим шторам своей комнатки, хочется спать. Он отвык от этого, от встреч, от разговоров; он говорит: «Простите», девушка театрально вздыхает, достает ключ из кармана и улыбается Хантеру, как бы успокаивая его. «А не хотим ли мы вместе где-нибудь поужинать? Мо-

жет быть завтра вечером, вы могли бы показать мне хороший ресторан и рассказать что-нибудь об этом городе, вы наверняка много знаете», — Хантер думает о том, что он уже многие годы не ужинал в ресторане, что он и не знает никакого хорошего ресторана, что ему нечего рассказать об этом городе, совсем нечего, он говорит: «Конечно, с удовольствием», — девушка улыбается и говорит: «Итак: завтра в восемь вечера, я за вами зайду. Спокойной ночи».

Хантер кивает. Смотрит на ее спину, когда она открывает дверь своего номера, на темное, мокрое махровое полотенце, потом смотрит на закрытую дверь, слышит, как она там потихоньку напевает, чистит зубы, он видит, как гаснет полоска света под дверью. Он не уверен, что ему хватит сил вернуться в свою комнату.

На следующий день он просыпается оттого, что мисс Джиль и мистер Добриан устраивают перепалку в коридоре, прямо возле общей душевой. «Вы свинья! — кричит мисс Джиль. — Вы свинья, Лудер, вы грязный развратник! Входить в ванную, когда там моются женщины! Я все расскажу мистеру Личу!» Хантер слышит запинающийся, усталый, старческий голос мистера Добриана: «Мисс Джиль, вы специально не запи-

раете дверь, если бы вы ее запирали, ничего бы этого не случалось!» Каждый день одно и то же. Мисс Джиль никогда не запирает дверь, кто-то заходит и видит, как она там стоит голая, видит ее увядшую кожу, всю в складках, с чувством отвращения выходит из ванной, а потом еще должен выслушивать всю эту ругань. Хантер вздыхает и натягивает на голову одеяло, сон ускользает, как платок, на мгновение перед ним появляется лицо девушки с мокрыми волосами. Он думает о предстоящем ужине в ресторане и чувствует холодок под ложечкой. Не надо было этого делать. Не надо было соглашаться, он не знает, о чем с ней говорить, она кажется ему немножко наивной, к тому же времена, когда его интересовали женщины, давно миновали. Что за идиотская идея, в этом состоянии идти в ресторан с незнакомой и совсем еще юной девушкой, смехотворная, гротескная идея.

Хантер садится. Смотрит в окно на серое низкое небо. Суббота перед пасхой, свободный день, кошмарно свободный день. Все еще возмущенный голос мисс Джиль, где-то далеко в коридоре. Хантер встает, умывается, надевает одежду, открывает окно, бросает взгляд на мокрую утреннюю улицу. Толстый ребенок с картонкой под

мышкой падает, встает, бежит дальше. Хантер спускается на лифте на первый этаж, спешит к выходной двери, чтобы не встречаться с Личем, но это ему не удается.

— Мистер Томпсон! — голос Лича звучит маняще и мерзко. Хантер замедляет шаг и поворачивает голову, но не отвечает на приветствие.

— Вы ее уже видели, мистер Томпсон?

— Кого я видел, — говорит Хантер.

— Девушку, мистер Томпсон. Девушку, которую я из любви к вам поместил в 95-й номер!

Лич произносит слово «девушка» с такой интонацией, что спина Хантера покрывается холодным потом.

— Нет, — говорит он, рука его уже лежит на стекле двери, — я ее еще не видел.

Лич победно кричит ему вслед:

— Вы лжете, мистер Томпсон! Она рассказывала мне сегодня утром о том, как она с вами говорила, вы произвели на нее впечатление, мистер Томпсон!

Хантер с силой толкает дверь, выходит на холодную улицу и плюет. Девушка еще глупее, чем он думал. Он идет по 85-й улице до Бродвея, несмотря на субботу, на раннее время, машины уже стоят в пробке, на светофорах загорается

красный и зеленый свет, из магазинов вытекают потоки людей, на углу 75-й улицы стоит огромный заяц и раздает толпе шоколадные яйца. Хантер быстро идет, без всякой цели, погруженный в себя, небо тяжелое, дождевое, похрустывает ледяная корка, покрывающая асфальт. Его толкают, он стоит пять минут на углу Бродвея и 65-ой, пока человек, продающий газеты не говорит ему, что уже третий раз загорается зеленый свет. Он поворачивается, идет к парку, покупает в «Бэйгелз энд Компани» сэндвич и кофе. Нищий китаец встает у прохожих на пути, лезет в их кульки, Хантер отшатывается от него, натыкается на толстую негритянку, извиняется, она смеется, говорит: «Не за что, дорогуша». Перед Гурмет-Гараж сидят служащие и едят салаты из пластиковых коробочек, они сидят рядом друг с другом, все на равном расстоянии. «Слишком много электричества!», — кричит сумасшедший у входа в «Мэйсей», сколько Хантер себя помнит, стоит там этот сумасшедший и кричит: «Слишком много электричества, это сводит людей с ума!», прохожие смеются, бросают ему под ноги десятицентовые монеты, которые он никогда не поднимает. Хантер сворачивает на боковую улицу, становится тише, перед дверями трехэтажных

кирпичных домов — зеленые венки с желтыми лентами. Он садится в парке на скамейку, пьет остывший кофе, ест сэндвич, время пролетает незаметно, примерно в полдень начинает тихо моросить.

Хантер остается сидеть на скамейке. На клумбах голуби клюют желтые, пропитанные крысиным ядом, хлебные крошки, мимо проезжает девушка на роликах, черная няня с белым ребенком на руках садится на его скамейку, ребенок выглядит болезненным и заносчивым. Хантер все время смотрит на гравий между своими ногами, серый гравий с белыми точками. Он чувствует неприятное беспокойство в суставах, в руках. Погода тут ни при чем, хотя температура упала, и уже точно будет снег. Парк, который всегда делает его спокойным и усталым, сегодня выглядит неприступным и враждебным. Старая азиатка ковыряется в мусорной корзине, бормочет себе под нос какую-то чушь, уходит без добычи. Исчезает между деревьями, стоящими на другой стороне лужайки. На землю прямо перед скамейкой Хантера падает голубь, несколько раз дергает лапками и замирает навсегда. Хантер пересаживается на другую скамейку. Облака смещаются в сторону, открывая бледное, матовое небо. Мысли

в его голове бессвязны: «Время. И время». Он ни о чем не думает. Он покидает парк, когда между скамейками ложатся длинные тени, идет назад к Бродвею, поток транспорта в предпраздничный день такой же плотный, как был утром. Он сворачивает на 84-ю улицу, подземный гараж на углу бесцеремонно выплевывает машины, Хантер переходит на другую сторону улицы, мерзнет, засовывает руки глубже в карманы брюк. В окне магазинчика Ленин горит свет.

Хантер осторожно нажимает на стеклянную дверь, его обволакивает войлочный занавес, он не может из него выпутаться, топчется в темноте, слыша тихий смех Ленни. Он освобождается от занавеса и тоже смеется, Ленни сидит в своем пыльном кресле-качалке за кассой и прикрывает рот рукой, как маленькая девочка. «Прекрати», — говорит Хантер. Ленни преувеличенно глубоко вздыхает, исчезает за полками, а потом появляется с бутылкой виски и двумя стаканами. В магазине тепло. В желтом свете летают пылинки, пахнет бумагой и влажной древесиной, кресло Ленни стоит посреди книг, картинных рам, масок для Хэллоуин, среди давно вышедших из моды ящичков и рулонов материи, искусственных цветов, консервных банок, пожелтевших откры-

ток. Зонтики, парики, бейсбольные биты. Хантер сбрасывает со стула на пол кипу древних лотерейных билетов и садится. Ленни наливает виски, кажется, что в его морщинах собралась пыль, глаза влажно блестят за толстыми стеклами. Он говорит: «Ты был здесь позавчера, Томпсон». Хантер улыбается, говорит: «Я сейчас уйду», Ленни ничего не отвечает, наклонятся в своем кресле назад, в темноту. Виски с солоноватым привкусом. Где-то капает вода, шум улицы кажется далеким, Хантеру становится тепло. Он уже забыл, зачем он пришел. Он не хочет вспоминать, зачем он сюда пришел, он хочет просто посидеть, как всегда он тут сидит, тихо, долго, без всякой причины — а потом встать и уйти. Ленни следит за ним, он чувствует, что Ленни за ним следит, Ленни хитрый, он вдруг хрипит, выплевывает мокроту в старую жестяную кружку и говорит: «Томпсон. Ты ведь не хочешь у меня что-то купить».

Хантер выпрямляется, плетеный стул под ним трещит, он слышит, как в ушах шумит кровь. Он говорит: «Мне нужен кассетный магнитофон. Ничего особенного, такой маленький, переносной, я думал, может у тебя случайно найдется».

Хантер откашливается, отводит взгляд, чтобы не встречаться глазами с Ленни, он уже жалеет,

что вообще спросил, но что делать, он не умеет обманывать. Он говорит: «Я хочу его подарить». Ленни смотрит в сторону. Он качается взад и вперед, медленно, вяло, тихонько насвистывает, кивает головой. Хантер осторожно дышит. Ленни встает, исчезает в глубине магазина, разбивается стекло, падают книги, поднимается пыль. Ленни кашляет и ругается, что-то дергает там и тут, возвращается, в его узловатых руках, покрытых коричневыми пятнами, маленький, почти что изящный магнитофончик с серебристым подкассетником.

Хантер сильно вспотел. Воротник пальто трет шею, шерстяной шарф кусается, жарко невыносимо. Ленни ставит магнитофон возле кассы, вытирает его тряпочкой. Он выглядит озабоченно. Хантер отворачивается, отодвигается вместе со стулом немного назад, в темноту. Ленни наклоняется к нему и говорит: «Ты знаешь, что я больше ничего не продаю. Я просто так тут сижу. Я больше ничего не продаю».

— Да, — тихо говорит Хантер, — я знаю.

Ленни вздыхает, опять сплевывает в чашку и после этого тихонько хихикает. «Я тебе удивляюсь, Томпсон. Я на самом деле удивляюсь. Я не думаю, что ты хочешь подарить этот магнито-

фон Личу, или мисс Джиль». Он глядит сквозь толстые линзы очков на Хантера, сверху вниз, на его лысине дрожит комочек пыли. «Томпсон. Для кого же этот магнитофон?» Хантер не отвечает. Он чувствует, как усталость, зарождаясь между лопатками, разливается по телу, вытирает пот со лба тыльной стороной ладони. Ленни выходит из-за кассы, наступает ногой на книгу, кладет маленький магнитофон Хантеру на колени. Он говорит: «Забирай. Мне он больше не нужен. Если передумаешь дарить, принесешь назад. Томпсон…», Ленни падает в кресло. Сидит и рассматривает свою мокроту в жестянке. Хантер прикасается к серебристому подкассетнику, он прохладный и гладкий. Ему хочется, чтобы Ленни еще что-нибудь сказал. Ему хочется, чтобы Ленни забрал магнитофон назад, хочется вернуться в свою комнату, в постель, в темноту. Ленни молчит. Капает вода. Где-то шуршит бумага, Хантер встает, берет магнитофон, идет к двери, говорит: «Большое спасибо». «Не за что», — говорит Ленни из глубины своего кресла-качалки, Хантер стоит спиной к нему, ждет, чувствует сердце, Ленни говорит: «Томпсон?», Хантер кашляет. Ленни говорит: «Придешь завтра, или послезавтра?», и Хантер говорит: «Конечно», отодвигает зана-

веску, открывает маленькую стеклянную дверь, слышит запах снега. «Я надеюсь…», — говорит Ленни, и Хантер выходит на холодную, темную улицу.

В холле «Вашингтон-Джефферсон» сидит Лич, читает «Дэйли Ньюз», не поднимает глаз от газеты. Хантер со спрятанным под пальто магнитофоном едет в лифте, идет по коридору, заходит в свою комнату, закрывает за собой дверь. Колени дрожат. Шесть часов сорок пять минут. В коридоре и в 95-м номере тихо.

Остается час. Через час она придет. Хантер сидит на стуле у окна и смотрит на платяной шкаф. Он завернул магнитофон в газеты и перевязал шерстяной нитью, магнитофон стоит теперь на столе и выглядит довольно смешно. Хантер отводит от него взгляд, идет к шкафу и достает оттуда свой костюм. Костюм черного цвета, пахнет пылью, брюки обвисли в коленях, рукава пиджака — в локтях, воротник блестит. Последний раз он надевал костюм на похороны мистера Райта, это костюм для вашингтон-джефферсонских похорон, и при мысли о том, что он этот же костюм наденет сегодня вечером, Хантер разражается хохотом. Ему плохо. В желудке и вокруг сердца, и в ногах, он бросает костюм на кровать, оставляет

горячую воду литься в раковину. Не будет он из-за этой девчонки мыться в общем душе. Он вообще не будет мыться, только побреется и причешет волосы, и все. Хантер очень медленно открывает глаза и смотрит в зеркало над рукомойником, маленькое, запотевшее, смотрит на свое лицо сквозь благородный белый налет испарины. Бреется он осторожно, слишком сильно дрожат руки, он порезал подбородок, не очень сильно, идет кровь, у нее какой-то нездоровый оттенок красного цвета. Хантер чувствует удушье. Делает глубокий вдох, подставляет запястья под холодную воду, считает про себя. Он слышит запах пены для бритья, мыла, мяты. Он останавливает кровь, прикладывая к порезу кусочек газетной бумаги, надевает костюм. Рукава слишком короткие, не хватает пуговицы. Хантер чувствует себя как во сне. Как лунатик. Он почти безразличен. Он зажигает сигарету, подтягивает штанины брюк и садится на край кровати. Кашляет. Семь часов сорок пять минут. Он ждет.

Квадратное небо между решеткой пожарной лестницы становится бледным, а потом чернеет. Моросит дождь. На тумбочке тикают часы, в батарее шумит вода, здание качает, в течение мгновения оно совершает какие-то странные,

непривычные движения. «Как корабль», думает Хантер. «Как корабль, который покинул причал и уплыл далеко от берега. А я и не заметил». Все звуки теперь очень далеко. Стрелка часов делает круги, час, и еще один час, девушки нет, конечно, она не придет. Хантер ложится на кровать и улыбается, смотрит на потолок, на пятна и трещины, испытывая одновременно разочарование и облегчение. А что еще могло быть. Как бы все это выглядело, этот вечер в хорошем ресторане, язвительная улыбка официанта, в кармане мелочь, дрожащие руки, трудности с проглатыванием пищи. Они должны были бы о чем-то говорить. Он ничего бы не мог сказать, он бы только прислушивался к собственному пульсу, который стал бы учащаться, потом еще больше, а что потом? Хантер ложится на кровать и улыбается. «Время, — думает он, — время и время», часы показывают одиннадцать. Он натягивает одеяло на колени и поворачивается на бок, взгляд переходит с одного предмета на другой. Тепло. Усталость, тяжелая и приятная.

Примерно в полночь он вдруг слышит, как закрывают дверь 95-го номера. Хантер не услышал, как она пришла. Наверное, звуки были слишком непривычными. Он встает. Немного кружится

голова, темнеет в глазах, а потом все проходит. Он снимает костюм, пиджак и брюки, все теперь помятое, он бережно вешает костюм обратно в шкаф. Стоит перед кассетами, Моцарт и Бах, грустный Шуберт и маленький, тихий и нежный Сати. Португальские песни и этот голос Дженис Джоплин, для которого он слишком стар, давно уже стар. Иногда, так, из озорства — Астор Пьяцолла. И этот американец из Калифорнии, черный, отвязный, страшный, похожий на птицу, Хантер слышал только одну его песню, Jersey Girl, она ему понравилась. И опять-таки Моцарт, и Шуман, а между ними пластинка Стивенса, она-то откуда? Рука Хантера скользит по коробкам с кассетами, он качает головой, смущенно улыбается. Музыка танго. Мария Каллас. Музыка и время, время, зимние путешествия, чужие, африканские песнопения, которые он купил на барахолке в районе Томпкинс-Сквэр, семь лет назад, или восемь, или десять. Хантер не плачет. Крутит в руках коробки, не может прочесть свой собственный почерк, джаз и лирика, голос Трумэна Капоте. Хантер достает из ящика маленькую коробку от обуви и укладывает в нее кассеты, все по порядку, одна к другой, некоторые неподписаны, но ничего, сама разберется. Ах, да, еще Гленн Гульд, кассета стоит

в магнитофоне. Он достает ее и кладет в коробку, он ничего не забывает. Девушка стучит в дверь, так поздно, разве можно так поздно, Хантер закрывает коробку крышкой, ставит ее на пакет с магнитофоном, немного приоткрывает дверь и выталкивает все это в коридор.

Девушка говорит: «Ну, пожалуйста». Она вставляет ногу между дверью и стеной, Хантер выталкивает ее, произносит: «Счастливого рождества», закрывает дверь. Девушка, уже за дверью, еще раз говорит: «Ну, пожалуйста», говорит: «Мне очень жаль. Я знаю, я пришла слишком поздно». Хантер приседает на корточки, ничего не отвечает. Он слушает, он слышит, как она поднимает коробку и сверток, открывает крышку, срывает с магнитофона газеты. «О!», — восклицает она. Коробки с кассетами тихонько постукивают, она говорит: «О, господи», и начинает плакать. Хантер закрывает руками лицо, нажимает пальцами на веки, пока на сетчатке не взрываются цветовые пятна. Девушка плачет в коридоре. Может быть она глупа. Может быть, она разочарована. Хантер прислоняет ухо к двери, голова у него тяжелая, он не хочет ничего больше слушать, и все-таки слушает. Девушка говорит: «Вы не должны это делать». Хантер говорит, очень тихо, он не знает,

слышит ли она, но он говорит, скорее, себе самому: «Я знаю. Но я так хочу». Девушка говорит: «Спасибо». Хантер кивает.

Он слышит, как шуршит ее плащ, он из какой-то синтетики, наверное, зеленого цвета, она толкается в дверь, дверь не поддается. Она спрашивает: «Вы не хотите еще раз открыть?» Хантер качает головой. Она говорит: «Вопрос, последний вопрос, вы можете мне ответить на один вопрос?»

Да, — говорит Хантер в щелочку между дверью и стенкой, ему кажется, что там сейчас находится ее рот, тонкий, взволнованный, беспокойный. Она говорит: «Я хочу знать, почему вы здесь живете? Почему? Вы можете мне сказать?» Хантер прислоняет лицо к дверному косяку, чувствует, как оттуда сквозит, в комнату поступает холодный воздух., он снова закрывает глаза, говорит: «Потому что я могу отсюда уйти. Каждый день, каждое утро я могу упаковать свой чемодан, закрыть за собой дверь и уйти». Девушка молчит. А потом говорит: «Куда уйти?» «Это совершенно ненужный вопрос», — говорит Хантер. На дверь уже больше не давят. Шуршит плащ, кажется, девушка поднимается, сквозняка больше нет. «Да, — говорит она. — Я понимаю. Спокойной

ночи». «Спокойной ночи», — говорит Хантер, он знает, что она соберет чемодан, положит туда его магнитофон, его музыку и засветло покинет гостиницу.

Перевод с немецкого А. Мильштейна

Из средневековой японской поэзии

Кокан Сирэн
(1277–1346)
Осенним днем в полях гуляю

Мягкий песок, мелководье. Тропка бежит по откосу.

Звук, чуть похожий на прялку, слышится – вижу жилье.

Средь облаков желтоватых белые волны взлетают:

Это за рисовым полем пыльно гречиха цветет.

Сэссон Юбай
(1290–1346)
В начале осени

И я на земле только путник случайный.

Как годы бегут! О, как жизнь скоротечна!

Листва полетела – приблизилась осень,

Лишь ветер теплом на прощание дышит.

Вон снег забелел на вершинах Миньшаня.

Плыву по Вэньцзян – воды странно спокойны.

Причалю: цикад мне охота послушать,

Увидеть, как неба касается башня.

Дзякусицу Гэнко (1290–1367) Забрался в горы

В горах обитель – высоко-высоко.

Ни выгоды, ни славы не ищу; и бедность не томит и не печалит.

Забрался в горы и в укромном месте живу спокойно.

Годы на исходе… Немного зябко… Кто сейчас мой друг?

Цветенье слив, вся ветка обновилась. И все вокруг

освещено луною.

Брожу в горах

Весна. А я брожу в горах.

Как поредели волосы мои! Бегут к вискам серебряные нити.

Не знаю я, удастся, не удастся дожить еще до будущей весны.

Иду. Сжимаю посох из бамбука; соломенных сандалий

мягкий шорох.

Как много интересного вокруг! Повсюду, вижу, вишни

расцветают...

Дзэккай Тюсин
(1336–1405)
А впрочем, где-то есть гора Пэнлай

Горами горный храм от мира отделен,
Как он возник? Как здесь внезапно вырос?
На скатах скал растет прелестный ирис,
Жасмин взбегает медленно на склон.
Течет ручей. И ловит рыбу выдра…
Ну, где еще подобный встретишь край?
И мог бы – я другого бы не выбрал!
А впрочем, где-то есть гора Пэнлай.

Старый храм

Вход в старый храм, попробуй, отыщи!
Кустарником порос, обвит лозою.
Цветы упали с крыши после ливня…
И только птицы пеньем тешат слух.
Сиденье Будды поросло травой,

На постаменте стерлась позолота.
Не видно даты на плите надгробной:
Тан или Сун? – ответить трудно мне.

Итю Цудзё
(1348–1429)
Сочинил во время вечернего дождя у моста

Дырявый мостик. Дождь идет лениво.
Смеркается, хотя еще не вечер.
Рыбак в плаще стоит, слегка растерян.
Из-за реки звон колокола слышен.
Так тихо, грустно. Осень наступает.
Качнулся стебель водяного риса.
Песочный гусь проплыл неторопливо.
Вода прозрачна… Осень наступает.

Перевод Р. Заславского

Из итальянской поэзии

Винченцо Кардарелли
Венецианская осень

Холодное и сырое, на меня надвигается
дыханье осенней Венеции.
Теперь, когда лето
с его испариной и сирокко,
словно по волшебству, прошло,
жесткая сентябрьская луна
предвещая дурное,
освещает город из воды и камня,
что открывает свой лик медузы,
гибельно и заразно.
Мертвенна тишина затхлых каналов
под водянистой луной,
кажется, в каждом из них
покоится труп Офелии:
могилы, усыпанные разложившимися цветами
и прочей растительной гнилью,
где под плеск воды проплывает мимо

призрак гондольера.
О венецианские ночи —
без петушиного крика,
без шума фонтанов,
мрачные ночи в лагуне,
ничей нежный шепот не оживляет их,
зловещие завистливые дома,
отвесно стоящие над каналами,
спящие бездыханно,
сейчас, как никогда,
тяжесть ваша на сердце моем.
Нет здесь ни порывистых погребальных ветров,
как в сентябре в горах,
ни запаха срезанной виноградной лозы,
ни купаний заплаканных ливней,
ни шелеста листопада.
Пучок травы, желтеющий и умирающий
на подоконнике —
вот и вся венецианская осень.
Так, в Венеции, времена года бредят.

Вдоль ее площадей и каналов —
одни растерянные огни,
огни, грезящие о доброй земле,
душистой и плодородной.
Только зимнее кораблекрушение подобает
этому городу – не живущему,
не цветущему, —
если только он не корабль в глубине моря.

Перевод с итальянского Г. Киршбаума

Из немецкой прозы

Уве Копф
Алая буква

«Считай, что тебя трахнули». Этот сутенерский жаргон я слышу в Бамберге, в маленьком городе Верхней Франконии, от каждого здания которого веет поздним романтизмом и ранней готикой. Знатоки утверждают, что Бамберг — самый красивый город во всей Германии. Весной в особенности эта красота просто невыносима. Стало быть, последнюю весну уходящего тысячелетия я провожу в Бамберге, куда в свое время, тоже весной, сбежал поэт Томас Бернхард, которого я взял себе за образец во всем, что касается ненависти и повторяемости, он родился 9 февраля и умер 11 февраля, а мой день рожденья 10 февраля, точно как у Бертольта Брехта, это что-то да значит. Хотелось бы только знать, что именно. И вот я сижу в трактире на Лангенштрасе, в Бамберге, и вспоминаю, что эту фразу — «Считай, что тебя трахнули» — я последний раз слышал лет этак двадцать тому — фраза была модной среди людей, которые любили друг друга подогревать сексуально, особенно при свидетелях; я был уве-

рен, что фраза давно отмерла — так же, как тип мужчин, которые использовали ее в своей речи, но вот там сидит этот тип, пьет пиво и говорит женщине за соседним столиком: «Считай, что тебя трахнули». Он похож на киноактера Хайнера Лаутербаха, в какой-то момент я даже подумал, что это он и есть, но нет, скорее, это просто поразительное сходство. Лаутербах мне стал уже сниться по ночам — так сильно я его презираю за все, что он делает и говорит со всей этой его так называемой «мужественностью».

Как раз прошлой ночью, в поезде, который вез меня из Гамбурга через Вюрцбург в Бамберг, мне снова приснился Лаутербах, и what a dream it was: Лаутербах был преступником, но не в кино, а в действительности: полиция и все население преследует Лаутербаха, газета «Бильд» на первой своей полосе повествует о злодеяниях Лаутербаха — тот крадет женские трусики в прачечных, натягивает их дома поверх своего трико, потом относит обратно, и дамы, надевая их, обнаруживают, что трусики почему-то стали велики. Специальный агент израильской разведки «Моссад» должен взять след Лаутербаха в лесу, агент — еврей, переодетый в Ясира Арафата, при этом еврей этот и сам преступник, у которого в

рюкзаке лежит бутылка очень дорогого красного вина, — он украл ее из винного погреба ведущего телевизионной программы «Темы дня» Ульриха Виккерта — и вот так бредет еврей по лесу и вдруг видит на одной полянке людей, играющих в квача, выбегает полуголая женщина, ее трусики болтаются на бедрах, эхо доносит из леса знаменитый смех Лаутербаха, и когда женщина приближается к агенту Моссада, тот с ужасом замечает, что у нее лицо Йозефа Геббельса. В этот момент из кустов выбегают трое мужчин, это актеры Марио Адорф, Хайнц Рюман и Гетц Георг, они хватают Лаутербаха, бросают его на землю, срывают с его тела всю одежду и поют, показывая на него пальцами: «Нет пениса меньше, чем у Хайнера, об этом знает мама Баймера!», и так как это правда, Лаутербах тут же сходит с ума от стыда.

Сон не имеет никакой структуры, и вряд ли вообще что-то значит, но конец мне все же понравился, потому что я ненавижу Лаутербаха. После того, как двойник Лаутербаха, сидящий в Бамбергском трактире, сделал этот знак внимания женщине за соседним столиком, он берет себе еще одну кружку пива и какое-то мясное блюдо и режет кнедель ножом на маленькие кусочки…

нельзя же так делать, за это я бы тоже дал ему пощечину, но не даю, — мужчина выглядит так, как будто на пощечину ответит нокаутирующим ударом.

Женщина, которой он сказал «Считай, что тебя трахнули», никак на это не реагирует, она продолжает пить яблочный сок, курит сигареты без фильтра и смотрит в пустоту. Ей, наверно, лет тридцать, чернота ее глаз вызывает шок, но Лаутербах сказал ей «Считай, что тебя трахнули», скорее всего, потому, что она крашеная блондинка, — мужчине наподобие Лаутербаха это само по себе должно казаться чем-то блядским.

Женщина склонна к полноте и слишком тепло одета, — сейчас конец марта, но здесь, в Бамберге, почти 20 градусов тепла, а на ней пальто, плотные джинсы, вокруг шеи — шарф, и на пальто слева, примерно на уровне сердца, вышита алая буква «А».

Такую букву «А» должна была носить на своей одежде Эстер Принн. Эстер — героиня романа Натаниеля Готорна «Алая буква», действие которого происходит в XVII веке в пуританской Новой Англии, и ярко-красная буква «А» означает «адюльтер», супружескую измену — Эстер родила ребенка не от своего мужа, и она отказывается

называть подлинного отца. Женщина в Бамбергском трактире носит эту букву, как Эстер Принн, но при этом (во всяком случае, так кажется с первого взгляда) у нее нет гордости Эстер, ее силы и ее страсти — женщина кажется полной развалиной, несмотря на то, что она здорова. Вот она встает, кладет на стол пару монет, как бы между прочим трогает алую букву «А» на своем пальто и выходит из трактира, а Лаутербах, пережевывая мясо, смотрит ей вслед так, будто хочет сказать: «Уходишь, куколка, но мы еще встретимся, а впрочем — считай, что тебя трахнули!»

С меня довольно, такое чувство, что я задыхаюсь от характерного запаха, который распространяет вокруг себя Лаутербах, я плачу официанту за стойкой, и хотя я ни о чем его не спрашиваю, он говорит мне, что женщина с буквой — с приветом, хотя, впрочем, она никому ничего плохого не делает, только сидит тут все время и пьет яблочный сок, и никто не знает, что означает эта буква у нее на пальто. Некоторые мужчины (официант делает кивок в сторону Лаутербаха) предполагают, что у женщины СПИД, и она поэтому свихнулась и повесила эту букву «А» («Aids»), но ни один житель Бамберга не видел ее никогда с мужчиной, собственно, вообще с каким-то

другим человеком — она живет уже очень давно в Бамберге, в полном одиночестве, в пансионе который находится в другой части города. Чаще всего она ошивается в «Хижине ведьмы», это такой кабачок на Нюрнбергштрассе.

Так как мне самому нужно найти себе какой-нибудь пансион, я принимаю решение пойти на Нюрнбергштрассе. В центре города, где находится Лангенштрассе, я не могу оставаться: студенты, повсюду студенты и студенческие кафе и бары, и магазины, в которых студенты покупают свою еду, свои книги и одежду, а Нюрнбергштрассе находится в мелкобуржуазном районе, куда студенты не ходят — поэтому туда иду я. Студенты завладели Бамбергом точно так же, как гомосексуалисты завладели Сан-Франциско, только район вокруг Нюрнбергштрассе свободен от студентов, и красоту Бамберга можно оценить только после двух часов ночи, когда закрываются все студенческие бары и студенты исчезают в своих комнатах, чтобы немного отдохнуть от своей студенческой жизни.

Кристоф Шлингензиф, режиссер и мастер перфоманса, заехал на два дня в город и собрал сегодня утром так же много студентов вокруг себя на Марктплац, как незадолго перед ним народный

актер Гюнтер Штрак, который снимает в Бамберге криминальный сериал «Король» и взял сотни студентов в статисты. Но Шлингензиф обворожил бамбергских студентов своими докладами о том, как нужно изменить государственное устройство, — там, на площади, он раздавал открытки с изображением себя обнаженного, студенты их расхватали, потому что от Шлингензифа отдает улицей, андеграундом и революцией.

Студенты не видят, что Шлингензиф их презирает, и чтобы никто его с ними не спутал, скрывает свою яйцеголовость пышной прической и докладывает студентам об успехах и целях своей партии «Последний шанс», и студенты рукоплещут Шлингензифу, он для них спаситель, соединивший в своих чертах все лучшее от Джона Леннона и Хельге Шнайдер, от Иисуса Христа и Че Гевары. Он хочет поставить спектакль, в котором будут задействованы шесть миллионов безработных Германии, спектакль (как всегда у Шлингензифа) о крови, половых органах и о кукольных фашистах. Студенты Бамберга верят, что Шлингензиф силой и серьезностью всей этой бредятины может привести Германию к обновлению.

После своего выступления Шлингензиф сооб-

щает, что он теперь направляется к Бамбергскому собору — чтобы вымазать спермой знаменитую скульптуру Бамбергского всадника. Тут же появляется полиция и арестовывает Шлингензифа за богохульство, а студенты разбредаются по домам — они достаточно трусливы, чтобы защищать своего любимого Шлингензифа от произвола полиции.

После этого перфоманса я оказался в трактире на Лангенштрасе, и там Лаутербах сказал женщине с красной буквой: «Считай, что тебя трахнули», и теперь, когда я гуляю по набережной Прегница, залитой вечерним солнцем, мне кажется, что у Лаутербаха есть какая-то тяга, ностальгия по смерти, потому что он трактовал букву «А» на пальто этой женщины как «Aids», и если Лаутербах говорит больной СПИДом: «Считай, что тебя трахнули», то это в высшей степени странно, нет?

Я прохожу по мосту к зданию Бамбергского суда, — здесь пять лет назад состоялся процесс против родителей, которые убили своего ребенка и выбросили его на мусорку. И вот уже я в «Хижине ведьмы» на Нюрнбергштрассе, заказываю две кружки пива Maisel Pilz, и когда мне их приносят, я выпиваю одну кружку залпом и заказываю

третью, а уже после этого пью вторую, намного медленнее, чем первую, но только так (заказав две кружки, опрокинув одну, — и тут же заказав третью, и задумчиво попивая вторую), только так может небаварец снискать уважение баварцев.

Справа в углу сидит женщина с красной буквой, пьет сок, курит, смотрит в пустоту, через две минуты женщина снова уходит, а я спрашиваю у официантки, где находится ближайший пансион. Она советует мне «Красный конь» — он в двухстах метров, напротив мебельного магазина, и когда я регистрируюсь у портье «Красного коня», снимаю номер — для начала на три недели, — я вижу в буфете пансиона женщину с красной буквой, она ест бутерброд с вареной баварской колбасой, смотрит на меня, — эта женщина-руина вселяет в меня ужас, я не выдерживаю ее взгляда и секунды, и в своем номере на третьем этаже я ложусь на кровать и пытаюсь отвлечься от этой женщины, для чего я мобилизую все свое ожесточение, всю свою злобу на всех женщин без исключения, потому что женщины плохие, это точно, по крайней мере, со мной они ведут себя плохо, я пробовал все это с несколькими женщинами, с одной это было здесь, в Бамберге. Трагедия заключается в том, что женщины всегда

стремятся меня уничтожить, хотя я принадлежу к так называемому типу «любимцев женщин», но не такому, как Хайнер Лаутербах — я похож на Марлона Брандо в той его фазе, когда он танцует последнее танго в Париже, и так же, как Брандо, я притягиваю женщин своей меланхоличностью и инфернальностью, а потом они снова убегают от меня, потому что чувствуют себя отравленными, — вот так я это объясняю.

Я лежу, чуть не плача, на кровати Бамбергского отеля «Красный конь» и вдруг слышу голос, он доносится из комнаты подо мной, — невозможно сказать, на каком языке говорят, точно так же, как нельзя сказать, мужчина это говорит, женщина, или ребенок. Кажется, что там кто-то стонет, что-то требует, без злобы и без нажима, и когда я концентрирую внимание на этом голосе, он умолкает, — я слышу только поскрипывание деревянных половиц, а потом ничего не слышу, засыпаю, но в полтретьего ночи голос снова возвращается, это женский голос, и требования теперь кажутся какой-то мольбой, но ничего сексуального в комнате подо мной не разыгрывается, голос охает и дрожит, как в лихорадке, и в какой-то момент я почти уверен, что слышу слово «ужас» и слово «любовь».

На следующее утро я встаю очень рано, в семь часов, спускаюсь по лестнице в буфет выпить кофе — и вижу женщину с алой буквой, она выходит из той комнаты, что находится под моей, и я хочу, наконец, знать, не Эстер ли это из романа Готорна. Я стою перед этой женщиной и, опуская глаза, спрашиваю: «Эстер?», и она ничего не говорит в ответ. Когда мне удается поднять глаза, я вижу, что она не поняла и не могла понять, она понятия не имеет ни о какой Эстер, и с нарушением брачного закона эта женщина тоже не имеет ничего общего, и она не идиотка, и не подражает персонажам книг, но вот она что-то говорит мне, она говорит: «Нет. Я никого и ничего не боюсь. Если бы я боялась… я бы не узнала тогда этот ужас».

Через час я уеду из красивейшего города Германии Бамберга, хотелось бы только понять — куда.

Перевод с немецкого А. Мильштейна

Из латиноамериканской поэзии

Хорхе Луис Борхес
Трофей

Подобно тому, кто исколесил всё побережье,
удивлённый обилием моря,
вознаграждённый светом и щедрым пространством,
так и я созерцал твою красоту
весь этот долгий день.
Вечером мы расстались,
и в нарастающем одиночестве,
когда я шёл обратно по улице, чьи лица тебя ещё помнят,
откуда-то из темноты я подумал: будет и в самом деле
настоящей удачей, если хотя бы одно или два
из этих великолепных воспоминаний
останутся украшением души
в её нескончаемых странствиях.

Читатель

Другие хвалятся написанными страницами;
я же горжусь теми, которые я прочитал.
Я никогда не стану филологом,
не изучу всех тонкостей склонений и наклонений,
трудного изменения букв,
отвердевания «д» в «т»,
взаимозамены «г» и «к»,
но зато всю свою жизнь я исповедовал
страстную любовь к языку.
Мои ночи полны Вергилием;
знать и вновь забывать латынь —
мой настоящий удел, потому что забвение —
это одна из форм памяти, её тёмный подвал,
другая тайная сторона медали.
Когда в моих глазах померкли

призрачные любимые образы,

лица и страницы,

я взялся изучать язык железа,

которым пользовались мои предки, чтобы воспеть

свои клинки и одиночество, —

и сегодня, семь столетий спустя,

твой голос приходит ко мне

от пределов Ультима Туле, Снорри Стурулсон.

В молодости, читая книгу, я подчинял себя строгой дисциплине,

чтобы найти строгое знание;

в мои годы вся эта затея выглядит авантюрой,

граничащей с ночью.

Я не перестану расшифровывать древние языки Севера,

не погружу ненасытные руки в золото Сигурда;

задача, которую я поставил перед собой, безгранична,

и она пребудет со мной до конца,

не менее таинственная, чем Вселенная,
и чем выполняющий её ученик.

Границы

У Верлена есть строка, которую я не вспомню снова.
Поблизости есть улица, запретная для моих ног,
есть зеркало, взглянувшее на меня в последний раз,
есть дверь, которую я закрыл до конца света.
Среди книг моей библиотеки (я смотрю на них сейчас)
есть одна, которую я уже никогда не открою.
Этим летом мне исполнится пятьдесят.
Смерть изнашивает меня непрестанно.

Живущий под угрозой

Это любовь. Мне надо спрятаться или бежать.

Стены её тюрьмы растут, как в ужасном сне. Маска

красоты переменилась, но как всегда осталась единственной. Какую

службу мне теперь окажут эти талисманы: учёные занятия, широкая

эрудиция, знание тех слов, которыми суровый Север воспел

свои моря и стяги, спокойная дружба, галереи

Библиотеки, обыденные вещи, привычки, юношеская любовь

моей матери, воинственные тени мёртвых, безвременье ночи

и запах сна?

Быть с тобой или не быть с тобой – вот мера моего времени.

Кувшин уже захлёбывается источником, человек уже поднимается

на звук птичьего голоса, все те, кто смотрел сквозь окна,

уже ослепли,

но тьма не принесла умиротворения.

Я знаю, это – любовь: мучительная тоска и облегчение оттого, что

я слышу твой голос, ожидание и память, ужас жить дальше.

Это любовь с её мифами, с её мелкой и бесполезной магией.

Вот угол, за который я не отваживаюсь заходить.

Ко мне приближаются вооружённые орды.

(Это место жительства ирреально, и она его не замечает.)

Имя женщины выдаёт меня.

Женщина болит во всём моём теле.

Перевод с испанского А. Щетникова

Сесар Вальехо
Никто уже не живёт…

В доме никто уже не живёт, — говоришь ты, — все ушли. Гостиная, спальня, дворик обезлюдели. Никого уже нет; ведь все разъехались.

А я говорю тебе: если кто-то уходит, то кто-то и остается. Место, по которому прошёл человек, уже не одиноко. По-человечески одиноки лишь те места, где не проходил ни один человек. Новые дома мертвее старых, потому что их стены сложены из камня и железа, но не из людей. Дом появляется на свет не когда его завершают строить, но когда его начинают заселять. И живёт он единственно людьми, как и могила. Отсюда это непреодолимое сходство между домом и могилой. Но из них двоих один только дом питается смертью человека. Поэтому он — стоит, тогда как могила — распростёрлась.

В реальности все ушли из дома; однако в действительности все остались. И остаётся не память о них, но они сами. И даже не так, что они остаются в доме, но скорее так, что они по-прежнему пребывают в нём и через него. Действия и поступ-

ки покидают дом на поезде, на самолёте или на лошади, пешком или ползком. То, что по-прежнему пребывает в доме — это действующий орган, субъект герундия и обстоятельств. Ушли шаги; ушли поцелуи, прощения, преступления. То, что по-прежнему пребывает в доме — это ступни, губы, глаза, сердце. Отрицания и подтверждения, добро и зло рассеялись. То, что по-прежнему пребывает в доме — это субъект действия.

Желание утихло…

Желание утихло, хвост по ветру. Обрублена жизнь, внезапно и беспричинно. Моя собственная кровь разбрызгивает меня по женскому контуру и растекается по городу, разглядывая то, что так неожиданно прекратилось.

— Что случилось с этим сыном мужчины? — восклицает город, и ребёнок плачет от страха в одном из залов Лувра перед портретом другого ребёнка.

— Что случилось с этим сыном женщины? — восклицает город, и прямо на ладони одной из статуй времён Людовиков вырастает пучок травы.

Желание утихло на высоте поднятой руки. И

я скрываюсь внутри самого себя, исподтишка подглядывая, спущусь ли я вниз или останусь мародёрствовать наверху.

Я буду говорить о надежде

Я страдаю от этой боли не как Сесар Вальехо. Сейчас мне больно не как художнику, не как человеку и даже не как простому живому существу. Я страдаю от этой боли не как католик, не как магометанин и не как атеист. Сегодня я просто страдаю. И если бы меня звали не Сесар Вальехо, я страдал бы от этой же самой боли. Если бы я не был художником, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был человеком или даже живым существом, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был католиком, атеистом или магометанином, я всё равно страдал бы от неё. Сегодня я страдаю вплоть до самых глубин. Сегодня я просто страдаю.

Сейчас мне больно без объяснений. Моя боль так глубока, что у неё уже нет ни причины, ни недостатка в причинах. И что служило бы её причиной? Где найдётся что-нибудь настолько важное, что оно могло бы оказаться её причиной? Ничто не служит её причиной; ничто не могло

бы оказаться её причиной. Но каким образом эта боль зародилась сама по себе? Моя боль порождена ветром юга и ветром севера, как бесполые яйца, которые некоторые редкие птицы сносят от ветра. Если бы умерла моя невеста, моя боль осталась бы той же самой. Если бы, в конце концов, вся жизнь пошла по-другому, моя боль осталась бы той же самой. Сегодня я страдаю вплоть до самых вершин. Сегодня я просто страдаю.

Я смотрю на боль голодающего и вижу, что его голод настолько сильно разнится с моим страданием, что если я уморю себя голодом, на моей могиле всегда вырастет хотя бы пучок травы. Так же обстоят дела и с влюблённым. Сколь животворна его кровь, чего не скажешь о моей, не имеющей источника и не находящей себе никакого употребления!

Ещё вчера я верил в то, что все вещи мира с необходимостью делятся на родителей и детей. Но моя нынешняя боль не относится ни к тем, ни к другим. Для заката ей не хватает спины, а для рассвета её грудь слишком велика; если её поместить в темноту, она не даст света, и если её вынести на свет, она не отбросит тени. Я страдаю сегодня, потому что страдаю. Сегодня я просто страдаю.

Перевод с испанского А. Щетникова

Из испанской поэзии

Хуан Рамон Хименес
Зимняя песня

Поют. Поют.
Где поют поющие птицы?

Дождь прошёл. Но на ветках
всё ещё нет листвы. Поют. Поют
птицы. В какой стороне
поют поющие птицы?

Клетки мои пусты.
Пуст птичий рынок. Но – поют.
А долина так далека. Никого…
Я не знаю, где поют

птицы – поют, поют! —
поют поющие птицы.

Нищие

Хотя бы то, что птичка
на лету прощебетала!..

– И розы аромат,
хранимый нежным взглядом!..

– И блеск небес,
что высох со слезинкой!..

«Несут золотые стрелы...»

Несут золотые стрелы
погибель лету. И воздух
прозрачной болью наполнен,
и кровь напоена ядом.

Всё – свет, и цветы, и крылья, —
уже готово к отлёту.
И сердце уходит в море.
О, сколько печали рядом!

Холодная дрожь и слёзы.
– Куда вы идёте? – Где вы? —
У всякого всякий спросит.
Ответ никому не ведом...

«Поэзия, рассветная...»

Поэзия; рассветная
роса; ночное
дитя; прохладная и чистая
истина последних звёзд
над хрупкой истиною
первого цветка!

Роса, поэзия;
рассветное падение небес на землю!

Утро в саду

Спящий младенец!

А в это время птицы поют,
качаются ветки
и улыбается огромное солнце.

В тени золотой
– столетие или мгновенье? —
спящий младенец
– вне всякой мысли

о мгновенном и вечном! —

А в это время птицы поют,
качаются ветки
и улыбается огромное солнце.

Актуальность

Безмерное сердце
в глубине каждодневного солнца
– дерево, пламенеющее на ветру —
единый плод лазурного неба!

Возвеличим – истину настоящего!

Любовь

Было сердце моё —
как лиловая туча
в закатном огне;
перекрученное, фиолетовое от боли,
пронзённое светом, пламенем, золотом!

Идеальное море

Маяк —
как голос ребёнка, что хотел бы
быть Богом; для нас почти незримый.
– Какая даль! —

И кажется,
что он зажжён не для таящих гибель
морей, но для зловещей бесконечности.

Творение

Изо дня в день, мои крылья
– землекопы, рудокопы:
тяжела кирка твоя, свет! —
погребают меня в белой бумаге…

– Восхожденье моё! – ну а отдых
в закатном грядущем!

…Чистым бессмертным жаром
взлечу над угольным солнцем,

преображённый!

Перевод с испанского А. Щетникова

Из ирландской поэзии

Сэмюэл Беккет
Cascando
1
«Превысив отчаянье…»

превысив отчаянье
слово
падения

чем выкидыш хуже бесплодия

ты ушла и время отяжелело
впору щипцами орудовать
тянуть из нутра постельного
жилы прошлой любви
глазницы в которых вроде твоих глаза
сейчас или никогда что лучше
черная пустошь забрызгала лица
говорящие
разве девять дней погубят любовь

а девять месяцев
а девять жизней

2
«Повторяю...»

повторяю
не научишь не научусь
повторяю есть последнее
из последнего
последняя мольба
последняя любовь
знание незнание притворство

последнее из последних слов
меня не любишь любим не буду
тебя не люблю любить не буду

в сердце опять опресноки слов
любовь любовь дряблая
истолчешь сыворотку
слов

испуганных
нелюбовью
любовью но не к тебе

любовью но не твоей
знанием незнанием притворством

я и все что полюбят тебя
если полюбят

3
«Если не полюбят...»

если не полюбят

«мой путь в текучих песках»

мой путь в текучих песках
возле горбатой дюны
летний дождь исхлестал мою жизнь
нахлынувшую и отступившую
к началу концу ли

покой в растаявшей дымке
когда не обиваю
эти длинные скользкие пороги

проживаю жизнь отмерянную двери
на ключ и настежь

«что бы я делал без этого мира безли-

кого»

что бы я делал без этого мира безликого
где я длюсь мгновение где мгновение
в пустоту выплескивает неведение бытия
без этой пучины
где тело и тень вместе идут на дно
что бы я делал без тишины для шепота гибельной

одышка ли безумие вызволить возлюбить
без неба парящего
над свинцовой пылью

что бы я делал что делал вчера
в мертвом луче наблюдал двойника
он как я идущий несомый
в пространства скорченные
среди безгласия голосов
наполняющих мой кокон

Перевод с ирландского Г. Стариковского

Из польской поэзии

Ежи Групиньский
Антифона

С утра я
Уверовал снова
В наш стих
Помолись же и ты
И уверуй в меня
Вновь как в Слово

Апостроф

Крыло
Укрой меня убереги
Свинцовой буквы тяжесть
Дай подняться

Свет

Софии и Яну Серединским

Утром
Приподниму осторожно

Крылья-ресницы
Может быть не погибну
Светом сраженный
Может быть вправду
Удастся поднять
Этими крыльями
Мир освященный
Сияньем

Стихи из памяти

О прошлой нежности
Стихами белыми
Шаги твои звучали
Но их не слышали
Ни ты ни снег
Что засыпал следы

К читателю

Именно так
оживет эта крона

Деревом мертвым стоять
стиху моему
Покуда
листьев его не коснется
твой голос
твое дыханье

Письмо на подоконнике

...а еще напишу тебе: Встал на рассвете
Но не смог отыскать ничего
Интересного – все уже видел
Это зеркало это кресло

И рука не тянулась потрогать
Ни тарелки ни старых вещей
Проживающих здесь —
Ничего

Только шторки крахмал
Да оплавленный лампой зрачок
И лежит костенея
За окном помертвевший пейзаж

Перо

Перо усталость и бумага
и ничего не скажет мне
оконной рамы пустота
стучит печатная машинка
суетится

И только щедрая земля
насытившись телами новых
мертвых
мне отвечает жирным срезом
дымящимся и
липнущим к лопате

Плод

Поверь – все дерево трясется
Когда голодными губами
Впиваешься в набухший соком плод

Разговор со стеной

Перо и папирус
Не этот ли скрип
тебя разбудил
мой древесный
жучок?

Нелюбимая

Это мои косы
Но их не помнят
Твои руки
Их бы обрезать
Под самый корень
Но нет
Не заметишь даже
Разве что ненадолго
Стихнет боль в затылке
Сброшу все одежды
Что скажут

Эта грудь и упругость бедер
Но молчат притихли
Возьмите
Тепло рук
Озябшие вещицы
Или не умею —
Лишь отдерну пальцы
Стынут снова
Тускнеют
Только струйка
Промолвит терпеливо
Мое тело
Теплым
И тяжелым словом
Мне прошепчет
Про каждый сантиметр
Слышу и знаю
И понимаю
Опуская веки
Пред отраженьем
Боже мой
Взглядом случайным врастаю

В плоскость зеркальной тверди
В стеклянные капли
Впрочем все это я знаю
И стараюсь поведать
Но когда искушаясь
Сяду под люстру
К зеркалу чтоб начертать
Имя твое помадой
Взвизгнет стеклянное пекло
И я останусь на той стороне
С красным соцветием вен
На распятой руке
И рваным шрамом на горле
Снова – одна

Заклятье

словно заклятье
твержу я:
Твой запах
кружит мне голову
вшитым под кожу

черным цветком
бузины!

Перевод с польского В. Лаврова

Из аргентинской прозы

Мануэль Рохас
Заказаны, но не пойдут…

Переводы заказаны, но не пойдут. А почему? Ответы бывали разные. Чаще всего вообще ответов не было. Иногда работу оплачивали (*«Мужчина с розой» — рассказ известного аргентинского писателя Мануэля Рохаса*), *иногда предлагали за те же деньги перевести другие рассказы: изменялся состав сборника* (*Эвора Тамайо «Листок из свадебного альбома», «Капитан ждёт»*). *И если можно предположить, что сборник рассказов латиноамериканских писателей, куда входил рассказ Рохаса, не увидел свет из-за того, что издательство уже испытывало трудности с деньгами — было начало 90-х, то история с переводами кубинской писательницы Эворы Тамайо, была совсем иной Ну кто знал у нас как следует современную кубинскую литературу? А тут ещё следовало знать «кто есть кто» из писателей, кто за Фиделя, а кто в душе не очень. Поэтому, естественно, состав сборника сделали на Кубе, да и сами тексты тоже прислали: книжки и перепечатки. Делало сборник издательство «Ху-*

дожественная литература» (Москва). Раскидали работу по переводчикам. Мне досталась тоненькая книжечка «чёрного юмора» Эворы Тамайо. В ней были собраны довольно страшные и занимательные вещи, но перевести требовалось только два рассказа, да и те не самые «чёрные». Однако, очень скоро мне сообщили, что Эворы Тамайо в сборнике не будет (хотя работа была сделана и сдана), как и многих других писателей Состав перешерстили. Имена были теперь совсем другие. Должно быть на Кубе что-то тогда произошло.

Теперь я жалею, что не перевела хотя бы для себя (времена меняются!) остальные рассказы из тоненькой книжечки, которая куда-то запропастилась. А вот куда запропастилась сама Эвора, не знаю. Хотелось бы узнать.

Нина Снеткова

Мужчина с розой

Несколько лет назад под вечер в Осорно приехали монахи-капуцины: они собирались наставлять в истинной вере местных жителей.

Монахов было шестеро, все — настоящие мужчины, бородатые, крепкие лица энергичные,

жесты вольные.

Бродячая жизнь наложила свою печать на этих вечных странников, и они ничуть не походили на монахов других орденов.

Тела шестерых бородачей закалились в постоянном соприкосновении в дикой природой юга во время долгих переходов через сельву, под яростными порывами ветра и проливными дождями, а лица утратили торжественную неподвижность, свойственную тем, кто проводит свои дни в тепленьком уединенном уголке уютного монастырского дворика.

Случай свел их в Вальдивии, куда они приехали кто откуда: из резерваций Анголы, из Ла-Империала, из Темуко, и уже все вместе они продолжили путь до Осорно, где целую неделю должны были исполнять свои миссионерские обязанности, а потом снова разъехаться по дорогам сельвы, неся слово евангельской проповеди.

Было их шестеро, все — настоящие мужчины, все бородатые.

Особенно привлекал внимание отец Эспиноса, ветеран миссионерской деятельности на юге, сорокапятилетний мужчина, высокий, крепкий, с виду деятельный, добрый и деликатный.

Был он из тех монахов, которые очаровывают

некоторых женщин и нравятся всем мужчинам.

Самая обычная голова под шапкой таких черных волос, что по временам они даже отливают синевой, как перья у дроздов. Матовое смуглое лицо, скрытое пышной бородой, и капуцинские усы. Широковатый нос, яркий, свежий рот, черные блестящие глаза. Под одеждой угадывалось легкое мускулистое тело.

Жизнь отца Эспиносы была увлекательна, как жизнь всякого человека действия, как жизнь конкистадора, главаря разбойников или партизана. И от каждого из них было что-то у отца Эспиносы в его манере держаться, и ему в самый раз подошли бы воинские доспехи первого, плащ и конь чистых кровей второго, защитное обмундирование и автоматическое оружие третьего. Но хоть он и походил на всех троих и, казалось, в определенных условиях мог бы стать любым из них, был он совсем иным и резко от них отличался. Он был человеком чистой души, понимающим других людей, чутким, и вера его была пламенной и деятельной, а дух, чуждый всему низменному, был исполнен религиозного рвения.

Пятнадцать лет разъезжал он по местам, где жили индейцы-арауканы. Он наставлял их в вере, а они души в нем не чаяли. И спрашивал он и

отвечал им всегда с улыбкой. Словно бы всегда говорил с такими же чистыми душами, как он сам.

Таков был отец Эспиноса, монах-миссионер, настоящий бородатый мужчина.

На другой день все уже знали о приезде миссионеров, и разнородная толпа, постигающая основы катехизиса, заполнила первый двор монастыря, в котором должна была проводиться миссионерская неделя.

Сельскохозяйственные и фабричные рабочие, индейцы, бродяги, сплавщики леса — все сходились сюда в поисках евангельской проповеди миссионеров, в надежде на нее. Бедно одетые, в большинстве своем босые или же в грубых охотах[1], кое-кто в одних рубахах да штанах, грязных и рваных от долгой носки, с отупевшими от алкоголя и невежества лицами; вся неопределенная фауна, выбравшаяся из соседних лесов и городских трущоб.

Миссионеры привыкли к своей аудитории и не оставались в неведении того, что многие из этих несчастных приходили сюда не столько обрести истину, сколько в надежде на их щедрость; но священнослужители за время своего миссионер-

---

[1] Примечания: 1

Охоты — сандалии из сыромятной кожи.

ского служения привыкли уже раздавать еду и одежду голодным и оборванным.

Весь день напролет трудились капуцины. Под сенью деревьев по углам двора сгрудились люди, отвечавшие как умели или как их учили, на простодушных вопросы катехизиса.

Где пребывает Господь?

На небесах, на земле и повсюду — отвечали они хором, с безнадежной монотонностью.

Отец Эспиноса, который лучше других владел местным наречием, наставлял в вере индейцев: ужасная задача, способная довести до изнеможения любого здоровенного мужчину, ведь индейцу не только трудно было воспринять суть наставлений, ему мешало еще и незнание испанского языка.

Но, тем не менее, все шло своим чередом, и к концу третьего дня, когда занятия с причастниками закончились, монахи приступили к исповеди. Группа людей, твердивших основы христианской доктрины, заметно поубавилась, многим ведь уже раздали одежду и еду, но народ все прибывал и прибывал.

В девять утра жаркого ясного дня началось шествие кающихся — они нитью тянулись от двора к исповедальням, неторопливо и в молчании.

Солнце клонилось к закату, и большая часть верующих разошлась; отец Эспиноса в свободную минуту гулял по двору. Он уже возвращался к своему месту, когда какой-то мужчина остановил его, обратившись с просьбой.

— Я хотел бы исповедаться, отец мой, у вас.

— Именно у меня? — спросил монах.

— Да, у вас.

— Почему же у меня?

— Не знаю. Может быть, потому что вы старше остальных миссионеров и потому, возможно, самый добросердечный.

Отец Эспиноса улыбнулся.

— Хорошо, сын мой. Если ты этого хочешь и так думаешь, то пусть так оно и будет. Пошли.

Он велел мужчине идти вперед, а сам пошел следом, разглядывая его.

До этого времени отец Эспиноса его не примечал. Мужчина был высок ростом, стройный, движения его были какими-то нервными, лицо смуглое, черная острая бородка, глаза тоже черные, горящие; изысканно очерченный нос и тонкие губы. Говорил он правильно и одет был чисто. На ногах у него были охоты, как и у других, но сами ноги казались ухоженными.

Когда они подошли к исповедальне, мужчина

опустился на колени перед отцом Эспиносой и сказал:

— Я попросил вас меня исповедовать, потому что уверен, что вы человек больших познаний и очень рассудительный. Я не отягощен смертными грехами, и совесть моя относительно чиста. Но сердце мое и разум хранят ужасную тайну, и это чудовищный груз. Мне нужно, чтобы мне помогли от него освободиться. Поверьте тому, в чем я вам сейчас признаюсь, и очень прошу вас, пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я уже много раз пытался исповедаться другим миссионерам, но они, с первых же моих слов, отталкивали меня, сочтя безумным, и насмехались надо мной. Я очень из-за этого страдал. Теперь последняя попытка. Если и теперь будет все так же, то я смогу убедиться, что спасения мне нет, и мой ад останется со мной.

Мужчина говорил нервно, но убежденно. Редко случалось отцу Эспиносе слушать такие речи. Большинство из тех, кто исповедовался в миссиях, были примитивными созданиями, грубыми, без искры божьей, и сообщали они ему самые заурядные грехи, многим присущие, грехи плотские, а не духовные.

Он ответил мужчине, придерживаясь его же

стиля речи.

— Скажи мне то, что тебе нужно сказать, и я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Доверься мне как брату.

Мужчина немного помедлил, прежде чем начать свою исповедь, казалось, он боялся выдать великую тайну, которую, по его словам, хранил в сердце.

— Говори.

Мужчина побледнел и посмотрел пристально на отца Эспиносу. В полутьме его черные глаза сверкали как у заключенного или безумца. Наконец он склонил голову и, стиснув зубы, проговорил:

— Я практикуюсь в черной магии и знаю ее тайны.

Услышав такие необычайные речи, отец Эспиноса жестом выразил свое изумление, глядя на мужчину с любопытством и страхом; но мужчина уже поднял голову и пристально глядел монаху в лицо, желая знать, какое впечатление произвели его слова. Изумление миссионера длилось всего несколько секунд. Он сразу же успокоился. Не в первый раз приходилось ему слышать о том же самом или о чем-нибудь подобном. В то время равнины вокруг Осорно кишмя кишели ведьма-

ми, знахарями и колдунами.

— Сын мой, — ответил он, — нет ничего удивительного, что священники, услышав от вас то, что вы только что сказали, принимали вас за безумного и отказывались слушать далее. Наша религия категорические осуждает подобные занятия и подобные верования. Как священник, я обязан вам сказать, что это тяжкий грех, но как человек говорю вам, что все это — глупости и обман. Никакой черной магии не существует, и нет человека, который мог бы что-либо совершить, что шло бы вразрез с законами природы и Божьей волей. Многие люди исповедовались мне в том же, но на поверку, когда их просили проявить свои оккультные знания, оказывались грубыми и невежественными обманщиками. Только повредившийся в уме или вовсе дурак какой может верить подобному вранью.

Говорил он резко, и этой речи было бы вполне достаточно, чтобы иной человек отступился от своих намерений; но к великому удивлению отца Эспиносы, его речь только вдохновила мужчину, он поднялся с колен и убежденно воскликнул:

— Так ведь я только и прошу вас разрешить мне показать то, в чем я исповедуюсь. Я вам покажу, вы саму убедитесь, и я обрету спасение.

И добавил:

— Если я предложу сделать опыт, вы согласитесь, отец мой?

— Знаю, что только время потеряю, к сожалению, но все равно — я согласен.

— Очень хорошо, — сказал мужчина. — Что бы вы хотели, чтобы я сделал?

— Сын мой, я же не знаю твоих магических возможностей. Сам предлагай.

Несколько мгновений мужчина размышлял. Потом сказал:

— Попросите меня принести вам что-нибудь, что находится далеко отсюда, так далеко, что за день или за два невозможно добраться туда и вернуться обратно.

Свежие губы отца Эспиносы тронула недоверчивая улыбка.

— Дай-ка подумаю, — ответил он, — и да простит мне Господь этот грех, эту дурость, на которую я иду.

Монах долго молчал, обдумывая, что бы ему предложить принести. Не так-то легко было придумать. Сперва он мысленно перенесся в Сантьяго, в то помещение, из которого он сейчас попросит что-нибудь взять и принести сюда, потом он стал выбирать этот предмет. Самые раз-

ные вещи приходили ему на память, возникали в воображении, но для этого случая все они не подходили. Некоторые — повсюду встречались, другие казались ему какими-то детскими, иные — слишком личными, а необходимо было выбрать одну вещь, одну-единственную, которая была приемлема. Он припомнил и внимательно осмотрел свой далекий монастырь, прошелся по его дворикам, по кельям, по коридорам и по саду, но не обнаружил ничего подходящего. Потом принялся вспоминать знакомые места в Сантьяго. Что бы попросить? И когда он, уже изрядно утомившись, готов был решиться на какую-нибудь из всплывших в его памяти вещей, в его памяти вдруг всплыла, расцвела, словно цветок — но она и в самом деле была цветком! — свежая, чистая, дивного красного цвета роза из сада монахинь-кларисток.

Как раз совсем недавно он увидел в одном из уголков этого сада куст, покрытый розами удивительного красного цвета. Нигде не видел он таких или подобных им роз, и трудно было предположить, что таки росли и здесь, в Осорно. Но ведь мужчина утверждал, что принесет любую вещь, которую он попросит, не покидая этих мест. Тогда все равно, что просить. Он ведь, в конце концов,

не принесет ничего.

— Знаешь, — сказал наконец отец Эспиноса, — в саду у монахинь-кларисток в Сантьяго, возле той стены, что выходит на Ала-меду, растет розовый куст, розы на нем очень красивого гранатового цвета. Только один такой куст там и растет. Мне хотелось бы, чтобы ты принес розу с этого куста.

Предполагаемый волшебник ничего не спросил ни о тех местах, где растет роза, ни о расстоянии до них, только спросил:

— А когда я залезу на стену, мне легко будет сорвать эту розу?

— Совсем легко. Протянешь руку, и роза уже у тебя.

— Очень хорошо. Теперь скажите, есть ли здесь, в монастыре, комната с одной дверью?

— Здесь много таких комнат.

— Отведите меня в такую комнату.

Отец Эспиноса поднялся с места. Улыбнулся. Приключение превращалось в странную и забавную игру, чем-то напоминавшую игры его детства. Выйдя вместе с мужчиной, он повел его во второй двор, где находились кельи монахов. Привел в свою комнату. Не слишком просторная, с толстыми стенами, с одним окном, одной дверью. Окно забрано толстой кованой решеткой

и на двери — крепкий замок. В комнате стояли кровать и большой стол, были там и два образа, распятье, одежда и разные предметы обихода.

— Входи.

Мужчина вошел. Держался он непринужденно, свободно и казался человеком, вполне в себе уверенным.

— Подходит тебе эта комната?

— Подходит.

— Скажешь, что надо сделать.

— Прежде всего, который час?

— Половина четвертого.

Подумав мгновенье, мужчина сказал:

— Вы меня попросили принести розу из сада монахинь-клариcток в Сантьяго, и я вам ее принесу через час. Для этого мне надо остаться здесь одному, а вы уйдете, запрете дверь на ключ, и ключ возьмете с собой. Возвращайтесь точно через час. В половине пятого вы откроете дверь, и я вручу вам то, что вы попросили.

Отец Эспиноса молча кивнул головой. В нем нарастало беспокойство. Игра становилась все более увлекательной, таинственной, а уверенность, с какой говорил и действовал этот мужчина, придавали ему четно пугающее и внушающее уважение.

Прежде чем выйти, отец Эспиноса внимательно оглядел все вокруг. Если дверь заперта на ключ, выйти из комнаты невозможно. А хотя бы и удалось мужчине выйти, что бы он стал потом делать? Нельзя сотворить искусственным путем розу, форма и цвет которой тебе не ведомы, и ты никогда эту розу не видел. И с другой стороны, весь этот час он будет кружить вокруг своей кельи. Обман был невозможен.

Мужчина стоял у двери и, улыбаясь, ждал, когда монах уйдет.

Отец Эспиноса вышел, вынул ключ из замочной скважины, убедился, что дверь крепко заперта и, спрятав ключ в карман, стал спокойно прохаживаться.

Обошел двор раз, другой, третий. Минуты ползли медленно; никогда еще не уползали так медленно шестьдесят минут одного часа. Сначала отец Эспиноса был спокоен. Ничего не произойдет. Когда пройдет назначенное мужчиной время, он откроет двери и найдет его таким же, каким и оставил. Не будет в его руке ни той розы, что он просил, ни чего бы то ни было похожего на нее. Мужчина постарается оправдаться, придумать какой-нибудь ерундовый предлог, и тогда он продолжит свою краткую проповедь и

тем всему будет положен конец. Но пока отец Эспиноса прогуливался, он спросил себя: «А что он там делает?»

Вопрос его ужаснул. Ведь что-то этот мужчина делал, пытался делать. Но что? Беспокойство, охватившее его, усилилось. А если мужчина обманул, если у него были совсем другие намерения? Прервав прогулку, отец Эспиноса попытался что-то уяснить, припоминая этого мужчину и то, что он говорил. А вдруг он безумный? Сверкающие, горящие глаза этого человека, кто его знает, в себе он или нет, тем более, как судить о его намерениях…

Отец Эспиноса медленно пересек двор и пошел по коридору, где находилась его келья. Несколько раз прошелся мимо запертой двери. Что может там делать этот мужчина? Проходя вновь мимо двери, он остановился. Ничего не было слышно, ни голосов, ни шагов, ни шума. Он подошел к двери и приложил ухо к замочной скважине. Полная тишина. Он снова принялся ходить по коридору, но мало-помалу его беспокойство, его испуг стали все усиливаться. Он уже не отходил далеко от двери, под конец — не более чем на пять-шесть шагов. И вот он замер перед дверью. Почувствовал, что не в силах отойти от нее ни на

шаг. Необходимо было немедленно покончить с этим нервным перенапряжением. Раз человек там, за дверью, не говорил, не стонал, не двигался — значит, он ничего и не делал, а раз он ничего не делал все это время, то он ничего и не добудет. Отец Эспиноса решил открыть дверь, не дожидаясь условленного срока. Он застанет этого мужчину врасплох, и это будет эго полной победой. Поглядел на часы: до половины пятого оставалось еще двадцать пять минут. Прежде чем открыть, он снова приложил ухо к замочной скважине: ни звука. Нашел в кармане ключ и, вложив его в замочную скважину, неслышно повернул. Дверь беззвучно подалась.

Отец Эспиноса заглянул внутрь комнаты и увидел, что мужчина не сидел и не стоял: он лежал, распростершись на столе, недвижимый, ногами к дверям.

Эта неожиданная его поза изумила отца Эспиносу. Что мог делать этот мужчина, находясь в таком положении? Отец Эспиноса шагнул в комнату, с любопытством и ужасом глядя на распростертое на столе тело. Безусловно, его присутствие не было замечено; может быть, человек спал, может быть, он был мертв… Отец Эспиноса шагнул еще, и тут-то увидел такое, от чего застыл,

как и лежавшее на столе тело. Человек был без головы.

Отец Эспиноса побледнел, почувствовал стеснение в груди, весь покрылся холодной испариной и все смотрел, смотрел, ничего не понимая. Он превозмог себя и подошел к верхней части тела этого существа. Посмотрел не пол, ища там исчезнувшую голову, но на полу ничего не было, не было даже пятнышка крови. Он подошел к обрубленной шее. Человек был обезглавлен без усилия, ничто не было разорвано, очень тонкая работа. Виднелись сосуды и мускулы, трепещущие, красные; белые чистые кости; пульсировала кровь, горячая и красная, она не выливалась, удерживаемая неведомой силой.

Отец Эспиноса выпрямился. Окинул быстрым взглядом все вокруг, искал хоть какого-нибудь следа, какого-нибудь признака, который помог бы угадать, что здесь произошло. Но все в комнате оставалось на тех же местах, что и в тот момент, когда он ушел; повсюду порядок, ничто не разрыто, ничто не испачкано кровью.

Он поглядел на часы. До половины пятого оставалось всего десять минут. Пора было уходить. Но прежде чем уйти, он решил, что надо обязательно оставить какое-нибудь свидетельство о том, что

он здесь побывал. Но что? Тут его осенило: порывшись в одежде, он вытащил большую бритву с черной ручкой и, проходя мимо тела по дороге к дверям, глубоко вонзил ее в подошву лежащего на столе человека.

Потом запер дверь на ключ и ушел.

В течение последовавших затем десяти минут монах нервно, беспокойно ходил взад-вперед по коридору; ему не хотелось рассказывать, кому бы то ни было о случившемся; он подождет еще десять минут, и когда они пройдут, снова войдет в келью и, если найдет человека этого все в том же состоянии, сообщит о случившемся другим монахам.

Спал ли он или находился во власти галлюцинаций или под каким-то мощным гипнозом? Нет, этого не было. Все, что до этой минуты случилось, было совсем просто: человек каким-то загадочным образом покончил с собой. Да, но где же его голова? Этот вопрос смущал. И почему нигде не видно следов крови? Он предпочел больше об этом не думать, потом все выяснится.

Половина пятого. Подождал еще пять минут. Хотел дать человеку время. Но для чего, если он мертв? Он и сам толком не знал, но в тот момент почти желал, чтобы мужчина продемонстриро-

вал свое магическое могущество. Иначе все, что произошло, окажется таким бессмысленным, таким печальным…

Когда отец Эспиноса открыл дверь, мужчина уже не лежал, распростершись на столе, как пятнадцать минут назад. Остановившись прямо перед ним, спокойный, с легкой улыбкой на губах, он протягивал руку: на смуглой ладони нежно пламенела только что сорванная роза: то была роза из сада монахинь-кларисток.

— Эту розу вы просили?

Отец Эспиноса не ответил; он глядел на мужчину. Тот был бледен, слегка осунулся. Шею обвивала красная полоска, словно свежий шрам.

«Без сомнения, Господь хочет сегодня позабавиться над своим рабом», — подумал отец Эспиноса.

Он протянул руку и взял розу. Да, то была одна из роз, цветущих в саду сантьягского монастыря, где он их и видел. Тот же цвет, та же форма, тот же аромат.

Молча вышли из кельи мужчина и монах. Монах нес розу, зажав ее в руке, и ощущал свежесть ее красных лепестков. Роза была только что сорвана. Для монаха кончились все размышления, сомнения и печаль. Над всем властвовало впе-

чатление от случившегося, и чувство смущения и уныния заполонило его сердце.

Неожиданно он заметил, что мужчина хромает.

— Почему ты хромаешь? — спросил он.

Роза росла не под самой стеной. Мне пришлось упереться ногой в розовый куст, чтобы ее сорвать, и вот тогда шип вонзился мне в пятку.

Тут отец Эспиноса победно вскричал:

— А! Все это только иллюзия! Не был ты в саду у монахинь-кларисток, не поранил там ногу шипом. Это я вонзил тебе в ногу бритву, вот и болит у тебя нога. Ну-ка подними!

Мужчина поднял ногу и священник, ухватившись за ручку бритвы, вытащил ее.

— Видишь? Ни шипа, ни розового куста. Все иллюзии.

Но мужчина сказал:

— А роза, которую вы держите в руке, это тоже иллюзия?

Через три дня закончилась миссионерская неделя, и монахи-капуцины покинули Осорно. И снова отправились они в путь по дорогам сельвы. Обнялись. Расцеловались и — в разные стороны. Каждый поехал своей дорогой.

Отец Эспиноса возвращался в Вальдивию. Но

теперь уже он был не один. Подле него ехал на коне сумрачный, молчаливый мужчина с черными сверкающими глазами.

То был мужчина с розой.

Перевод с испанского Н. Снетковой

Из кубинской прозы

Эвора Тамайо
Капитан ждет

«Муж убил меня сегодня утром. Ровно в пять он всадил мне в горло нож. Я упала на верхней ступеньке лестницы навзничь и долго смотрела на сотканные пауками ровные узоры. „Если поднимусь, надо будет обязательно обмести потолок“», — подумала я, но тут же вспоминаю, что отдала лестницу соседке, а доверять Марио, моему мужу, сходить за ней — не могу.

Одна моя нога, левая, повисла над проемом. Этому мерзавцу Марио все-таки не удалось застать меня врасплох. Он давно собирается меня убить, и, наконец, сегодня — как раз, когда я должна купить рыбу! — он решил со мной разделаться. Ничего святого! Вот что меня в нем ужасает.

Сцена убийства точно соответствовала тому, как я ее себе представляла. Марио подкрался на цыпочках, вооружившись большим кухонным ножом. По счастью нож был хорошо наточен. Блеснула сталь, и нож вонзился мне в горло. Слабый, придушенный крик: вчера вечером горло у меня заболело, сделался ларингит. Вещь

обыденная, но, возможно, она и навела его на мысль перерезать мне горло. Может, он подумал, что я не смогу кричать? «Если хочешь, я приготовлю тебе питье», — сказал он прошлой ночью, приподнимаясь на постели. Я покачала головой: боялась, что питье окажется подслащенным горьким миндалем. В зеркале на туалетном столике — мое отражение. «Ведьма, настоящая ведьма, — подумала я. — Да такой мужчина как Марио день и ночь должен мечтать от тебя избавиться».

— Марина, что ты делаешь на лестнице? Ну чего ты там разлеглась? Подымайся, уже поздно, мне пора на работу. Половина восьмого, а ты вон где, и в каком виде!

— Ну что еще? Ах да, тебе пора на работу. Завтрак? Бегу, бегу.

Вхожу в кухню. Молоко кипит ключом, шапкой поднимается белая пена.

«Он меня еще не убил. Чего он ждет? Сегодня отличный день. Быть может, после завтрака».

— Какие гренки тебе приготовить?

— Пригоревшие, пригоревшие. На это ты мастерица.

«Его насмешки приводят меня в отчаяние. Такой был милый, когда мы поженились. Всего-то сорок лет семейной жизни и понадобилось, чтобы

превратиться в жаждущее крови чудовище. Моя мать прекрасно его понимала. В этом человеке, дочка, твоя погибель. Не спускай с него глаз, она умерла за пятнадцать лет до того, как я раскрыла преступные замыслы Марио. Это счастье, что мама умерла, а то бы она заставила меня донести на него».

— Вот твои гренки.

— Ну какого черта, Марина, ты мажешь мало этим ножом! Он же совсем не для этого.

— А для чего? Чтобы кое-кому перерезать горло, верно?

— Что за ерунда лезет тебе в голову! Позвоню в одиннадцать, вполне вероятно, что обедать не приду. Сегодня у нас обсуждение плана выпуска продукции будущего года. Если хочешь, заходи за мной вечером. Пошли бы в кино.

«Все это он говорит, чтобы сбить меня с толку. Скажу, что не собираюсь в город. Сегодня я рано лягу и обмету потолок. Не хочу умирать под грязным потолком. Соседи осудят, когда придут провести ночь у моего гроба. Белье — в комоде. Зеркала протерты. Остается потолок».

— Я обмету потолок, Марио.

Они целуются в дверях парадного.

«Марио старый и не стыдится целовать меня

на людях. Впрочем, он это делает, чтобы меня унизить».

— Если передумаешь, заходи за мной.

Машина Марио исчезает из виду.

— Марина Эстака!

«Кто-то на улице зовет меня. Бегу. Должно быть, полиция узнала, что я убита. Сейчас сообщу».

— Марина — это я. Что вам угодно?

— Распишитесь здесь. Заказное.

— Спасибо, спасибо.

Почтальон торопливо уходит. «Бедняга и не знает, что говорил сейчас с женщиной, которая с минуты на минуту умрет чудовищной смертью. Вскрываю конверт. Пришла анонимка. „Ваш муж обманывает Вас с женщиной по имени Сара“. Сара? Кто же это такая будет? „Они видятся каждый день в обед. Сара высокая, совсем молодая и работает в кафе“. Какая пошлость! Но в тот день, когда я писала эту анонимку, ничего лучшего не пришло мне на ум. У полиции будет улика, она сможет раскрыть убийство. Сержант, отправьте труп убитой в Управление по вскрытиям. Бедная сеньора, так подло убита! Сержант, пусть при вскрытии ее не слишком потрошат. Слушаюсь, капитан. Ее не распотрошат. Я буду все время возле нее. Она была так с нами любезна. Сержант,

проверьте желудок, там могут быть обнаружены остатки яда. Если яд будет обнаружен, мы сохраним желудок в банке. Управление, наверно, захочет оставить его на память. Сержант, позовите Освальдо. Пусть займется фотографиями. Какой порядок в доме! На потолки ни паутинки. Видать старушка пеклась о своем домашнем очаге! Сержант, слушайте внимательно: нынешние женщины не заботятся о потолках! Да, капитан, моя их никогда не обметает. Сержант, выполняйте мои распоряжения. Слушаюсь, капитан. Пройдите сюда, Освальдо. Обнаружили что-нибудь важное? Да, капитан. Анонимное письмо у не под подушкой. Читайте, Освальдо. При ней? О нет, мы не заставим ее страдать от этого жуткого письма.

— Пройдите в гостиную. Читайте же.

„Ваш муж обманывает Вас с женщиной по имени Сара. Они видятся каждый день в обед. Она высокая, совсем молодая и работает в кафе“. Подпись — „Уважающий Вас друг“.

— Никогда, Освальдо, не бывает недостатка в людях сообщающих такие новости. Обнаружили эту Сару?

— Капитан, арестовано пятьдесят молодых девушек по имени Сара. Все они работают в кафе.

— Хоть одна из них знает Марину Эстака?

— Ни одна.

— Освальдо, правосудие не медлит. Впрысните им сыворотку правды и пытайте, пока не признаются.

— Есть, капитан. Под пыткой все пятьдесят признали, что знают Марину Эстака и спят с Марио.

— Значит та, что отрицает эти факты — виновна. Действовать, Освальдо, надо при помощи научной психологии».

Звонит телефон.

— Слушаю.

— Дорогая, обсуждение проекта затягивается. Еду за тобой, пообедаем вместе.

— Я не могу уйти, здесь полиция. Труп обнаружен. Мне сделают вскрытие.

— Что ты там говоришь, Марина?

— Ничего. Говорю: приезжай за мной. Я буду готова. Пока.

«Что бы это могло значить? Узнал об анонимном письме и хочет ко мне подластиться? Половина двенадцатого, а я так и не обмела потолок. А, оставлю на завтра. Может, Марио решил совершить преступление в ресторане? Много народу, убаюкивающее пение скрипок. Едет уже. Проклятый гудок».

Спускаюсь, спускаюсь.

— Привет! Шеф отложил обсуждение проекта на завтра.

— Чудесно! Можешь обновить свитер, который я тебе связала.

— Не знал, что ты вяжешь.

— Осторожно, веди машину осторожно!

«Вот этого-то я и боялась. Столкновение с молоковозом. Я — мертвая женщина. Что за гнусная толпа зевак! Нет, сеньор полицейский, это не несчастный случай. Все очень просто! Этот человек — Марио. Уже довольно давно он обдумывает как бы убить меня. Сегодня утром он попытался вонзить мне в горло нож. К счастью, я вовремя увернулась. Понятно, я позвала начальника нашего участка. Капитан пришел с сержантом и с этим симпатичным офицером, которого зовут Освальдо. Капитан вел себя как порядочный человек. Вскрытия не надо, оно ее изуродует. Так он сказал. Молоковоз, удар — и мое тело разбито на куски до конца моих дней!»

Один из толпы:

— Вот чертова старуха, выкинулась на ходу из машины, чуть меня не придавила.

— Сеньора, слезьте с меня!

— Как ты смеешь, болван, так разговаривать с

умирающей старой женщиной!

— Марина, успокойся, дорогая, приди в себя. Извините ее сеньоры. Дверца машины открылась. Ну прошу тебя, Марина.

— Молчи, Марио, что хочу, то и говорю, мое дело.

— Старуха приходит в себя. Вы, сеньор, следите лучше за собой. Ничего не случилось. Давайте осторожно ее в машину. Вы, муж, помогите мне. Старуха весит фунтов двести.

«Мы в машине. Похоже, что план Марио провалился».

— Болит нога.

— Поехали в больницу, пусть посмотрят.

— Нечего смотреть. Я отлично себя чувствую. Мне бы вот поесть.

— Что с тобой твориться, дорогая? С некоторых пор я замечаю в тебе какую-то агрессивность. Сегодня ты растянулась на лестнице как раз в ту секунду, когда я выходил из комнаты. Какой-нибудь злопыхатель мог бы сказать, что это я тебя столкнул.

«Ты и толкнул, ясное дело. Только я не свалилась с лестницы, а упала на площадке; этого ты меньше всего ожидал. Но в другой раз все будет иначе. Я знаю, плотник проложит желоб,

и как только я упаду на площадке, я буду падать, падать, и так до самой земли. Убьюсь. Придут соседи, придет моя племянница Элоиса. Нет, Элоиса должна возиться с ребенком. Вечно этот мальчик не дает ей посидеть у гроба ее знакомых. Завтра же позвоню ей. Вдруг Элоиса не придет на мои похороны? Даже подумать страшно».

— Марио, ты последнее время видел Элоису?

— Каждый день вижу на работе. Она давно собирается прийти к тебе.

«Вот мы и в ресторане. Белые скатерти свисают до полу. Боюсь как бы Марио не устроил так, что под нашим столиком окажется бомба с часовым механизмом. У него огромные связи среди официантов».

— Давно не видела я Элоису.

— Тебе нравится этот столик? Или хочешь сесть на балконе?

— Нет, благодарю, этот столик мне нравится.

«Как раз то, чего я боялась. Бомба! Слышу ее отвратительное тик-так-тик. По своему духовному складу Марио — анархист».

— Марина, оставь, пожалуйста, в покое мои ботинки.

— Прости, мои ноги тебя не видят. У них нет глаз.

«Как же, его ботинки! Подлый интриган, старается обойти меня. Половина первого, в час раздастся взрыв. Наемся-ка пока. Потрачу на еду его мерзкие песо».

— Филе. Для меня — три филе и пять бутылок пива.

«Для старой женщины такой заказ выглядит подозрительно. Полиция захочет узнать, почему я съела три порции филе и выпила пять бутылок пива. О, пусть придет этот симпатичный капитан, который проявил такую заботу обо мне нынче утром! И Освальдо пусть придет, я его уже люблю как сына. Они так бережно обращались с моим трупом».

— Филе для сеньоры и пиво, — говорит официант.

«Должно быть соучастник. С усами.

Час
дня.
Бомба, бомбы взрывается. Бумммммммммммм!

Начальник участка допрашивает официанта. Именно это он и подозревал: анархист. Освальдо, сфотографируйте тело старой женщины. Какое хрупкое! Мне нужны цветные фотографии. Сыну необходимо разглядывать снимки разных там печеней и поджелудочных желез. Понимаешь?

Он изучает медицину.

— Капитан, фотографии будут отпечатаны.

— Приведите обвиняемых по этому делу.

— Они здесь, капитан.

— Ваше имя.

— Я официант, сеньор. Хакобо Анкерман. Я подал сеньоре три филе и пять бутылок пива. Хрупает она, сеньор, все равно, что скотина!

— Довольно оскорблений! Мы приговорим тебя к электрическому стулу и к гарроте. К электронной гарроте, которая является новейшим и самым точным инструментом. Она и убьет тебя электричеством и задушит в одно и то же время. Это тебе, Хакобо, за убийство изумительной старой женщины.

— Клянусь моими детьми, сеньор, я ни сном ни духом…

— Довольно. Правосудие тобой займется. Внимание, Освальдо. Пусть приведут мужа старой женщины.

— Он здесь, капитан. Гогочет, что твой гусь. Кажется, опасный тип. Уголовное прошлое. Отъявленный плут.

— Я Марио Альфонсо, супруг этой старой развалины, которая при жизни звалась Мариной. Я очень рад, что она померла. Я сам убил ее — по-

местил под стул бомбу.

— О негодяй! Твоему преступлению нет названия, оно прославит тебя, Марио Ландрю. У тебя была любовница по имени Сара. Признаешь это?

— Конечно, признаю. Она из нашей банды и к тому же я ее люблю. Она убила десять полицейских, трех сержантов, двух капитанов. Лейтенанта — ни одного.

— Почему ты убил свою красивую, самоотверженную супругу?

— Потому что она подавала мне подгоревшие гренки. Ах, капитан, простите меня, я больше не буду. Не губите мою преступную карьеру из-за этой дряни.

— Ублюдок! Я из тебя котлету сделаю, смелю в моей личной мясорубке. Но если хорошенько подумать, так ведь ты стоящий экземпляр. Освальдо, отведи этого человека ко мне в кабинет. Я хочу, чтобы этот убийца стал моим адъютантом. Идите ко мне в кабинет! И пусть он, прежде чем войдет, отдаст честь».

— Трус! Трус, предатель! Я сорву твои капитанские нашивки!

— Марина, оставь в покое филе. На нас смотрят.

— Капитан меня предал. И это после всего, что

я для него сделала! Он захотел взять тебя в адъютанты. Освальдо — вот это достойный офицер!

— Марина, о чем ты? Оставь филе, не то подавишься. Официант, пожалуйста, счет. Спасибо.

— Прощай, преступник. Ох и возьмется за тебя правосудие.

— Синьоре плохо?

— Прощай, Хакобо, увидимся.

«Отдал мне ключи от машины, и я возвращаюсь домой одна. У меня еще полдня в запасе, могу обмести потолок. Как приеду, сразу позвоню Элоисе. Только так ее и застанешь.

Элоиса приедет во время летних каникул, когда мальчик будет в лагере. „У нас еще хватит времени поговорить обо всем“, — сказала притворщица. Я знаю — она любит Марио. На прошлое рождество ужинала у нас. Ясное дело и мальчика привела. Я возьми и скажи, что он вроде бы малость глуповат и очень уж головастый. С тех пор Элиса и затаила на меня зло. Не моя ж вина, что мальчик урод. „Ты ошибаешься, тетя, мой ребенок совсем не такой, как ты говоришь“. И больше об этом ни слова. Стала такая серьезная, я бы сказала грустная. А Марио обхаживает ее, делает подарки, водит обедать, даже импортными сигаретами угощает. Уж она поглядит, когда он

меня убьет. В нашей семье убийства случались чрезвычайно редко. Отец ни разу не убил мою мать. Они еще прежде развелись. Жили отдельно. Наконец-то я кончила обметать потолок. Теперь спать, пока не придет Марио».

«Проснись, дорогая. Тебя внизу ждут двое мужчин. Один говорит, что его зовут Освальдо. Второй — капитан.

— Как, ты меня уже убил?

— Да, вчера вечером, когда ты спала. Не стал будить тебя, чтобы не испугать. Но я так от тебя устал, Марина, так устал, что не чаял, как и избавиться.

— Спущусь, сварю им кофе. Не хочу, чтобы Освальдо подумал, будто мы скупердяи какие. А капитан пусть убирается с глаз долой. Не желаю его видеть. Знаешь, Марио, он ведь дал скрыться Хакобо, официанту».

— Марина, дорогая, проснись, — голос Марио звал ее откуда-то издалека.

— Сейчас, сейчас, вот умою лицо. Все в порядке.

Марио присел подле нее на край кровати. Она заплетает седые косы. А когда-то они были черные, блестящие. Тогда ее косы нравились Марио.

— Почему ты хочешь меня убить? — вдруг

спросила она.

— О чем ты, Марина? Не понимаю, — говорит он и ломает пальцы.

— Ты толкнул меня на лестнице, ты пытался перерезать мне горло ножом, ты выбросил меня на ходу из машины, ты подложил бомбу в ресторане. И все — лишь бы от меня избавиться. До чего же ты хочешь дойти? До третьей мировой, что ли?

— Я — несостоявшийся убийца, — признается он.

— Это конечно так, — говорю я неуверенно, — но мне становится боязно.

— Решай сама. Что ты предпочитаешь — продолжать игру или умереть сейчас?

— О, этого ты сделать не можешь, внизу ждет капитан. Освальдо схватит тебя…

Марио зажигает сигарету. Искры дождем сыплются на постель. Она почти что слышит как он думает. Лицо у него поблекшее, губы горестно обвисли.

На лестнице переговариваются двое мужчин, похоже они взбираются… очень осторожно… по перилам…

Листок из свадебного альбома

Она приехала в наш городок поздней осенью. Темно-коричневый шарф, высоченные, словно небоскребы, каблуки. На руке висел маленький человечек весьма претенциозного вида. Многим он показался обезьянкой, уцепившейся за ветку. Человечек кашлял и плевал, куда попало — должно быть, люди представлялись ему тоже плевательницами, только говорящими. Городок гордился новоселами — очень уж редко кто-либо оставался здесь: питьевую воду надо было брать из пруда, да еще и делить этот пруд со скотиной.

Скоро все уже знали, что приезжую зовут Элиса, что она врет, когда признается, будто ей сорок, будто она любит детей и очень набожна.

Куда более вероятным казалось, что она ненавидит собак, что отношения с сатаной у нее самые близкие и что ей нет и тридцати.

Два факта из ее жизни позволили соседям счесть Элису особой весьма экстравагантной. Об одном рассказал лавочник: каждую неделю она закупала огромное количество съестных припасов и оплачивала их наличными. Второй факт выплыл на свет в присутствии железнодорож-

ного служащего по имена Гало и случилось это в тот самый день, когда соседи пришли навестить Элису.

Они сидели в зале большого деревянного дома, где прежде жил единственный местный прокаженный; просторная комната была убрана Элисой по ее вкусу: густые красные занавески не пропускали яркого солнца и свет, проникнув сквозь них, становился мягким и сладостным.

Разговор все время вертелся вокруг Элисы, терпеливо и скромно принимавшей всеобщее внимание. Может быть, из благодарности она и показала гостям свой свадебный альбом.

То был альбом среднего формата, обтянутый черным бархатом и перевязанный двумя шелковыми лиловыми лентами, у корешка блестели золотые инициалы: Э. П. Д. — для свадебного альбома он был, пожалуй, несколько мрачноват.

Но самое удивительное произошло потом, когда хозяйка дома с улыбкой раскрыла этот необыкновенный альбом и все сгрудились вокруг нее.

На первой странице они увидели фотографию молодого человека. Лицо его нельзя было назвать грустным или печальным, оно было каким-то потусторонним. Выпученные глаза, казалось, молили о спасении. Рядом с фотографией тра-

гический комментарий к ней — свидетельство о смерти.

— Все бумаги в порядке, — сказала Элиса, с довольным видом глядя на фотографию.

— Отчего же он умер? — спросил кто-то.

— От туберкулеза. Он болел туберкулезом, от туберкулеза и умер, — с готовностью ответила хозяйка и перевернула страницу. Теперь на фотографии подле Элисы сидел на корточках толстый мужчина, в руках он держал зонтик. На заднем плане виднелся низвергающийся водопад.

— Это Ниагара. В наш медовый месяц мы так много развлекались… Амбросио был очень веселый… он был сердечник.

Амбросио был вторым мужем Элисы. Свидетельство, написанное по-английски, подтверждало, что смерть наступила в результате инфаркта. В приклеенной здесь же газетной вырезке коротко излагалась история некоего туриста, который был так потрясен красотами местной природы, что взял да и умер.

— Его пришлось везти обратно на пароходе. Вот был ужас! — сказала Элиса и снова перевернула страничку.

Теперь на гостей смотрел исхудалый человек, с искаженным страдальческой гримасой ртом,

ясно говорившей о том, что смерть уже загнала его в угол.

— Он не очень мучился, но ему и этого хватало, совсем распустился — день и ночь кричал, — с досадой пояснила Элиса; видно, ей не терпелось перевернуть эту страницу.

— Рак? — насмешливо спросил Гало.

— Нет, раковый был четвертый. Хоакин умер от тифа. На вид был такой крепкий, а тиф съел его за неделю. Вот и удостоверение, взгляните.

О четвертом и пятом мужьях Элисы Гало почти ничего не мог вспомнить. Он только говорил, что его мутило, и в то же время он завидовал этим счастливчикам, которые, прежде чем умереть, вдоволь насладились Элисой.

— Ваш теперешний муж, сеньор Лавин, тоже выглядит не очень здоровым, — заметила одна из соседок, стремясь приблизить беседу к современности.

— Да, конечно, — подтвердила Элиса. — Марио страдает язвой желудка. К тому же он такой крошечный…

Последняя фраза ничего существенно нового, по мнению Гало, в обсуждаемый вопрос не внесла.

После этого странного вечера соседи стали

избегать встреч с Элисой, но справедливости ради следует сказать, что следить за нею они никогда не переставали. Только Гало продолжал поддерживать отношения с «черной вдовой», как прозвали Элису соседки.

Одна местная ведьма, отъявленнейшая сплетница, узнав о том, что Гало и Элиса все чаще видятся, поспешила предупредить его:

— Берегись, Гало, ты ведь диабетик.

Но Гало пропустил намек мимо ушей. Тем временем Элиса подружилась с грязной старухой, бродяжкой и вруньей, по имени Хеновева. Они стали неразлучны и часто гуляли вместе по окрестностям.

Наступил день, когда Гало, повстречав прогуливающихся женщин, отозвал Элису и принялся умолять ее порвать с Хеновевой, а заодно попросил разрешения как-нибудь на днях навестить ее.

— Приходите завтра, — ответила довольная Элиса и пустилась догонять Хеновеву.

На следующий день Гало пошел к Элисе. Маленький человечек, ее муж, корчился в кресле. Он мучился жуткими язвенными болями. Хеновева делала ему инъекцию.

По лестнице медленно спускалась Элиса. Пре-

красное видение! Ничего прекраснее не было на свете для Гало!

Элиса прошла мимо мужа, даже не взглянув на него, и скользнула к дивану, на котором сидел Гало, с нетерпением ожидая ее.

— Элиса, — начал было Гало, когда она уселась подле (она села очень близко, пожалуй, слишком близко!), — порвите с Хеновевой.

Элиса взяла его руки и без излишней застенчивости прижала их к своей груди. Теперь гало уже никак не мог не признаться ей в вечной любви.

— Но ведь вы человек больной, хотя, конечно, ничего серьезного у вас нет, — кокетливо сказала она. — Да к тому же я замужем.

— Неважно, я подожду пока он умрет, — страстно отвечал Гало, совсем позабыв о своих жизненных принципах.

Но тут раздался жалобный крик. Это кричал сеньор Лавин, ухватившись ручками за свой живот.

Элиса отодвинулась от Гало и вместе с Хеновевой потащила мужа в его комнату.

Потом случилось нечто, не поддающееся никаким объяснениям.

Едва Гало остался один, он поймал себя на том, что уже открывает ящик, в котором хранился

Элисин свадебный альбом. С невероятной поспешностью Гало переписал на листок бумаги адреса врачей, выдававших Элисе свидетельства о смерти мужей. Потом он снова уселся на диван и стал ждать ее возвращения, все же чувствуя себя мерзавцем.

Часы еще не пробили одиннадцать, а Гало уже не раз поцеловал эту женщину, и готов был разорвать листок с адресами, но какое-то неясное ощущение, что-то вроде инстинкта самосохранения помешало ему это сделать.

Когда дни стали золотиться мандариновой коркой, пришла осень, а вместе с нею пришла для Гало отпускная пора. Он решил потратить свой отпуск на исследование причин, вызвавших смерть Элисиных мужей.

Первый врач, которого он повидал, пользовал ее третьего мужа. Это был толстенький глупый человек — не всегда врачи бывают хитрецами! Гало представился в качестве адвоката покойного и ему не стоило большого труда заставить доктора рассказать все без утайки.

Врач сказал, что действительно знал Элису и ее мужа. Казалось, она была очень влюблена, хотя ко времени свадьбы муж Элисы скорее мог сойти за мертвеца, чем за живого. Познакомились они

в больнице, где Элису готовили к операции (ей должны были удалить аппендикс), но свадьбу сыграли столь скоропалительно, что оперироваться было некогда.

— Ну, а потом, доктор? — задал Гало дурацкий вопрос.

— Потом — не знаю. Она увезла его. Через неделю прислала за мной, но было слишком поздно, я только мог констатировать смерть.

Второй врач рассказал очень похожую историю. И все остальные рассказывали одно и то же. Выводы, которые сделал для себя Гало, представлялись ему странными и необъяснимыми. Первое заключение: со всеми своими будущими мужьями Элиса знакомилась в больницах. Это были люди, страдавшие тяжелыми, неизлечимыми недугами. Второе заключение: Элиса вступала в брак с молниеносной быстротой, а когда очередной муж умирал, она увозила тело в места весьма отдаленные от тех, где его настигла смерть.

Самым сложным, с чем столкнулся гало, пытаясь постичь поступки Элисы, оказалось выявить мотивы, по которым она вступала в эти браки (если, конечно, оставить в стороне внезапно вспыхивавшую любовную страсть). Все ее мужья были бедны как церковные крысы, наследства

они не оставляли, ни семьи ни родных у них не было и никто ими не интересовался ни до, ни после их смерти. Гало не знал, следует ли считать это доказательством виновности или напротив невиновности Элисы.

Через две недели Гало вернулся в наш городок, но Элисы там не было. Это так его расстроило, что процент сахара в крови у него угрожающе поднялся, и он вынужден был обратиться к врачу. Именно доктор и рассказал ему о последних событиях в доме Элисы. Ее муж умер, едва гало уехал. Тот же врач, что лечил гало, и выдал ей разрешение на вывоз тела и его захоронение в городе N.

— А что там было?

— Ничего особенного. Муж ее умер от язвенного кровотечения, он слишком много ел.

Врач не убедил Гало и, не теряя времени, он отправился в N.

Городок этот очень похож на наш. Как и любой другой городок в наших краях, он обременен церковью, парком, кирпичными стенами и черепичными крышами.

Гало приехал как раз в тот день, когда городок праздновал свое столетие. Муниципалитет и несколько магазинов с засиженными мухами

витринами были ярко разукрашены. Гало смутно припоминал, что похороны Элисиных мужей всегда совпадали с каким-нибудь народным гуляньем.

Гало был не очень умен, но такую приметную деталь упустить из виду не мог и понял, что между этими праздниками и похоронами существует какая-то чудовищная связь.

Пока Гало шел через город, в его голове вертелись эти подозрения, но едва он смешался с веселящейся толпой, как натолкнулся на Элису.

Мне не хочется описывать их встречу — на то есть свои причины: влюбленные всегда нагоняют на меня скуку.

Из цирка они пошли прямо в гостиницу, где и предались любви, и вскоре Гало позабыл свои страхи, решив что они необоснованны.

Синим январским утром Гало и Элиса поженились. Я был у них свидетелем. Гало сиял от счастья, а у Элисы я подметил такое выражение, какое бывает у владельца железных дорог, когда он заключит выгодную сделку.

Страх охватил Гало, едва он в первый раз застал у себя дома Хеновеву. Он попросил Элису избавить его от присутствия старухи, но Элиса, улыбнувшись, сказала:

— Ведь она мне помогает по дому! Не захочешь же ты, чтобы я все делала сама.

Спокойствие навсегда покинуло беднягу, он напряженно приглядывался к пище, которую ему подавали, боялся, что женщины отправят его на тот свет. Перелом произошел одновременно с первой диабетической комой, настигшей Гало.

Элиса с нежностью, заботливо ухаживала за ним. Кома наступила из-за резкого снижения процента сахара в крови — Гало злоупотреблял специальными таблетками. В тот день, когда Гало выписали из больницы, он с ужасом узнал, что в городок приехал цирк. В единственной газетке, выходившей в нашем городе, он попытался найти упоминание о каком-нибудь празднике, но нет — нет, на этой неделе не родилось и не умерло ни одного нашего святого, ни одного нашего героя.

Вечером, сидя за обеденным столом, он сказал жене, что приехал цирк.

— Тот самый цирк, который приезжал в N., где мы с тобой встретились в прошлом месяце, когда умер твой худосочный муженек.

— Ах, верно — засмеялась Эллиса, и в смехе ее зазвучало что-то неприятное, как в тот день, когда они гуляли у пруда и Элиса объявила, что ее муж очень скоро умрет.

«Она, кажется, и меня уже считает мертвецом», — подумал Гало. Но ему предстояло пережить еще один кошмар.

— Посмотри, дорогой, — сказала Элиса, протягивая над тарелкой с супом какой-то снимок, — это для свадебного альбома.

Фотография была сделана в день их бракосочетания и увековечивала выражение счастья на лице у Гало и удовлетворенности по поводу выгодной сделки — у Элисы.

От Гало не могло не ускользнуть и то обстоятельство, что на этой неделе Хеновева беспрестанно сновала взад-вперед: то в дом, то из дому, а по вечерам ходила в цирк. Наконец Гало умер. По городу пошел шепоток, словно протяжно шелестели листья фикусов в парке. Войти в дом к Элисе однако никто не отваживался.

Не без труда проникнув к ней и увидев, как, одетая во все черное, она медленно спускается с лестницы, я вынужден был вызвать в памяти образ моего бедного покойного друга, чтобы не поддаться очарованию его вдовы.

— Пока вы все спали, мы его схоронили, — сказала Элиса, усаживая меня на диван.

Я был бы рад согласиться с ее версией, но вместо того сообщил ей свою, ту, которую некогда

поведал мне Гало.

Элиса не сдержалась, глаза ее забегали и я, воспользовавшись этим, высказал ей свои подозрения. Когда, в конце моей речи, я попросил ее отправиться вместе со мной на кладбище, где Гало выроют, чтобы произвести вскрытие, она заплакала, как самая обыкновенная женщина.

В городке поднялась тревога: гроб оказался пуст.

С тем чувством превосходства, которое испытывают люди, совершившие преступление, Элиса призналась, что на нее была возложена трудная миссия: для львов из отцовского цирка она должна была добывать человеческое мясо, так как другого — по талонам — не хватало.

Перевод с испанского Н. Снетковой

Сильвио Родригес
Реальный мир

С той поры, как у меня появился разум, я знаю, что мир — это ирреальный спектакль, который ставится с единственной целью, чтобы я в него поверил. Передо мной всё время идут поспешные приготовления, чтобы те места, которые мне вздумается посетить, были к этому готовы. Когда я направляюсь к моей бабушке Исабель, а её дом находится в двухстах метрах от нашего, я чувствую, как эта суматоха катится по улице, и когда я подхожу к углу и огибаю его, моему взгляду предстаёт привычная панорама: Панчита пересчитывает картофелины, Гуакара отвязывает свою изможднную кобылу, Кука развешивает простыни за узкой щелью приоткрытой двери, а немного дальше (по-видимому, совсем случайно) какие-то люди таинственно выходят из домов или заходят в них, кто их знает зачем. То же самое происходит на любой улице в любом посёлке, в любом месте.

Только животные и горы не меняют своей внешности. Они таковы, каковы они есть. Глубо-

кая река полна рыбёшек, она зажата между двумя возвышенностями, которые змеятся на протяжении многих километров, украшенные прядями зелёных волос. Высокая причёска каждого берега — это гора, ну а я — любознательная букашка, которой не хочется идти по тропинкам, и вот она пробирается по лесной чаще, где вытянулся удав, где бегают толстобрюхие ящерицы. Я иду там, где птиц нельзя увидеть, но можно только услышать. Одна из них говорит «тирека-ратити», и другая — «кокориоко». Течение задевает ветки, на которых сидят осы-наездники. Когда мимо проплывает лодка, они набрасываются на неё; но когда мимо прохожу я, они смотрят на меня совершенно спокойно. Впрочем, иногда они сопровождают меня, летят рядом с моей головой и подают мне знаки приветствия. Я не люблю их тревожить, да и они меня тоже.

Затем я ухожу к водяному глазу, туда, где лежит широкий белый камень, на четверть погружённый в воду, я сажусь на него и соскальзываю к струе, бьющей с глубины. Поток очень силён: он уходит от берега, и кажется, что это плещется рыбья стая, но если встать на камень, рядом с бурунами, то станет видно, что это вибрируют прозрачные воды. В первый раз мне было страш-

но в него окунуться, ведь я только начал учиться плавать, поддерживаемый двумя людьми, но я ухватился за край камня и стал съезжать по нему в воду, пока не почувствовал, что меня поддерживает сила течения. Вот так умора, я и не знал, что умею плавать, здесь можно лежать на воде, будто река утратила в этом месте своё коварство. Я не знал, что у реки имелся глаз, и тем более, что он был такой формы.

Иногда, подобно кресту, глядящему в небо, я становлюсь зрачком этого водяного глаза, и тогда я вижу, как наверху, на самой наивысшей высоте, шелудивые ауры пролетают сквозь облака. Эти птицы ярко сияют издалека, но вблизи их уродливые головы внушают отвращение. Говорят, что они приносят пользу, поедая падаль, и всё же их никто не любит за уродство и зловещую славу. Однако никто и не летает лучше, чем эта мерзость, точно воздух создан специально для неё. Они всё время поднимаются и опускаются, и могут часами парить, не шевельнув крылом, словно танцуют в пустоте. Поэтому иногда хочется быть ауром, хотя бы люди тебя и отвергли.

Облака — это ещё одна история, хотя они тоже не приводят людей к согласию. Перикин видит корабль там, где Ченту видит кролика, и всё это

там, где Минго видит женщину, широко расставившую ноги. Я стараюсь увидеть то, о чём они говорят, а сам вижу морского рака на пиратском флаге. Облака относятся к самому удивительному. Загадка облаков состоит в том, откуда они приходят и куда уходят, что они видели и что попробовали на вкус. Почему эти воды, которые столько раз поднимались и опускались, всю свою жизнь должны оставаться теми же самыми? Облако, которое опорожнилось над рекой вблизи нашего посёлка, наверняка заправлялось над Амазонией, и готические соборы, которые солнце вытягивает из моего пупа, прольются дождём на египетские пирамиды. Я верю, что облака могут принимать всевозможные формы, потому что им нравится вести счёт новым диковинкам, однако сколько на них не смотри, никогда не узнаешь столько же, сколько знают они сами, и это даже невозможно себе представить.

На тот случай, когда мне приходится идти в школу (а это одна из самых ужасных вещей в обязательном мире) или когда наступает вечер и мне не разрешают выходить одному, у меня есть свой способ возвращаться в реальный мир. Мне даже не нужно закрывать глаза, я просто замираю и ухожу, навещая его в своих мыслях.

Иногда это оказывается более увлекательным, чем отправиться туда пешком, ведь тогда я мне хватает смелости сделать то, чего я смертельно боюсь. Например, переплыть излучину Пасо дель Солдадо. Это могут делать только взрослые; здесь река разливается на всю ширину, и говорят, что её глубины хватит, чтобы скрыть королевскую пальму. Я знаю, что однажды сделаю это во плоти, но пока что я тренируюсь в голове. Единственная проблема заключается в том, что когда я плыву брассом, на середине пути я могу увидеть речное ложе, на котором всегда лежат запутавшиеся в тине утопленники, и они улыбнутся и позовут меня. В другой раз я замечаю чешуйчатый хребет морской змеи, к которому чуть было не прикоснулся.

Сегодня мы уезжаем в Гавану, потому что мой отец нашёл там работу. Я спросил моего дядю Анхелито, а он разговаривает со мной больше других, какая она, Гавана? Думаю, что она мне не особенно понравится. Говорят, что она как наш посёлок, только в десять раз больше. Стало быть, я увижу десять Панчит, пересчитывающих картофель, десять Гуакар, и у каждого по худой кобыле, десять Кук, развешивающих выстиранное бельё, и весь прочий театр, тоже в десятикратном ко-

личестве. Обязательная жизнь будет в десять раз изощрённее, и в десять раз увеличится толпа, бегающая из стороны в сторону с шушуканьем: «поторапливайтесь, он уже идёт», когда я подхожу к углу и огибаю его, чтобы увидеть то, на что стало в десять раз утомительнее смотреть. Единственное, что меня привлекает, — это море, о котором мне рассказали. Говорят, что оно в десять раз больше реки, и что у него не видно противоположного берега. Не могу понять как, но если это правда, то реальный мир Гаваны должен как-то соотноситься с этим морем. Сколько в этом мире ос и рыб?.. И вот я спрашиваю себя, кто назовёт мне имена птиц, где находится дворик с гранатовым деревом, и можно ли увидеть в нём Мириту. Понятно, что я ничего этого не знаю. Я не могу даже вообразить, сколько известий принесут облака, каких размеров будет водяной глаз в такой огромной реке, и сколько утопленников и змей захотят нагнать на меня страх, когда я решусь нанести морю визит не в своей голове, а наяву.

Перевод с испанского А. Щетникова

Из австрийской поэзии

Георг Тракль
Плач

Сон да смерть в оперенье орлином
По ночам будоражат затылок.
Над златым человеческим ликом
Ледяною сомкнулась волной
Вечность, и на дикие рифы
Напоролась пурпурная плоть.
Вот и стонет жалобно голос
По-над морем.
О, сестрица тоски штормовой,
Посмотри, как под звездами тонет
Жалкий челн,
Как немотствует ночь.

Вороны

Кружат над черным перелеском,
На кронах голосят. Олень
Встревожен, внюхиваясь в тень

Их крыльев, поднят криком резким.

Они колеблют до основ
Округу, и скудеют нивы,
И ждут, нахмурясь прозорливо,
Беды от этих крикунов.

Их падаль сладкая зовет
На север, и взмывает стая.
И воздух связки надрывает
Под траурный их перелет.

Гродек

Смерть по ночам доспехами гремит
В осенней чаще, в поле золотом,
На голубых озерах, и мрачнеет солнце,
Закатываясь. Ночь омывает
Погибших воинов, их дикий вопль,
Извергнутый из рваных ртов.
Но там, на выпасе, растет
Красное облако, пристанище гневного бога —
Лунная свежесть пролитой крови.

Все дороги ведут к черному пеплу.

Под золотою сенью звезд

Тени сестриц в спящем лесу колеблются,

Приветствуя душу героя, его окровавленный лик.

В камышах им чуть слышно вторят

черные флейты осени.

О, гордячка-печаль! Твои алтари —

Полымя духа – сегодня питает великая скорбь

Нерожденных потомков.

Хоэнбург

В доме пусто. Бродит осень в комнатах;

Изливается луна сонатой.

На окраине хмурого леса проснешься.

Думам твоим конца нет: белоснежный лик человека —

Нипочем ему времени шум.

Зеленая ветка склонилась над грезами.

Вечер и Крест;
Пурпурные руки певца приласкали
Звезду,
Встающую в окне осиротелом.

Такая тьма, что содрогнется путник
И, поднимая веки, вдаль посмотрит
На человечью долю. Серебристый в коридоре
шепот ветра.

Топь

Попутный ветер черный. Шепчет тростник иссохший
В топях безгласных. По стылому небу
Дикие птицы проносятся
Над хлябью сумрачной.

Смятение. В гнилых лачугах
Бьет матовым крылом распад.
Калики-деревца на ветер плачутся.

В таверне сумрачно. Дорога к дому
Оправлена в молчанье стад печальных.

Ночь наступает. В серебристых водах
клокочут жабы.

Элису

Когда в трауре оглашает чащобу
дрозд,
Это, Элис, погибель твоя.
Пей прохладных источников горную
синь.

Пусть на твоем челе выступит кровь
Давних легенд,
Пусть оно изойдет смутой птичьих
полетов.

Легкая поступь уводит в пурпурную
Виноградину-тьму.
Много лучше наполнить ладони рас-
светом.

Поющий терновник
Твоим взглядом обласкан.
Давно же ты умер, Элис.

Твое тело взошло гиацинтом,

В котором вощеные пальцы свои омывает монах.

Мы превратились в немые пещеры.

Оттуда кроткие звери выходят

И отходят ко сну – тяжелеют их веки.

На висках твоих – черные росы,

Золотце ветхой звезды

Перевод с немецкого Г. Стариковского

Из французской поэзии

Сен-Жон Перс
Анабасис
Песня

Родился жеребенок под бронзовой листвой. Какой-то
человек насыпал нам в пригоршни горьких ягод.
Чужестранец. Прохожий. И вот уже шумят чужие
провинции по прихоти моей. «Привет тебе, о дочь моя,
под самым высоким из деревьев года».

* * *

Затем, что Солнце вошло в созвездье Льва и Чужестранец вложил
свой перст в уста умерших. Чужестранец. Смеющийся. Он говорил
нам об одной траве. Ах, сколько дуновений в провинциях! И как
непринужденны наши пути! сколь мне труба любезна и в плеске
крыльев ученое перо!.. «Душа моя, большая

девочка, да у тебя со
всем чужие повадки».

* * *

Родился жеребенок под бронзовой листвой. И человек насыпал
нам в пригоршни горьких ягод. Чужестранец. Прохожий. И вон
как бронзовое дерево шумит! Розы и горная смола, дар песенный!
Раскаты грома и флейты по комнатам. Ах, как непринужденны
наши пути, и сколько же у года историй, а у Чужестранца
свои повадки на всех дорогах по свету.

«Привет тебе, о дочь моя, в прекраснейшем
из платьев года…»

Анабасис
1

На трех пространных сезонах воцаряясь средь почестей, провижу
я край, в котором свой закон поставлю.
Оружие и море поутру красивы. Стелется под

нашими конями
земля без миндаля —
она не застит нам небес нетленных. А солнце вовсе не названо,
и все же могущество его средь нас;
и море поутру подобно высокомерью духа.

Могущество, ты пело над нашими ночными дорогами!..
На чистых идах утра, что знали мы про сон, о первородство?
Еще год целый среди вас! Хозяин зерну, хозяин соли, дела
мирские — на праведных весах.
Я не окликну, нет, людей с другого берега. Нет, я не начертаю
больших кварталов городских на склонах осколком сахарным
коралла. Но жить намерен среди вас.

* * *

...Так, навещал я город ваших сновидений и прекращал среди
пустынных рынков я мену чистую своей души, меж вами
незримой и трепещущей, подобно огню тернов-

ника, открытому
ветрам.

Могущество, ты пело на наших лучезарных дорогах!
К усладе соли все копья разума… Живою солью я спрысну
мертвые уста желанья!
Но тем, кто, славя жажду, не пил воды песков из шлема, не много
ж я доверю в этой мене души… (А солнце вовсе не названо, и все
же могущество его средь нас.)

Люди — люди из праха и разные, торговцы и люди праздные,
с окраин и дальние, о люди, так мало значащие в памяти сих
мест; люди долин и плоскогорий, и самых высоких в мире
склонов у обрывов наших берегов; провидцы знаков, гадатели на
зернах и духовидцы западного ветра! идущие по следу,
а то снимающие лагерь на тихом предрассветном ветру,
иль лозоходцы, которым ведомо, где выкопать

колодец
в земной коре, о вы, искатели, находчики предлогов
пускаться в путь, не вы торгуете крепчайшей солью поутру,
в ту пору, когда над знаменьями царств и мертвых вод,
стоящими высоко в небе над дымами миров, внезапно
барабаны изгнания разбудят на границах вечность,
зевающую средь песков.

* * *

В чистых одеждах среди вас. Еще год целый среди вас. «Моя слава
над морями, моя сила среди вас».
Обещан нашим судьбам этот ветер с другого берега, несущий
мимо семена времен, осколок века на коромысле весов…
Расчеты, нависшие над соляными глыбами! на чутком кусочке
лба, где зиждется поэма, пишу я песню этого народа пьянейшего,
на наши верфи бессмертные таскающего кили!

2

По странам полоненным, там самая большая тишина, по странам,
полоненным саранчой полуденной.
Иду я, мы идем страной высоких склонов под мелиссой, там, где
разостлали сушить белье Владык.
Вот мы минуем платье Королевы, все в кружевах и в лентах цвета
сизого (как женщин терпкие тела умеют запятнать подмышки
платьев!).
Вот мы проходим платье дочери Ея, все в кружевах и в лентах
цвета ясного (как ящерицы язычок умеет слизнуть всех муравьев
с подмышки платья!).
Да здесь, наверно, не проходит дня, чтобы хоть одного мужчину
не сожгли за женщину и дочь.
Ученый смех мертвецов! Пускай и нам очистят таких плодов! Иль
нету больше в мире милосердья под дикой розою?

И вот, по эту сторону земли большая лиловая беда идет по водам.

И ветер задувает. Ветер с моря. И улетает

белье! Как проповедник, растерзанный в клочки!..

3

Человек выходит на поле ржи. Не знаю, кто из сильных говорил

над кровлею моей. Но Короли пришли и сели у моих дверей.

И вот Посланник ест за столом у Королей. (Пускай накормят их

моим зерном!). Поверщик мер и весов спускается к низовьям

набухших рек, весь в шелухе соломы, в сору

от насекомых в бороде.

Так вот что! Мы удивляемся тебе, о Солнце! Ты нам наговорило

столько лжи!.. Зачинщик смут и мятежей, вскормленное обидой и

раздором! О Пращник, порази миндаль моего глаза! Мое сердце

трепещет от радости пред белокаменным вели-

колепьем, птица
поет: «О старость!», реки на ложах русел словно крики женщин,
а этот мир — прекраснее, чем шкура
барашка, крашенная в красный цвет!
Ха! Пространней история листвы на наших стенах и чище вода,
чем в сновиденьи — благословенна, благословенная за то лишь
будь, что ты не сон! Душа моя полна до краю лжи, проворная и
сильная, как море под даром красноречия! Могущественный
запах меня объемлет. И возникают сомнения в реальности вещей.
Но если человек находит приятной скорбь свою, пусть выведут
его на белый свет! И мое мненье таково, что надо б его убить,
иначе быть здесь мятежу!

Я прямо скажу: мы вдохновляем тебя, о Ритор, своим несметным
барышом. Моря, коварные в Проливах, вовек на знали строже
судии! И человек, разгоряченный вином, несущий свое

насупленное сердце, как соты, гудящие под роем черных
мух, дерзает говорить такие речи: «…Розы, пурпурная услада:
земля простертая перед моим желаньем, и кто положит ему
предел сегодня в ночь?
Насилье в сердце мудреца, и кто ему положит предел сегодня в
ночь?» И вот такой-то, сын такого-то, бедняк, приходит к власти
над знаками и снами.

Проложите дороги, которыми пошли бы люди всех рас, мелькая
желтизной ступней: принцы, министры, вожди хриплоголосые;
те, что свершили великие дела, и те, что видят сны о том, о сем…
Священник наложил запрет на благосклонность женщин
к животным. Грамматик выбирает место для беседы посредь двора.
Портной на старом дереве повесил новый, очень красивый
бархатный кафтан. И пораженный гонореей стирает свое белье

в чистой воде. Седло страдальца жгут, и запах дыма достигает
скамьи гребца,
и он не тошен ему.

Человек выходит на поле ржи. Могущественный запах
меня объемлет. И воды чище, чем в Джабале, доносят
шум иных времен. И в этот самый долгий день в ускользающем
году, восславив землю под покровом трав, не знаю я, кто
сильный шел по моим следам. И мертвые под слоем песка,
моча и соль земли, все, что осталось — мякина, чье зерно
склевали птицы. И вот душа, душа моя стоит на страже в
великом шуме перед входом в смерть. Однако, скажите
Князю, чтобы он молчал — на острии копья меж нами этот
череп коня!

4

Таков ход мирозданья, мне нечего сказать о нем
дурного. — Закладка города. Камень и бронза. Огни
терновника перед рассветом там оголили валуны,
зеленые и скользкие, как чрева капищ или сточных канав,
и мореплаватель, застигнутый дымами, вдруг увидал, что вся
земля, от основанья и до вершин, переменила лик (расчищены
огромные просторы, запруды родниковой воды в горах, и видно
далеко).

Так город был заложен и завершен однажды поутру под звуки
губные чистого названья. И по холмам снимают лагеря! И, сидя
на деревянных галереях, простоволосые, босые в свежести миров,
чему смеемся мы, чему же мы так смеемся, со

своих престолов
глядя, как с кораблей выводят девушек и мулов? — Привоз
муки! — И выше Илиона корабли, под белым павлином в небе,
зайдя за бар, вставали в той мертвой точке, где мертвый
плавает осел. (И речь о том, к чему приговорить ту реку
бледную без назначенья, цвета саранчи раздавленной в своем соку.)

В великом свежем шуме с другого берега, там кузнецы
властители огней. Удары бичей на новых улицах опорожняют
возы с нераспакованной бедой. О мулы, потемки наши под
медной саблею! четыре головы, строптивых узлу, зажатому
в кулак, напоминают живое соцветие на фоне лазури. И
Устроители ночлегов остановились под деревом, и
мысли им приходят на ум о выборе площадок. Они мне
разъясняют суть и назначенье зданий: парад-

ный
вход и задний двор, для галереи латерит, а для порогов черный
камень, бассейны светлой тени для библиотек, а самые
прохладные строенья — под изделья фармацевтов. И вот уже
идут ростовщики, свистя в свои ключи. А позже на улицах, один,
пел человек — из тех, что чертят на лбу знак бога своего.
(И стрекотанье насекомых на века в этом квартале свалок…)
И здесь совсем не к месту рассказывать вам о наших связях с
людьми с другого берега; вода в мехах, употребленье
кочевников в работы в порту, царевичи, которым плачено
монетой рыб. (Дитя печальней смерти обезьян, старшая
сестра первой красавицы, нам преподносит перепелку в
розовой атласной туфле.)

…Одиночество! Голубое яйцо, снесенное огромной птицей

морской, а поутру в заливах груды золотых лимонов! —

Все это было вчера. И птицы уж нет!

Наутро торжества и говор толп, по улицам насажены деревья

в стручках, дорожная прислуга сгребает на рассвете обломки

мертвых пальмовых ветвей, лохмотья гигантских крыльев…

Наутро торжества, избрание портового начальства, пенье

на городских окраинах, и весь распарен теплой грозой, такой

весь желтый, город в шлеме теневом и шаровары девушек в

проемах окон.

* * *

На третий лунный месяц все сторожившие на гребнях холмов

скатали свои холсты. Труп женщины сожгли среди песков. И

некто направился ко входу в Пустыню (занятие его отца — торговец

фиалами).

5

Моей душе, замешанной в далеких событиях, все сто огней
селений, оглашенных лаем собак…
Одиночество! Диковинные наши соратники расхваливали перед
нами наши обычаи, но под иными стенами уже стояли наши
помыслы:
«Я никому не говорил, чтоб ждали… Я всех вас ненавижу с
нежностью… И что сказать об этой песне, которую вы переняли
от нас?..»

Князь народа изображений, уводящих к Мертвому морю, где нам
найти воды ночной, чтоб очи омыть?
Одиночество!..Ватаги звезд скользят по краю света, сманивая
с кухонь домашнюю звезду.
И Короли Конфедераты неба ведут войну на кровле у меня и
ставят там, хозяева высот, свои биваки.

Пускай один пойду я под веяньем ночей, среди былинных
Принцев, средь падений Биэлид…
Душа, приникшая в молчаньи к бальзаму умерших… Наши веки
прошиты иглами! благословенно ожиданье под ресницами у нас!
Ночь источает молоко, но бойтесь ее! медовым пальцем пускай
помажут губы скитальца:
«Плод женщины, о Сабинянка!» И выдавая душу
наинесдержанную, поднятый над тленом ночей,
я мысленно восстану против яви сна; я полечу за дикими гусями
в утробном запахе утра!..
Ах! когда звезда пускалась в путь ночной кварталами служанок,
мы разве знали тогда, что столько новых копий
уже пустыней двигалось вдогонку за кремнекислой солью Лета?
«Аврора, ты поведала…» И омовенья на побережьях
Мертвых Морей!

Все те, что спали нагими в беспредельной поре, встают толпою на

земле — встают толпою с криком, что этот мир нечист!

Старик моргает в желтом свету; женщина потягивается на его

ногте;

и клейкий жеребенок кладет свой мохнатый подбородок на

ладонь ребенка, который еще не грезит ему выковырять глаз.

«Одиночество! Я никому не говорил, чтоб ждали… И я уйду, как

только захочу…» — и Чужестранец, весь облаченный

в новые замыслы свои, встречает новых единомышленников на

путях молчанья; глаза его полны подобьем слюны,

а больше нет в нем субстанции людской. Земля в своих крылатых

семенах, словно поэт в своих догадках, странствует…

6

Всесильные в своих обширных военных провинциях, средь
дочерей своих благоуханных, одетых в дуновенье, эту ткань,
мы на высотах поставили ловушки счастью…
Довольство и изобилие, о счастье! И столь же долго бокалы наши,
в которых льдинки пели как Мемнон…
И, рассыпая по углам террас клубки из молний, большие блюда
золотые в руках у девушек-служанок под корень подрезали тоску
песков на этом краю земли.
Потом приходит год ветров на Западе, и что там над кровлями у
нас, придавленными черными камнями, за пересуды удивленных
тканей, упоению простором предавшихся?
И всадники у кромки берегов, под сенью лучезарных
орлов, прикармливали с острых копий погибель чистую для
ясной поры и разносили по морям пылающую

летопись.

Бесспорно! для людей история, и песня силы для людей,

как содрогание простора в железном дереве!.. законы,

данные для чуждых берегов, и через женщин союзы с

племенами раздробленными; большие страны, идущие с

торгов под солнечными вспышками; смиренные

предгорья и долины, провинциям назначенные цены под

величавым ароматом роз…

Кто отродясь не нюхал этих углей раскаленных, что им за дело

среди нас? да можно ль им иметь дела с живыми? «То ваше дело,

но не мое царить над пустотой…» Мы ж, бывшие там, учиняли на

границах необычайные набеги, и в бранях превосходя пределы

сил своих, испытывали радость среди вас великую:

Я знаю этот народ, селящийся по склонам: кочевник, спешенный

возделывать поля. Идите, скажите им: погибели ужасной он с
нами избежит! деянья бранные без счета и без
меры, распространение могучей воли, людская власть,
вкушенная, как гроздь с лозы… Идите, скажите ж: наши
нравы жестокие, и наши кони, послушные и быстрые
на семя мятежа, и наши шлемы, учуянные
гневом дня… По странам, приведенным в упадок, и чьи обычаи
ждут обновленья, вдруг столько объявится семейств, как в
клетках птиц-свистуний; вы нас увидите на деле,
объединителей народов под длинными навесами, чтецов
во всеуслышание булл,
и под законом нашим — дванадесять народов, говорящих на
разных языках…
И вы уж знаете их слабости: их бедные вожди среди бессмертных
дорог, старейшины, пришедшие толпою воздать нам почести,

и все мужское населенье года с своими божествами на шестах,

их ослабевшие князья на северных песках, их дочери, платящие

нам дань, нам расточающие заверенья в верности, и Повелитель,

говорящий: — Верю в свою судьбу.

Или же вы им скажете о мире: по странам, пристращенным

к излишествам, то запах форума и зрелых женщин, желтых звонких

монет, идущих по рукам под пальмами, народы в дурмане

терпких пряностей — военных расходов, крупные торги у слияний

рек, почтение могучего соседа, сидящего под сенью дочерей,

обмен посланьями на золотых пластинках, договоры о дружбе

и сохранности границ, и от народа к народу — соглашенья о

постройке речных плотин, и дани, взимаемые в воодушевленных

странах! (Сооруженье водоемов, гумен, конюшен, настилы ярко-

синей плитки, дороги розового кирпича — и

полосканье тканей
на приволье, за зеркалами сновидений — море,
съедающее ржавчиной мечи, и сумерках вечерних
когда-нибудь — сошествие
к провинциям приморским, к своим краям великого раздолья
и к дочерям своим благоуханным, что нас утихомирят одним
лишь дуновеньем, о эта ткань…
— Вот так и двери наши иногда под натиском судьбы
необычайной; и, следом за торопливыми шагами дня, по эту
сторону земли пространной, где каждый вечер власть
уходит в изгнание, какое лавров вдовство!
Но вечерами запах глины и фиалок от ручек дочек наших жен до
нас доходит сквозь раздумья о созидании и о судьбе,
и ветры тихие в пустынных заливах принимают гостей.

7

Не век нам жить на этих желтых землях, отраде нашей…

Лето обширнее Империи вывешивает на скрижалях

пространства многоэтажие погод. Земля пространная от края

и до края ворошит свой бледный жар под слоем пепла. —

Цвета серы и меда,

цвета всех вещей бессмертных, земля вся в травах, вспыхнувших

в соломе прошлогодней, — и из зеленой губки одного лишь

дерева вытягивает небо свой фиалковый настой.

Россыпи камней со слюдой! Ни чистого зерна в порывах ветра!

И словно масло свет. Сквозь щелки век соединясь с грядой

вершин, я знаю камень, источенный отверстиями, рои безмолвия

у световых летков, и сердце в беспокойстве о семействе акрид…

Верблюдицы, под стрижкой кроткие, в лиловых рубцах, пусть

удаляются холмы под низвержением кормов с небес аграрных —

пусть они шествуют в молчаньи по раскаленной добела равнине;

и наконец колени преклонят в той дымке сновидений,

где растворяются народы в мертвой земной пыли.

И там большие линии спокойные уходят вдаль сквозь

синь необозримых виноградников.

Земля растит неспешно фиалки гроз, и эта дымка песков,

встающая на месте мертвых рек, словно завеса веков в пути…

Голосом тише для умерших, голосом тише среди дня.

Такая нежность в сердце человека, что можно ли ей меру

себе найти?..

«Я говорю с тобой, моя душа! — моя душа во мраке

аромата коня!» И несколько больших наземных птиц,

летящих к западу, так дивно схожи с нашими морскими птицами.

К востоку неба, такого бледного, как свято место под покровом

слепца, бестрепетные тучи собрались, клубится рак из камфары

и рога… Дымы, которые у нас выхватывает ветер! Земля вся

ожиданье в шлейфах насекомых, земля плодит чудесное!..

И в полдень, когда иудино деревце протиснется сквозь кладку

надгробий, человек смежает веки и остужает свой затылок во

временах… Конницы сновидений на месте мертвой пыли, вас

ветер ворошит у наших ног! Где отыскать, где отыскать нам

витязей, чтоб стали стражей у слияний рек?

Под шум великих вод, идущих на землю, содрогается вся соль

земная сквозь сон. И вдруг! ах, вдруг — чего угодно этим голосам

от нас? Скликайте народ зеркал на оссуарий рек, пускай взывает

к течению веков! И соберите камней во славу

мне, и соберите
камней среди безмолвия, и стражей этим краям все конницы
зеленой бронзы вдоль широких шоссе.

(Тень крупной птицы проплывает по лицу.)

8

Законы о продаже кобылиц. Законы бродячие. Как сами мы.
(Цвет человека.)
Нам спутниками эти ураганы высокие, клепсидры, по земле
бегущие, и эти торжествующие ливни чудесного состава,
из насекомых и пыли, неотвязные от наших людей в песках,
как подушная подать.
(В такт нашим сердцам там было столько изведано утрат!..)

* * *

Не то чтобы бесплодным был поход: под шаг беспарных наших
животных (чистокровных коней с глазами пер-

венцев) там было
столько всего замышлено в потемках душ — столько всего в часы
досуга, у предела рассудка — великих историй селевкидских под
свист пращей —
и толкованьям преданная земля.
Иное: эти тени — вероломство небес по отношению к земле.
Но, всадники, среди таких людских семей, где ненависти
пели зачастую синицами, поднимем ли мы бич над
холощеными словами счастья?
— Человече, измерь свой вес, исчисленный в зерне. Ведь не моя
же это страна. Что дал мне мир, кроме волненья трав?

* * *

До места под названьем «Сухое дерево»:
и алчущая молния мне назначает эти провинции на Западе.
Но дальше — еще большее приволье, в той великой
стране лугов беспамятных, и этот год без дружб

и годовщин,
приправленный огнями и зорями. (На утреннее
жертвоприношенье — сердце от черного ягненка.)

* * *

Пути земные! Кто-то один идет по вам. Главенство над всеми
знаками земли.
О путник на желтом ветру, о вкус души!.. Так, говоришь ты, семя
индийского луносемянника имеет — пусть истолкут его! —
дурманящие свойства…

* * *

Великий принцип насилия повелевал у нас.

9

Все это время долгого пути на запад, что знали мы
о бренном?.. Но под ногами внезапно — первые дымы.

Молодые женщины! И вся природа этой страны благоухает ими.

* * *

…Я возвещаю вам дни великой жары: вдов, вопиющих о
мертвецах, рассеянных тобой.
Те, что стареют в обычае и тщаньи тишины, сидят на
возвышеньях, созерцая пески.
И ликованья дня на открытых рейдах; но наслажденье зреет
в женском чреве — у нас, у женщин, в теле словно дрожжи на
черном винограде, и они в нас бродят.

…Я возвещаю тебе великие дары судьбы, и в
сновиденьях благоденство листвы,
Те, кто знают источники, те с нами в этом изгнании; они, кто
знают источники, нам скажут ли под вечер,
под чьими руками, что сдавят виноград наших боков,
тела наши наполнятся слюною? (И женщина легла с мужчиной в
траве, она встает и расправляет линии тела

своего, и саранча
вспорхнула на синих крылышках.)
…Я возвещаю вам дни великой жары, и точно так же, под собачий
лай, ночь цедит наслаждение из чрева женщины,
Но Чужестранец живет под сводом шатра; он удостоен молочных
яств, плодов. Ему приносят студеной воды,
чтобы омыл он губы, лицо и пах.
Ему приводят на ночь высоких бесплодных женщин (о, более
ночных средь бела дня!) И, может быть, еще и я
доставлю наслаждение ему.
(Не ведаю, каков он в обращеньи с женщиной.)

…Я возвещаю тебе великие дары судьбы, и в
сновиденьи благоденство источников.
Ты на свету открой мне рот, и если только найдут во мне изъян,
пускай изгонят меня! но если нет,
тогда пускай я тоже войду в шатер, пусть я войду нагая туда,
к кувшину, в шатер,
и, спутницу свою в углу гробницы, меня ты долго будешь видеть

бессловесной под деревом дочерним жил своих… И ложе
неустанных просьб под сводом шатра, зеленая звезда в кувшине,
и я да буду под властию твоей! чтоб ни одной служанки под
шатром, один кувшин студеной воды! (Я так умею уйти
перед рассветом, не разбудив зеленой звезды в кувшине и на пороге
сверчка, и лая собак на всей земле.)

Я возвещаю тебе дни великих даров судьбы, и
благоденство вечернее на веках наших бренных…

но еще ясен день!

* * *

Возьми большую шляпу с загнутыми полями. Глаз отплывает на
столетие назад, в провинции души. Из белокаменных ворот
видны дела, творящиеся на равнине: дела живые,
о дела прекрасные!

Закланье жеребят на детских погребениях, и в розах очищенье
вдов, и множество зеленых птиц по всем дворам на радость
старцам; и столько еще вещей осталось увидеть и услышать
на земле, вещей живых средь нас!
Вот празднованье под открытым небом годовщин больших
деревьев, мирские торжества во славу водостока;
поклоненье черным и совершенно круглым камням,
открытие источников на мертвой земле; освященье тканей,
воздетых на шестах, у входа
в ущелье; неистовые восклицанья под стенами, уродуют ли
взрослых на солнечном свету иль обнародуют там брачные покровы!
и столько еще всего на высоте виска: холенье
скребницами животных в слободах, стремленье толп
навстречу стригальщикам,
умельцам чистить колодцы, легчить коней; и размышления за

веяньем хлебов, и ворошенье вилами на крыше накошенной

травы, сооруженье стен из розоватой обожженной глины, террас —

сушилен мяса, галерей для священников, наместничеств;

широкие дворы ветеринара, повинности по поддержанью в порядке

торных дорог и троп извилистых в горах;

открытие странноприимных домов на пустырях, веденье

записей прибывших караванов и роспуск конвоев по

кварталам менял; народное признанье,

рожденное под тенью навесов, вокруг чанов с жарким; врученье

грамот и истребление животных-альбиносов и белых земляных

червей; огонь терновника и ежевики на осквернённой смертью

земле, печенье пышных лепешек из кунжута и ржи, или из

полбы; и дымы повсюду от людей…

ах, люди самые разные в своих путях и обычаях: и насекомых

едоки, и водяных плодов; носитель позлащен-

ных кож
и драгоценностей, и земледелец, и юный
властелин, иглоукалыватель и солевар; кузнец и мытарь;
торговец сластями, корицей, кубками
из белого металла и роговыми светильниками; тот, кто
изготовляет из кож одежду, из дерева — сандалии и пуговицы в виде
маслин; кто пашет землю; и человек без всякого занятья: человек
при соколе иль флейте, человек при пчелах; кто
удовольствие находит в звучаньи своего голоса, и тот, кто
видит свое предназначенье в созерцаньи зеленых камней; кто
тешит себя, сжигая на кровле своей древесную кору;
кто из душистых листьев на земле
устраивает ложе и отдохнуть ложится на него; и кто узор
замыслил из зеленой керамики, которой он обложит дно родника;
и тот,
кто путешествовал и грезит снова пуститься в

путь; кто побывал
в краю великих дождей, кто забавляется игрою в зернь и в бабки,
и в фокусы; кто на земле разложит свои таблицы с расчетами и кто
имеет соображения о примененьи тыкв-горлянок; кто тащит
мертвого орла, словно вязанку хвороста (а перья будут подарены,
отнюдь не проданы, на оперенье стрел); кто собирает в
деревянный сосуд пыльцу (а мне, он говорит, приятен сей
желтый цвет);
кто ест лепешки, пальмовых червей, малину; кому на вкус мила
дракон-трава; кто грезит о ямайском перце; кто жует окаменелую
камедь; и кто подносит раковину к уху, кто ждет, когда
повеет дыханьем гения от свежего излома камня; кто думает
о женском теле,
человек сластолюбивый; кто видит душу свою в отсвете клинка;
тот, кто всецело погружен в науки, в онома-

стику;

к кому прислушивается совет, и кто приносит в дар общине

скамьи в тени деревьев и крашеные ткани мудрецам, и

по чьему веленью вмуровывают в скалы у распутий

большие бронзовые чаши для жаждущих;

а еще лучше тот, кто ничего не делает, такой вот человек или иной,

с своими уменьями, и сколько еще других! Кто собирает по кочкам

перепелок на лугах; кто ищет по кустарникам яиц в

зеленых крапинках, кто спешивается с коня, чтоб

подобрать безделицу — агат иль камень бледно-голубой,

который точат в предместьях (изготовляя ларчики и

табакерки, аграфы и шарики для паралитиков — катать в руках);

кто свищет, во дворе расписывая сундучки;

человек с жезлом слоновой кости, человек в плетеном

кресле, отшельник с девическими ручками и

старый воин,
вонзивший у дверей свое копье, чтоб привязать там
обезьянку… люди всевозможных путей, обычаев —
и вдруг возникший в своих вечерних одеяниях и с ходу
решающий чужие затрудненья по старшинству Сказитель,
что садится у подножья фисташкового дерева…
О родослов на площади! так сколько же историй
родов, происхождений? — пусть все мое именье перейдет
сейчас к наследнику, когда я не увидел всего в его тени,
в заслугах лет: хранилищ книг
и летописей, кладовых астронома, прекрасных местностей, где
древние могилы, старинных храмов под пальмами, где обитают
три белых курицы и мул, — и там, за окоемом,
столько таинственных событий в пути: снятие лагеря с
приходом новых известий,
мне неведомых; бесчинства, творимые наро-

дом по холмам,
и переходы через реки по бурдюкам; и всадники,
летящие с посланьем к союзникам; засады в виноградниках
и нападения грабителей
в ущельях, ловитвы женщин по полям, торги и
заговоры, совокупление животных в рощах на глазах
у детей, выздоровление пророков в бычьих хлевах,
безмолвные беседы двоих под деревом…
но по-над деяньями людскими на земле бесчисленные знаки
в пути, и семена без счета в пути, под пресным хлебом
безоблачных времен, и под великим ветром земным
весь пух хлебов!..
до той поры вечерней, когда звезда, созданье чистое и женское,
залогом в небесной вышине…

Пахотные земли сновидений! Кто говорит о том, чтоб созидать?
Я видел землю, поделенную на большие пространства, и мысль

моя отнюдь не смутное мечтанье морехода.

* * *

Остановив коня под деревом — оно все в горлинках — свищу
я песню такую чистую, почище обещаний, что сдержат реки этим
берегам. (Листва живая поутру подобьем славы…)

* * *

И не то чтоб не был печален человек, но просыпаясь до света дня
и с осторожностью ведя общенье со старым деревом, и
подбородком упершись в последнюю звезду, он видит
в глубинах неба
натощак нечто большое и чистое, клонящееся к наслажденью…

* * *

Остановив коня под деревом воркующим, свищу я

песню чистейшую… Мир всем, которые умрут и не увидят этого

дня. Но вот от брата моего, поэта, пришли известия. Он сочинил

еще одну вещь очень нежную. И некоторые с ней уже знакомы…

Перевод с французского Г. Погожевой

Из ирландской поэзии

Шеймус Хини
Оденеск

Памяти Иосифа Бродского

Помнишь, Йозеф, под какой
ритм метрической стопой
Оден шел затакт и в такт,
провожая Йейтса так.

Оттого-то в этот день,
где мелькнула Йейтса тень,
(дважды смерть о той поре —
двадцать восемь, в январе)

в тот же путь иду опять
в стопах горе измерять.
Шаг, катрен, за шагом шаг,
как и следует в стихах.

Так – хорей, хорей, удар —
метры меряет беда.
Повторение – закон,
вызубрен со школы он.

Также в мире и в поэте —
повторенье хлада смерти.
Леденеет летный путь
в Дублине, и стынет грудь.

У Горация нет од,
чтоб разрушить этот лед.
Ни топор и ни катрен
не разрубят этот плен.

Лед с архангельскими бликами
месяца двуликого.
Лед, как в Дантовом аду,
сердце вымерзло во льду.

Водку с перцем ты привез
в Массачусетс в злой мороз.
Сердце мне согрел и дух
перед общим чтеньем вслух.

Водка с перцем или без,
виски, аквавит, шартрез
не вернут крови щекам,
цвета шуткам и стихам.

Каламбур на грани фола —

шутки с сектой, секс-и-колой.
Вопреки всему всерьез
пил, курил, как паровоз.

Паровоз идет на Запад
по Финляндии. Азартно
хлещем рифмой – сто на сто,
словно картою – о стол.

Лясы точим. По жаре
направляясь в Темпере.
(Словно Ленин, в свой черед,
только – задом наперед.)

Не вернуть тех дней, увы,
запрокинутой главы —
точно с крыши разум съехал
вспышкой разума и смеха.

Каламбуров не вернуть,
как и спешки в стихо-путь.
Стансов странствием гоним,
ты к вершинам шел по ним.

Носом вверх, стопою в пол,
ты английский так завел,

как авто угнал бы ас
(с русским баком про запас).

Обожаемый язык
к смертной пыли не привык:
как ни верил ты словам,
тленный плен тебя сковал.

Земляные пироги
на пиру у мертвых – гимн
Гильгамешу – и завет
Одена: вкуси, поэт.

Электрический свет

Воск свечи застывал с разводами сажи от фитиля…
Сбитый ноготь большого пальца
с поверхностью выщербленного жемчуга

был в древних кварцевых морщинах.
Я впервые увидел электрический свет
в доме, где она сидела в шлепанцах на меху,

год-вздох, год-выдох, на том же стуле,

шептала голосом, громче которого был лишь шепот.

В ту ночь мы оба отчаялись, когда меня

оставили там, и я плакал и плакал

под одеждой, под напрасно горящей лампой

в спальне всю ночь. «Боже, ну что,

что болит у тебя, дитя?» Срочные

давние дальние боли, страшнее

пещерных вод. Ее беспомощность не помогла.

.....

Возвращенье хрипа, дуновенье шепелявых согласных.

Всплески между судном и доком, куда,

animula, я со временем возвращаюсь живым,

с поворотом и плеском парома вниз по озеру Белфаст

к до краев застекленному транспорту

поездов,

к самой сути «Вот-ты-где-где-ты?»

поэзии. Спины домов подобны ее спине.

Скотобойни и прессы во дворах, выходящих

к полустанкам морской Британии,

золотые поля пшеницы.

Я приехал в Саутворк, выйдя из пасти туннеля

на солнечный свет, где дышала Темза.

Если встать на стул с выгнутой спинкой, я мог дотянуться

до выключателя, мне разрешали, за мной наблюдали.

Касанием крошечной кнопки включить волшебство.

Повернуть их ручку без проводов, чтоб зажегся свет

на шкале. Мне разрешали, за мной наблюдали,

как я вольные волны ловил на всех станциях мира.

А потом все ушло. Завершились новости
И Биг Бен. Отключили радиосеть,
за выключением – тишина, кроме
тиканья спиц для вязанья и ветра
в дымоходе. Она сидела в шлепанцах на меху,
над нами сиял электрический свет, я боялся
грязного кремнеобразного излома ее ногтя.
Жесткий, блестящий, он, наверно, все еще там
среди бусин и позвонков в земле Лондондерри.

Из сумки
I

Из сумки Дока Керлина мы все.
Он приезжал с ней, исчезал в дверях
и появлялся снова, чтоб помыть
носатые пузатые свои

в тазу ладони. Открывалась нам
(цвет ушка спаниэля изнутри)

изнанкою зияющего рта
пустая сумка. Доктор, как факир,
разматывал нас, прятал инструмент,

перевязав и обернув его,
как фартуком, назад, в ее нутро;
затем он с пухлой сумкою в руках

в дверь уплывал ковчегом, спрятав киль…
До следующего раза, и опять
входил, укутан в мех воротника,

ссутулившись. Стерильный запах спирта,
голландский блеск сатиновой подкладки
его жилета, блики на пинцете.

И было важно приготовить воду —
Не кипяток, и не едва живую,
но дождевую, для него специально:

«Спасибо вам» – «Ну что вы, вам спа-

сибо»,
он быстро, жестко руки вытирал
и подставлял их резко под пальто

верблюжье с мягким шелком изнутри.
Однажды взгляд гиперборейских глаз
на мне остановился, точно две

замочных скважины, куда я всякий раз
смотрел, когда он был у нас. Фарфор,
лед с молоком и зябкой белизны

блестящий кафель, сталь крючков и хром
стерильных инструментов, на полу
в опилках – кровь густеющая. Вверх

смотреть – и вот уже младенца части
являются на свет: вот ножки, ручки,
лодыжки, локти, пальчики и пенис,

как розовый бутончик в бутоньерке.

II

Poeta doctus Петр Леви сказал:

святилища Асклепия (они же
асклепионы) были как больницы

в Элладе. Или Лурдские часовни,
как говорит poeta doctus Грейвс.
Я говорю, поэзией леченье.

Так в Эпидавре я внезапно понял,
что место это – тот же санаторий
с гимназиумом, ванными, театром,

площадка инкубации техничной
и ритуальной, означавшей сон,
когда случалось вам богоявленье…

Бесшляпый, шаткий, собственною тенью
я с жертвенником шел по площадям —
то было в Лурде в 56.

И я едва не потерял сознанье
от дыма и жары, потом еще раз,
когда нагнулся за пучком травы

и ясно вдруг увидел: доктор Керлин
стоит у запотевшего стекла
на кухне, достает огромным пальцем

мужчин с малюткой органа внизу
и женщин с точками грудей. Всем роздан
сосисочный набор из рук и ног,

и эти вскоре начинают бегать.
Потом их опускают в воду с пеной,
и чудо: крошка собран по частям,

в стерильных мыльных он плывет ладонях.
И я туда попал, слепой от пота,
дрожащий на безветренном свету.

III

Пучки травы сорвал я и отправил
тому, кто шел на химиотерапию,
но и тому, кто все уже прошел.

Я не хотел оттуда уходить.
Пол-день, пол-мая и дотуристический
свет солнца во владеньях Бога.

И там, где храм Асклепия стоял,
мне просто очень захотелось лечь,

в траву зарыться, чтобы посетила

меня при самом ярком свете дня
Хигея, дочь его, чье имя значит
небесный свет, каким она была.

IV

Та комната, откуда вышел я
и все мы, остается так реальна.
Я в ней стою один, она все спит

в принесенных для Дока простынях —
подарки к свадьбе, как они обычно
нужны при родах и похоронах.

Я здесь, где инкубация, у койки,
в нее вперяюсь взглядом, появляюсь —
она то смежит веки, то откроет,

то поплывет с далекою улыбкой.
И я вхожу в сии владенья взора,
чтобы помочь или услышать шепот

с триумфом пополам: «Ну, что ты скажешь

о милой крошке, что принес нам доктор,
всем нам, пока я здесь спала?»

Посещение больного

Помазанник и прочая, отец
напоминал мне Феликса Рандала
у Хопкинса.
Затем он вырос

до «маленького в собственной одежде»
(как сам же говорил) —
реликт и призрак —
он призрачное нечто снял с себя,
ту часть, что так давно пустила корни
в нортумбрианство. Скованный теперь,
лет в восемнадцать с посохом бродил
по улицам Гексхэма он, имея
задачу: тело дяди привезти
домой паромом для скота.

Сперва – возница духов. Рулевой.

Ни одного из сбитых двух сандалий.

Твид цвета кизяка и бычьей крови кожа.

.....

Глаза асессора и счетчик в голове
всей сволочи – кто, где, в каком году…
Прошло и это. И предосторожность.
То приоткрытой, то прикрытой щелью
двери его улыбка. Слабый свет.
За что мы скажем морфию спасибо.

Люпины

Они стояли. Так стоят за что-то.
Стояли, не сгибаясь. Там, на месте.
Наверняка. Почти бесповоротно.
Цветы ночей и зорь розовоперстых.

Сперва пакет лазурно-голубых
семян с их легким нервным ощущеньем:

люпинов стрелки с эротизмом в них,
глубокое земли приобретенье.

О башенки пастельные, стручки
и конусы отстаивавших лето
растений, вылущенные полки.
И как-то выше пониманья это.

Перевод с английского Л. Сухаревой

Из австралийской поэзии

Джон Кинселла
Циммерман, Анаксагор и Большой Белый Кит

Сначала они уловили лишь нечто
в потоке холода между
Землей Ван Диемена и Новой Зеландией,
когда небо обратилось в сплошной
блеск. Некоторые матросы
были ослеплены и попадали за борт,
когда видение Анаксагора возникло
на горизонте, а судно стало
крениться к его непроницаемой белизне.

Капитан, находчивый, как всегда,
рванул паруса и тяжело развернул корабль
против компаса. Но они еще успели увидеть,
отливавшую белым металлом, тушу чудовища,

что погрузилась в наступающий мрак.
Большой Белый Кит
исчез в пучине.

Modus Operandi
Шторм

Он сказал себе: всё спокойно,
только тело противится буре,
только тело уныло растягивается и
размалывается в судовых переборках.
Шпангоуты визжат, но разум
спокоен; разум – глаз
шторма, он его якорь,
что влечется через непостижимые воды,
безопасный для рифов и не помышляющий о свободе.
Все шторма кончаются, и даже потерпевших
кораблекрушение выносит и выбрасывает на берег.
Ничто не теряется в крушении.

Штиль

Надежды дырявые, как паруса,
потрепанные всеми ветрами, валяются,
разбросанные по палубам.

Летаргия сжирает всё, подобно сухой гнили,
палуба под ногами рассыпается в порошок.
Рулевая рубка оставлена без присмотра,
румпель предоставлен себе самому.

Во время штиля возможны
любые виды жестокости. Это
помогает коротать время.

Развлечение

Кое-кто из команды думает, что
наказание – единственное развлечение,

какое можно получить в море.
Возможно, капитан знает об этом
больше других, поскольку
осведомлен о потребности
организма в витамине С.

Изоляция, навигация, танцы

Астролябия длит расстояние
от скопления звезд до сути
кораблекрушения; океанская необуздан-
ность

и дыхание тайны треплют паруса,
как прокуренные легкие; каюты
коллекционируют табак и сперму.

Кристалл

Ослепительный кристалл,
вплавленный в гранит, приковал его внимание

на возможно необитаемом

и не посещаемом острове.

Он попробовал отломать сокровище,
чтобы забрать с собой на корабль,

но безуспешно: после тщетных
попыток кристалл обратился в обычный камень —

пустой, бесцветный, неприветливый.
Поскольку солнце уже садилось,

он убрался восвояси и весь обратный путь
слышал пение кристалла.

Оно замораживало сердце и
заполняло его ночью.

Благодать

Вне всяких сомнений положение неизменно
ухудшалось и с течью на обоих суднах,
и с жарой, и с безразличием капитана.

Атолл бурлил всё сильней и сильней,

а в команде обнаружился еще один больной.

Наблюдения за джунглями

заставляли беспокоиться тоже, хотя

берега восхищали исполинскими пальмами.

Через три дня началось светопреставление,

когда даже небо налилось кровью.

Циммерман был сам не свой от страха.

Но потом на них молча снизошла Благодать,

насыщая всех йодом.

Убравшись с этого места, Кук приказал им забыть

всё, что они видели, хотя тропики еще часто

будут одурманивать чувствительных европейцев.

Мертвое море

Море волновалось лишь
в непосредственной близости от судов,
словно экваториальный пузырь
мертворожденного плода
в кровати, полной крови и белка.
Кук обратился к Циммерману —
простому человеку – для объяснения.

Циммерман организует танцы для островитянок и сифилитических моряков

Они выбрали место у пляжа —
открытое, с жеманной бахромой пальм
и белым песком (точь-в-точь домашний
обжигающий снег). Костры были рано разожжены,
несмотря на жару. Капитан, как обычно,

закрывал глаза на легкомыслие команды.

Было решено, что тяжко больные
пойдут раньше всех, за исключением
офицеров, которые, конечно,
всегда и во всем вне очереди.

Вождь островного племени и его воины видели
корабельную пушку в действии
и были изрядно впечатлены. Капитан, кроме
того, одарил их всякими безделушками.

Танцы имели большой успех, и аборигены,
как обещали, не приближались близко.
Циммерман позже должен был признаться,
что к концу немного захмелел и пропустил
Большой Финал, когда пары
барахтались в прибое, ублажая друг
друга. Ни один не вернулся на судно

вовремя, оставив капитана проводить
в одиночестве ночь, что позволило ему
дать волю чувствам и мечтам,
сдерживаемым уже две недели.

Сибариты

Сибариты утверждали,
что роскошь была только
в глазах,
наблюдающих
за ними:

они нежили и баловали
Циммермана, обдавая ароматами
его гамак и нашептывая
приятные пустяки.

Он спросил, всегда ли
они были с ним.
Нет,
ответили они,
когда началась
бортовая и килевая

качка:

мы вторгаемся в любое
воображение.
Время от времени, когда трудно идет
работа, даже мечты
мы делаем наслаждением.

Правда и то, что имеем мы дело
с незначительными персонажами,
чтобы расщелкивать их
как орехи.

Антропология Кука

Что-то вроде шарикоподшипника в стручке
выпало из циммерманновской ушной раковины
и было выметено из-под ковра
проницательным капитаном Куком. Он приказал
собрать всё без остатка. Подобный
образец, найденный на острове

к северу от Новой Зеландии, был только
полу развернут, и, очищенный от всякой шелухи,
оказался заполненным
до половины сверху и до половины
снизу (хотя кто мог знать наверняка?).

Циммерман о политике Кука

0-runa-no le tuti
Hen re mot a pup Here mai

Болезненно изобильные, эти острова —
порция сокрушительной выпивки;
огнедышащий бог под горой;
страх, написанный на лице
каждого моряка и леденящий
горячие жилы
Циммермана,
всегда думавшем
о божественном, суровом

и непоколебимом Куке только как
о примере для подражания во всём.
Аборигены
вились как дым,
расхватывая безделушки
и мастеря железные кинжалы
из якорей. Они,
танцуя в капитанской одежде,
сбросили его с горы,
а потом съели,
оставив один только
череп.
Божественный Кук не мертв,
он спит в кустарнике,
а утром
вернется.
Ни он и никто другой из команды
не слышал голоса Провидения,
а офицеры, кажется, были довольны,
наконец избавившись от капитана.

Циммерман и пресса

Торопясь зафиксировать свои истории

прежде, чем Апокалипсис сведет начало с концом,

Циммерман хорошо помнил последние дни капитана.

Да, Кук обожал ясные дни до безрассудства.

Да, родственники Кука забегались по судам.

Да, он, Циммерман, утверждает, что дух капитана Кука:

I. плодоносен;

II. опасен, как динамит;

III. пребывает в процессе электролиза;

IV. криогенно сохраняется для будущих исследований

с возможностью последующего возрождения;

V. постоянно кричит.

1988–1992

Перевод с английского Р. Дериевой

Из немецкой поэзии

Эрих Фрид
Триптих
(Франкфурт – Некаргемюнд – Дилсберг)
1
«Четкие картины…»

Четкие картины
Воспоминания
И тоски

Твоя ждущая рука
Выражение твоих глаз
Локон
Оттеняющий левый твой глаз

Или деревья
Деревья по обе стороны
нашего моста через Майн
Часами стоящие посреди воды
(но на острове
на твердой почве)

2
«И я в самой сердцевине...»

И я в самой сердцевине
Отдаленности от тебя
Думаю о тебе

Думаю о твоей близости
Думаю о твоем дыхании
О моей жизни посреди воды
(о моем острове
который не мой
и не на Майне)
Слишком много линий было на моей руке
Слишком много людей было на этой ярмарке
Слишком много имел и был должен я
Слишком много времени был без тебя

3

«Некар отражает…»

Некар отражает
Осеннее солнце без тебя
Сияющие пятна
Странствуют часами
Вверх по реке и освещают
Гинтербург
Справа на склоне

Тянет холодным ветром
На балконе где тебя нет
В комнате с книгами
В кухне где чай
Без тебя
И краснеет пестрокаменная мостовая
На которую я еще иногда выхожу
«на солнце» и опять
захожу
в дом где нет тебя

теперь размышление
теперь отдых
без тебя

Печали учиться
Она не будет единственной
Осени учиться
Зябнуть учиться
Долину оглядывать
Без тебя

Неизбежные
вопросы
Тяжесть
Страха
Долгота и широта
Любви
Цвет
Тоски
В тени
И на солнце

Сколько камней
Надо проглотить
В наказание
За счастье
И как глубоко надо копать

Пока поле
Не начнет отдавать молоко и мёд

Условие

Если есть смысл
Жить
Есть смысл
Жить

Если есть смысл
Еще надеяться
Есть смысл
Еще надеяться

Если есть смысл
Хотеть умереть
Есть смысл
Хотеть умереть

Почти во всем есть смысл
Если есть смысл

Перевод с немецкого А. Шмидта

Юлиан Туэ
Осенние краски

Листва цветы
умирают так чудно
не желая
становиться иным
протестуя
против неведомого

Но кажется
они не страдают
в отблесках
иных миров
поют о новой встрече
всему оставляемому

Смерть не болезнь
а перевозчик
в иную жизнь
через реку
из страхов
войди же в лодку

Желтая шляпка

Когда дождь
заливает город
все покрывая
холодной мутью
жизнь теплится еле
Но мелькает
желтая шляпка
ближе ближе
юная женщина
скользит меж струй
напоминая
Испанию в мае
И понимаешь
любовь не кончается
не умирают
от первой любви
умирают
лишь после последней

Перевод с немецкого С. Мадиевского

Георг Гейм
Printemps[2]

Загрезила в цвету вишневом белом
Дороги потревоженная пыль,
И колокольни высвеченный шпиль
На небе заблестел поголубелом.

Над просветленной, праздничной листвой,
Где кряжей облачных крутые гребни
Венчают день, все ярче, все волшебней
Кочует звон в истоме луговой.

На горизонте в отблеске багряном
Шагает пахарь древним великаном,
Быки по черной пашне тянут плуг.

Вдали мелькают мельничные крылья
И за волосы на погасший луг
Бросают шар, багровый от бессилья.

---

[2] Примечания: 2
Весна (*франц.*).

Спящие

Вода в реке темнее от теней,
А в глубине кровавящим пятном
Бездонный вспыхнул блик, и нет красней
Рубца на теле ночи кровяном.

Вверху, над склоном поймы луговой,
Кружится Сон, траву к земле пригнув,
Трясет по-стариковски головой
И к лилии увядшей тянет клюв.

Отряхивает перья, как павлин,
Наводит облака крылом седым,
А темноту лиловую долин
Окутывает сновидений дым.

Одни деревья странствуют без сна,
Сердца людские населяя мглой,
Сиделкою склоняется луна
Над спящими и призрачной иглой

Под кожу ловко вспрыскивает яд:

Чужие друг для друга спят они,
И бешеную ненависть таят
Больные лбы в отравленной тени.

Пускает корни дерево теней
В сердца и темный всасывает сок,
И стонут люди громче и страшней,
Чем от железный игл, и ствол высок

У врат Покоя. В серых листьях Сон
Шуршит полотнищем холодных крыл:
Над тяжестью ночной простерся он
И лица спящих инеем покрыл.

Запел. И тьма врывается, груба:
Он – крест, он – тук, он – пепел! Смерть идет,
Откинув многим волосы со лба,
Раскрашивая увяданья плод.

Середина зимы

Зимою год ползет к концу, ощерясь,
И дни малы, как пятна крыш над снегом.

Часы бессчетны, безрассветны ночи,
И неизвестность утра слита с небом.

Ни осени, ни лета, – смерть скрутила
Плоды земли, рыдая панихидно.

Холодные, совсем другие звезды:
Нам с пароходов не было их видно.

Темны, неведомы дороги жизни,
Они конца ничем не обозначат,
И каждый, кем вслепую поиск начат,
Молчит потом и рук пустых не прячет.

Берлин I

Из черной ямы, из дыры складской
Грохочут бочки, скатываясь в трюмы.
Пыхтят буксиры, лезет дым угрюмый
В глаза над маслянистою рекой.

Мостом по самую трубу отпилен
Речной трамвай. Оркестрик на корме.
Вода укрыта в смрадной полутьме

Коричневыми шкурами дубилен.

И там, где мы проходим под мостом,
Сигналами нас оглушают своды,
Как барабанной дробью, а потом

Сады на дамбах, медленные воды
Каналов и в цветении густом
До неба прокопченные заводы.

Umbra Vitae[3]

Людей на тротуарах тьма накрыла,
Небесный свод над ними гол и страшен:
Там метеоров огненные рыла
Выводят знаки над зубцами башен.

На каждой крыше – телескопов дыры,
Астрологи пытают бездну ночи,
Из подземелий выросли факиры,
Восход звезды таинственной пророча.

Самоубийцы избродили сушу —
К востоку, к северу, к закату, к югу —

---

[3] Примечания: 3
Тень жизни (*лат.*)

Потерянную не отыщут душу
И гонят пыль по замкнутому кругу

Руками-метлами, покуда сами
Не станут пылью, торопясь к могиле:
Усеют выпавшими волосами
Свой путь земной и лягут грудой пыли,

Подергивая мертвой головою.
И звери полевые с голодухи
Склонятся над могильною травою,
Рогами копошась в кровавом брюхе.

В морях то здесь, то там гниющий остов
Пустой посудины – куда деваться?
Нет больше ни мальстремов, ни норд-остов,
К причалам райским не пришвартоваться!

Деревья над разбитыми путями
Расставили капканы пальцев-крючьев,
Чернея деревянными культями
Отмерших, неизменно голых сучьев.

Кто хочет встать, тот умирает сидя.
С последним словом по другим орбитам
Отходит жизнь и, ничего не видя,
Глаза таращатся стеклом разбитым.

Повсюду тени. Перед новой жутью
Закрылась сновидений дверь глухая.
Молчим, придавлены рассветной мутью,
И веки трём, дремоту отряхая.

Перевод с немецкого Р. Дубровкина

Из словацкой поэзии

Юрай Калницкий
Эрос и Психея

я изверг и палач
я клятва и обман
меня влечет по серпантину данта
полой прикрыв блудливое анданте
по времени скольжу
отлит в костюм изящного соблазна
он выполняет роль луны магнитной
примешивает смех и смерть
и жженье терпентина
и адский огнь ладоней пальмовидных
напалмом жгущих
травит осами печалей
иль брызжет росой
на иглы кактуса опустошенной души
и подвергает позору побиения камнями
но допускает до лицезренья
тебя при мне
мой милый дружок в зенит закопьен-

ный
вскрывающий меня своим лучом
будь беспощаднее ко мне
чем честь
всоси в себя своею черноземной щелочью
своею ненавистью враждой и отвращением
и отвердей твердыней
которую необходимо отступая покинуть
искуси горизонтальность профанную
и за спиной сожги мосты
хотя бы раз
взвинтись внутри себя
в преддверье райских врат
и первыми людьми
мелькни во встречных взглядах
воспламени мост за спиной
как олицетворенье
трагедии необоюдности в ограде обольщенья
тех кто выжил

для обоюдной лжи?
агдам лимон и крабы
и плоть змеи
вкусить с твоих ладоней
из чресл испить волшебных
а после хоть убей
хоть выгони
хоть головой о камень
вкуси не косметическую ложь
но дерматоз
стыдящийся касаний
так фарисей-монах свою тонзуру
духовной пластике подвергнув тривиальной
ударом крови бьется об удар
да что с них взять
так алкоголик застыл мешком трухи
с лицом натянутом глазурью эйфории
под гильотиной творчетворца
и катится по желобу душа
и заунывно вслед ей «амэн» слышишь
не лучше ли плодов твоих вкусить

прильнуть к твоим ключам
и повернуть тебя красоткой конопатой стишком и грустью
сможешь ли разгрызть такой орешек
потусторонним огнем
своей клешни?
ну что же искуси
и в искусе останься
и взглядом не стреляй в меня убийцу
и кипень белоснежную накинь
ну что же искуси
и ветошь условностей отринь
и обрати в золу одежду зэка
ну что же искуси
своею наготой
хоть толику стремленья прояви
и неожиданно как гром при ясном небе
воспылай ко мне желаньем
Лукреция и Цезарь

соловьи в кустах выщелкивают кантаты
в голове роение точно в улье

не обращай внимания на цитаты
о любви в июле
старое тело опутано
младою силой
сексуальная пышечка запальчивость иссушила

«Усмешка местью самаритян…»

усмешка местью самаритян
Борджия пропадает из виду
мерзавцы с княжескою повадкой
облачения сбросив переживают обиду
отм(о/ы)лить которую тщатся роскошью ванн
не признавая приоритет искусства
ночами печалятся над загадкой
яда приставшего к яду и тела к телу
так пусть же страсть закипает в рустах
обжорством мяса похотью сладкой
и вот уже ночь рассветом истлела

«Гнусный инцест…»

гнусный инцест
а ну его к черту
соперник с кантарелой смешавший сок
задирает юбку очевидности
атаку ожидающая аорта
расплата ее
подскок
шприц ныряет на волосок…
острием клинка
валютой наивысшего сорта

Опускаюсь по кругу

опускаюсь в Париже
поднимаюсь утром другим
по пути на Монмартр
возле института Мольера на Ренело
таращусь на тощие крупы
юниц у мольбертов

на оттенки собачьей мочи
облаткой печенья по ветру лечу
этикеткой от крекера времени знаком текущим

на миг торможу у наследия Эйфеля
где предпринимателей поросль
черных как совесть бывших колоний
впаривает бесполезные вещи
продукцию целого мира
кич секретера перо раздирает до крови
а с плаката на углу Трокадеро
уставилась на меня Сандра Баллок
детективица я у нее на ладони
осторожно протянут меж ней
и залувренной Монною Лизой
мне ее не догнать и зачем она мне
что она может на виселице стены
ну допустим приду
опущусь конформистом
или лучше
пойду к Нотр Даму
величавость вдохну

слезой поперхнусь соринкою страха в зрачке
вместе с тысячей атеистов крестом осенюсь
невзирая на веру
и наконец
переполнюсь красой
под хихиканье пышнотелых берлинианок
превращающих в хор Пляс Пигаль
и в борьбе с тяготеньем колбасным
хочу обмакнуть их сосисочные косички
в сладкое сало стихотворенья
опускаюсь по кругу
и вдруг рассияло мне плешь
солнцем птичьего дня как насмешка
не будь я в командировке
по делу…
Штилиха в посольстве заждался меня
озабоченный образованием и культурой
и поскольку в посольствах теперь протокольная скука

опозданья не в моде
выговор светит
и я опускаюсь
и бегу
вправляя удавку галстука
туго как в Англетере
может лучше за ним
опуститься от суеты

Перевод Ю. Проскурякова

Из польской поэзии

Вислава Шимборска
Натюрморт с воздушным шариком

Когда умирать я буду,
Мне не нужно воспоминаний:
Лучше пускай вернутся
Все потерянные вещи.

Пусть повалят в окна и двери
Сумочки, зонтики, рукавички,
Чтобы я пожала плечами:
А зачем мне все это нужно?

Гребешки, иголки, булавки,
Роза из промокашки, —
И я наконец-то скажу им:
Мне ничего не жалко.

Где бы ты ни скрывался, ключик,
Поспешай, возвращайся,
Может, еще успеешь меня услышать:
Ржавей, ржавей на здоровье.

И тогда на меня налетит стая удосто-

верений,
Пропусков и анкет,
И я шепну с умиленьем:
Вот и солнце заходит.

Часики, выпрыгните из речки,
Дайте мне подержать вас в ладони,
И я скажу с укоризной:
Раньше вы не спешили!

Находись поскорее и ты,
Рваный воздушный шарик,
Чтобы я могла от тебя отмахнуться:
«Нету здесь детей,
ты никому не нужен».

Выпорхни в раскрытое небо,
Выпорхни в мир широкий,
И тогда кто-нибудь снизу
Крикнет: «Гляньте!» —

И тогда я смогу заплакать.

Приятелям

Знаемые мои, рассеянные в пустыне
Между землею и звездами!
Мы потерялись в бездне
Между головой и ногами.

Расстоянье от жалости до слезы —
Все равно что между планетами нашей системы.
Продвигаясь от фальши к правде,
Перестаешь быть молодым.

Как смешны сверхзвуковые самолеты!
Можно подумать, щель тишины
Между их полетом и звуком —
Всемирный рекорд.

Были полеты и побыстрее.
Их опоздавший звук
Выцарапывает нас из подушек
И через много лет.

«Мы невиновны!» – доносится крик сна-

ружи.

Кто там кричит?

Бежим,

Открываем окна.

Крик обрывается. За окнами – звезды

Падают с неба. Так после пушечного залпа

Со стены сыплется штукатурка.

Перевод с польского М. Каменкович

Кшиштоф Лисовский
Из цикла «Пятнадцать тысяч дней»
Послание 3; снящееся

я видел яркий огонь

горящие коробки из-под платьев

под засохшим деревом на самой обочине улицы

из этого пламени рождалась женщина

просыпалась в прекрасном отчаянии

наслаждалась металлическим вкусом длинной шпильки

с закрытыми глазами

завязывала карминовую ленточку

такая безмятежная в своей печали

смиренно укрощала наготу плоти

наглухо застегивала на себе хлопок и шелк

(на мгновенье душа ее отделилась от тела

как Офелия скользит она по самой поверхности

датского потока

притихшая, дивящаяся стрекозам и сверчкам

над ней склоняются травы

королёк колышется на камышовой нити)

и вдруг проснулись телефон, зеркало, будильник,

память прошлой ночи:

она себе нравилась

и феминизм был совсем не для нее

Страницы гербовника

Что же от них мне осталось в наследство?

Черты лица, нервозность, привычка складывать платочек,

кашель, затверженные поговорки и анекдоты,

пожелтевшие фотографии,

От мужчин – безопасная бритва,

на бой выходившая с зарослями щети-

ны
в Румынии и Греции, во Франции
и в Англии – на Гебридских островах.
И в конце концов выиграла сражение.
От женщин – маникюрные ножницы с надписью
«Компания Singer»,
которыми до революции стриг ногти мой дедушка,
они путешествовали и в Москву, и в Питер,
и в демблинской крепости верно
присягали царю Николаю II.
И даже потом еще долго служили,
ведь волосы и ногти растут бесконечно. И зори для
них встают, и заходят луны.
Что ж, пусть покрасуются еще мгновенье
ожившие созданья бронзового века.
Я закрываю мой гербовник и думаю,
кому достанется наследство наше.

Схватка с ангелом

представь себе тропинку бегущую
по кромке горного хребта
когда погода как на другой земле
не дождь и не туман
и не гроза и не буран
идет перед тобой кто-то
в порывах ветра исчезает
преследуешь его ты в травах
густых и сотканных из теней
избрали вы себе забаву
или судьбу
он спотыкаясь убегает вверх
ты гонишься за ним ласкаешь
крыла и перья и уста
у ангела
восходит он в сиянье света
где жаворонки кони с ястребами
вот ангел в солнечном свеченье
прекрасный как полуденное небо

Придут посмотреть на поэта

через неделю
придут посмотреть на поэта

девушки и парни
не мои возможно
дети

направятся в музей
увидят главный колокол
вечером пойдут в театр

я готов к этому

покажу им
пятнадцать тысяч дней

вспомню стих Ружевича
о таком же событии

за пятнадцать минут расскажу
что строил
ел видел
за семью святыми реками

для чего после стольких слов
взбирался
на башню света

может увидят того
кто не помнит
уже заклятий

Перевод с польского Е. Сударевой

Юлиан Корнхаузер
Из цикла «Камушек и тень»
«И уже ничего…»

И уже ничего.
Дым, две дикие утки,
пепел костра.

И уже ничего.
Водоросли уснувшие,
узкая тропинка

За водой – ничего
за тропой —
ничего

И уже ничего
никогда ничего
уже никогда
за ничего
на свете
ничего

Карандаш

валяется возле дома
с мусором вместе

ничего не напишет
не подчеркнет и не зачеркнет

лежит ненужный
забытый

а как ему хочется
сказать свое
что-нибудь

когда-то взывал к бумаге
буквы лепил как из песка куличики
до слез в глазах

незаменим был

а теперь что он может
запомнить
что видит вокруг

фольгу

воробьем исклеванную
корку апельсина
в лужице мелкой

потянулся поднять карандаш
но крепко прирос он к земле

Коробка

Мальчонка – нищий, грязный —
картонный короб за пазухой прячет.
Что там в твоей коробке?
Небось, насобирал кучу денег?

Паренек медленно глаза поднимает
на тротуар кладет коробку.
На дне ее – крошечная черепашка
с вытянутой к нему шеей.

Стены

Рухнут стены,
и когда страх пробудится,
а наших вен коснутся белые на рукавах

полоски,
истории подземное течение
дух времени и разум перекроет.
Восстанут из могил ценители и гордости, и славы,
всей армии земли, засеянных полей,
чтоб бить прикладами
по звездами усеянному небу.
Придет время
границ невидимых,
сражаться с ними станут
ученики с учителями,
цветы без шума все луга займут
и крест березовый у края леса
тоскою устремится к огням неоновым.
Руины стен,
и вместе с ними мы.

Перевод с польского Е. Твердисловой

Бронислав Май
Из цикла «Свет»
Знаки

А был ли я вам верен, язык мой, буквы? Служил ли

вам? Жизни слов предпочитал жизнь собственную, не замечая

терпимости вещей, деревьев, камней. Сколько

одних желаний, а страхов, снов, трудов и боли, отчаяний, надежд —

всего не сказанного вслух. Того, что не произносилось,

но продолжало

быть. Оно менялось всё, и нас меняло. Любил в словах лишь

имена я тех, кого любил: и женщин,

и друзей, и гор, и улиц, рек и стран, ни разу не назвав их. Преданье

мира – знаки неба и земли, во взглядах жили вы,

в прикосновениях

случайных, в звуках городов и голосах стихий – во времени; вы —

воздух, море знаков, в которые глаза и губы погружаю

и руки, мои руки, что всё еще живут. И жаждут

рук

горячих.

Спускаясь вечером с горы Сальваторской

В долине первые огни зажглись. Не спит

Господь? Иль кто еще? Я верю:

огни для меня зажигаются. Да, для меня. Не дождешься,

чрево земли ненасытное; расступитесь, воды

тяжелые; темень кромешная, сгинь: иду я

на свет.

Просьба

После того, как пройдут сорок ночей и ночей еще сорок,

отступят голодные черные воды шума.

После вселенского плача, как после сильной грозы, – позволь

мне встать и идти. Далеко-далеко. Отсюда

безо всего и без памяти. Чистым. Под именем

новым и в новых витать облаках. В новом

обличий быть, безупречным: «Свет, свет, свет

мира, в твоем я кровотоке. Неведомые прежде

ждут меня речения». В тишине глубокой, после плача

вселенского. В безмолвии прозрачными поведай

голосами земли, воды и неба —

мне, коснись —
меня, влей жизнь.

Спокойной ночи

Медленно в сон погружаюсь: без усилий,
легко от меня оторвались и вдаль
устремились такую, что уже не имеет значения, —
стол, фотография под стеклом – лица
живых и ушедших, стены моей комнаты, улицы
Града Святого – его отравили и ложью, и дымом,
истина, память и страх, тело и кровь, бедро
Его, пронзенное копьем, и слова моего
языка. Всё дальше: теперь никто меня
не коснется, не ранит и не спасет. Никто,
никогда, никому не удастся. Несите ж меня, воды
глубокие, из темени той и пустыни

той —
в пустыню и темень.

Перевод с польского Е. Сударевой

Из французской прозы

Жильбер Сесброн
Старик в саду

Пройдя сквозь лавровую рощу, старик попал в царство солнца. Чуть помедлил, разглядывая черную мрачную тень, свою тень. «Деревенский кюре в сутане, — подумал он, улыбаясь. Я всегда им оставался. Просто приход мой стал больше…»

— Да и самого меня стало больше! — добродушно усмехнулся он. У него было отличное настроение. Наблюдавшие за ним из-за пурпурных штор высоких окон видели, как он прогуливается, качая головой, среди цветущих деревьев и поющих птиц; казалось, он делает им какие-то дружеские знаки — затем он скрылся из виду. Он шел по ослепительному майскому саду и, полузакрыв глаза, с улыбкой на устах погружался в прошлое. Тень в сутане, «деревенский кюре», вела его за собой.

— Дальше, дальше, — пробормотал он, прибавляя шагу.

А дальше: поля, седовласые оливы, траурные кипарисы, обвитые диким виноградом и белой глицинией. Там стережет овец маленький маль-

чик, и это — он.

Когда открывались ворота овчарни, они обрушивались на него нетерпеливым, жалобно блеющим потоком. Он начинал говорить, и они успокаивались.

Лишь тот, кто не был пастухом, считает, что все овцы на одно лицо! Он помнил каждый профиль и каждое пятнышко; различал черты характера там, где другие видели лишь боязливую ноющую груду шерсти на четырех тоненьких ножках. Он давал имя каждому барану и каждой овце. А потом закрывал глаза и забавлялся — нет! — упражнялся, узнавая их по голосам.

Семьдесят лет спустя, идя по грабовой аллее, населенной птицами, старый человек, закрыв глаза, отчаянно пытался услышать вновь жалобные плаксивые стоны того исчезнувшего стада. Зачем? Не в его власти даже вспомнить интонации голоса собственной матери. От нее и от умерших родных в памяти сохранились не живые лица, а портреты, ибо Время — это родник, обращающийся в камень.

Но вдруг он ощутил знакомый запах овчарни (да, острый горячий аромат хлева заглушил благоухание роз и лилий в саду), ощутил так явственно и живо, что едва дошел до скамейки и

рухнул на нее — старый толстый человек, заглянувший в свое детство.

Здесь, в грабовой аллее, за зеленой стеной из живой изгороди он был надежно укрыт от чужих глаз. Не в силах выносить непрестанные заботы приближенных, он как-то сказал: «Побыть с птицами и отдохнуть от людей… Хоть несколько минут!» — после этих слов, которых он стыдился до сих пор, никто не смел нарушать его ежедневного уединения. Старый важный человек присел на краешек скамейки. Казалось, он оставляет место для маленького пастуха, чью улыбку он вновь обрел на своих устах. Пролетевшая птица презрительно взглянула на притворившегося спящим старика.

Вдруг его губы зашевелились:

— Альбина, — произнес он громко. Пропавшая Альбина…

Никто кроме него, конечно, не знал, что так он назвал одну из овец…

Далеко, со стороны Массино, доносится звон анжелюса — шесть часов. Отрываясь от книжки, считает овец… четырнадцать, пятнадцать. Одной не хватает! Сердце бешено колотится, вскакивает, пересчитывает, всматриваясь в каждую: нет Альбины. Охрипшим от волнения голосом зовет.

Мчится к ближнему пруду… — Никаких следов, слава Богу! И вот маленький пастырь собирает стадо и произносит перед ним безумную речь:

— Альбина заблудилась, и я иду искать ее. А вы стойте здесь. Только не разбегайтесь! Я доверяю вам…

И он быстро зашагал прочь, но, дойдя до оливковой рощи, обернулся: никто не шелохнулся, все взгляды устремлены на него.

— Я доверяю вам! — крикнул он вновь.

Альбина нашлась не сразу, в час, когда его подопечных уже ждала теплая овчарня, а его — дымящаяся похлебка. Альбина, пленница колючего кустарника, который из-за ее отчаянных усилий был усеян белой шерстью, словно звездами; Альбина, бессильная, немая — и маленький пастух, едва держащийся на ногах от голода и усталости. Они долго смотрели друг на друга, задыхаясь и плача от усталости. Потом он, до крови исколотый колючками, взвалил на плечи истерзанное тело, ощущая биение сердца в теплой влажной утробе. Он ни минуты не сомневался, что стадо будет послушно ждать. Но не надеялся встретить там отца и мать, обеспокоенных исчезновением сына.

— Мальчик мой, я так волновалась!

Как приятно чувствовать себя таким маленьким! Как приятно уткнуться мокрым лицом в сухую шершавую ткань и… Старик вздрогнул: он вдруг ощутил пресный запах галантерейной лавки, исходивший от одежды матери, чьи черты и голос оставались для него сокрыты.

— Что с тобой стряслось? — холодно спросил отец. Он рассказал, стараясь не упоминать имя Альбины.

— А если бы все остальные разбежались, пока ты гонялся за одной?.. Дурацкий расчет! И откуда, спрашивается, у детей такие мысли!

— Но… в Евангелии, — мать старалась изобразить улыбку. — В притче о заблудшей овце…

— А я и не думал об этом, — простодушно пролепетал малыш.

— Ишь ты! В Евангелии! — разозлился отец. Евангелие годится лишь для воскресенья. А в другие дни надо идти прямо, не сворачивая!.. Я знаю, что говорю, — закричал он вдруг, заметив, что сын не сводит с него глаз, полных ужаса. Да, знаю, что говорю!

Домой шли молча. Опустив голову, как кроткая овечка, мальчик семенил последним.

И теперь, много лет спустя, старик впервые спрашивал себя, не эти ли опрометчивые слова

отца определили его судьбу, не явилось ли все его будущее ответом и вызовом. Порой целая жизнь уходит на то, чтобы подтвердить или опровергнуть несколько слов. Да, и в самой низкой и в самой высокой доле можно следовать Евангелию: вот что он попытался доказать.

Он сложил руки, сведенные старостью и ревматизмом, в вечный благословляющий жест, и в нем родилась старая детская молитва: «Господи, благослови папу и маму…»

Он намного пережил своих родителей.

Ни слова!

Голос возник сзади, из-за изгороди, молодой, отрывистый, резкий. Казалось, от долгого нерешительного ожидания у кого-то пересохло в горле.

Старик, окруженный столькими забытыми голосами, даже не вздрогнул; он почти не удивился непрошенному гостю. И, не теряя самообладания, каким он славился на весь мир, спросил:

— Какие слова я мог сказать?

— Не зовите на помощь!

— На помощь?

Только тогда он осознал исключительность происходящего, и добродушие сменилось суровостью.

— На посту, который я занимаю, не кричат. Просто я не привык говорить с теми, кого не вижу воочию… — и добавил как бы для себя: — Только с живущими на небесах.

— На небесах?

Послышался шелест листьев, и перед ним появился очень молодой, исхудалый, легко одетый человек, под бурей черных волос лихорадочно сверкали глаза.

— На небесах? Поберегите ваши сказки для публичного выступления. Мы здесь одни, и я в них не верю.

— А я — всей душой.

— И в душу вашу не верю.

Старик присмотрелся к незнакомцу, и ему стало неловко за свою полноту. Тот не опустил глаза.

— Вам известно, кто я? — наивно спросил старик. Незнакомец пожал плечами и с ненавистью произнес:

— Папа римский.

— Могу я для вас что-то сделать?

— Исчезните.

«Он вооружен. Я один. Час мой настал», — подумал папа.

Сердце наполнилось ликованием, но к радости примешивались сомнения. Умереть мучеником,

в глубине души он всегда об этом мечтал… долгая карьера прелата и дипломата порой тяготила его. Может, в этот миг где-то в Африке одинокий страдалец погибает от чьей-то злой воли с именем Господа на устах. А я сижу здесь, весь в золоте. Ко мне обращаются «Монсеньор…» Достигнув высших почестей, к которым он не стремился, в великолепных хоромах, охраняемых солдатами в старинных одеждах, стать жертвой… — Если бы! Сообщение в газете, да и только! Символом чего он станет, убитый этим неизвестным? Смерть? Пускай, но ради чего?

— Исчезнуть, — произнес он спокойно, — неужели это все, что я могу для вас сделать?.. Почему вы так решили?

— Потому, что вы — краеугольный камень ненавистного мне мира.

— Краеугольный камень мира? Никогда еще меня не удостаивали такой чести, — сказал старик, покачав головой. — Но, к сожалению, вы заблуждаетесь: вытащите камень — ничего не разрушится.

На лице незнакомца он прочел глубокую скорбь; глухой голос произнес:

— Везде обман! Тогда, чему же служит это?

— Что?

Рукой, худой, словно коготь хищной птицы, тот указал на распятие, висевшее на белом папском наряде:

— Это!

И, резко сорвав крест с золотой цепи, швырнул его на землю. Грузный человек рухнул на колени и стал шарить по гравию. Но едва он прикоснулся к распятию, другой наступил сверху ногой.

— Прошу вас, — взмолился папа.

Его охватило отчаяние. Незнакомец же с силой отбросил крест ногой, и тот скрылся в зарослях.

Старик с трудом поднялся. Его мучил стыд за свою грузную фигуру, за то, что долгие годы его предупредительно оберегали от малейших усилий, что его, престарелого владыку, одевали, носили… Он двинулся к изгороди.

— Стойте!

Незнакомец вытащил из кармана другую руку, в ней был зажат кинжал. «Как нелепо», — подумал папа и повторил вслух:

— Нелепо.

— Умереть — нет. Нелепо жить.

— Ну что ж, тем лучше!

«Умирать подобно ночной птице, пригвожденной к створке деревянного окна в сарае — тоже нелепо», — впервые задумался он и заговорил с

каким-то горделивым смирением:

— Вы ненавидите не меня, а его! И указал на заросли, где валялось распятие.

— На что вы надеетесь? — ухмыльнулся другой. — Его я люблю, — и добавил с яростью: — Вернее, любил бы, если бы не вы.

— Я?

— Вы, глава и приспешники.

— Присядем, — предложил старик.

— И мирно побеседуем? Довольно! Двадцать веков вы нас умасливаете добренькими речами. Двадцать веков пытаетесь превратить волков в раболепных псов.

— Только однажды волк стал преданным и кротким, как собака, благодаря любви, которую в него вдохнул святой Франциск. Кстати, — он смотрел на незнакомца в упор (ему казалось, что он с давних пор знает и любит это лицо), кстати, чем волки лучше собак?

— Они свободны!

— Говорите потише: сюда могут прийти.

Тот, сбитый с толку, смущенно взглянул на папу, потом на кинжал, спрятал его в карман и сел первым.

— Они свободны, — повторил он тихо, — а мы — нет.

— Пожалуй, вы правы, говоря обо мне, о священниках, о христианах, наконец, но вы, разве вы не «свободны»?

— Как человек в горящем доме! Из-за вас на земле стало нечем дышать!

— Вы словно заблудились на дне шахты и ищете выход, но при этом отказываетесь от пути к свету, указанному нами, — в голосе человека в белом прозвучала строгость, о которой он тут же пожалел.

— Все выходы закрыты, все! О, вы надежно их стережете! Всякий раз, как я пытался вырваться, кто-то из ваших был начеку. Преграды на пути к счастью! Преграды на пути к любви!

— Несчастный, — папа поднялся, — бедное дитя! Мы и есть Любовь, мы не служим ничему, кроме Любви.

Его рука, украшенная массивным перстнем, потянулась к худому плечу, но неизвестный отшатнулся.

— Вы — маленький мальчик, взывающий к отцу о помощи…

— К кому? К толстяку, нашпигованному сладкими речами, которому курят фимиам во всем мире? Запертому во дворце, охраняемому, точно музейный экспонат, швейцарцами с алебарда-

ми… Что вы знаете о наших муках?

— Возможно, толстый человек в белом наряде (его голос срывался от волнения, удушье сдавило грудь, он был как в агонии) ничем вам не поможет, да простит его за это Господь! Но по всему свету вы встретите людей в черных сутанах, худых и бедных, как вы, они позаботятся о вас.

— Ваши кюре? Да что они могут?..

— Я не говорю, что они избавят вас от страданий, но хотя бы переложат их на свои плечи, подобно ему, несшему на себе крест… Поднимите, — произнес он властно и, смягчившись, добавил, — пожалуйста.

Немного помедлив, молодой человек нагнулся, раздвинул ветки и стремительно выпрямился, бросив папе золотой крест.

— Спасибо, — прошептал старик.

До боли сжав в руке распятие, он чувствовал, как четыре гвоздя впиваются в его плоть. «Господи Всевышний, — молил он, — не покидай меня. И его… Нет, нас, Господи…»

— Не можете без этой погремушки! Вы, верховный владыка!

— Вы преувеличиваете: все не так просто…

— Наоборот, очень просто! Вы вынимаете из люльки и укладываете в могилу; никогда не

оставляете нас в покое. Вы заодно с теми, кто властвует, кто платит и кто судит. Священник, как тень, прячется за спиной банкира и предпринимателя. Распятие участвует в судах, духовник сопровождает палача. В военное время у вас офицерское звание. Вы всегда там, где смерть и насилие!

— Вы упиваетесь своими же словами, — сказал папа с холодком: он ставил рассудок выше эмоций и терпеть не мог высокопарных фраз. — Если бы служители Церкви не присутствовали в тюрьмах и на полях сражений, вы упрекнули бы их в этом.

Неизвестный подошел так близко, что он ощутил на лице его горячее дыхание. «Огненное сердце… Неистовое, неукротимое, — подумал папа. — Если бы он знал, как я его люблю, насколько достойнее меня он в этот миг».

— Я обвиняю вас в том, что до сих пор существуют тюрьмы и поля сражений. А приговор вам выношу не я, а ваш распятый!

Старческая рука крепко сжала крест, словно сросшись с ним.

— Двадцать веков неудач… И несмотря на это — двадцать веков святости!

— Знаю. Еще одна уловка! Не будь негодяев,

откуда взялись бы святые! В чем состояла бы «добродетель» в справедливо устроенном мире? Чтобы взрастить ваши розочки, вам необходим навоз; только мне надоело жить в этом дерьме!

— Я не строю себе иллюзий, просто пытаюсь понять.

— Вы смиряетесь, только и всего.

— Нет, принимаю, — старик выпрямился во весь рост, — мне недолго осталось жить, но я принимаю этот мир и по мере сил буду пытаться решать его трудные задачи. Вы же отвергаете все целиком. Так намного легче!

«Нет, — вдруг подумалось ему, — я неправ: отчаяние — это совсем не легко».

Тот хотел было возразить, но папа знаком приказал ему молчать.

— Но…

— Теперь вы ни слова!.. Слышите, сюда идут…

Он различил легкие торопливые шаги на песчаной аллее.

— Спрячьтесь в зарослях, там, откуда появились… Поскорее! Тот неохотно подчинился.

«Я опутал его словами, — подумал папа, — но ни в чем не убедил. А с чем, собственно, он должен был согласиться? Как оправдать и объяснить наш жестокий мир? История его жизни заключена в

одном слове: нелюбимый. Потерял веру в людей, разучился любить: одинокий, потерянный. И таких миллионы…»

К нему подошли двое молодых секретарей, еще не дослужившихся до красной кардинальской шапочки и фиолетовой епископской мантии.

— Святой отец, извините за беспокойство.

— Нас прислал кардинал С.

— Вы едва переводите дух, дети мои!

— Их преосвященствам пора на аэродром. Кардинал беспокоится, что беседа окажется слишком короткой для обсуждения столь важных проблем.

— Да, я в курсе. Передайте ему… скажите: все решится в установленном порядке, и пусть послы потрудятся немного подождать.

Секретари были явно озадачены. Тот, что постарше, осторожно заметил:

— Его преосвященство сказал мне еще: «Передайте святому отцу — каждая минута на счету…»

Папа улыбнулся, хотя глаза его погрустнели.

— Ответьте его преосвященству, что это я понял еще семьдесят лет назад… Нет, лучше передайте ему, что я прошу прощения за опоздание, и пусть он извинится за меня перед папскими послами. Ступайте!

Едва они скрылись из виду, из-за кустов показался неизвестный. Он тяжело дышал, папа был поражен его мертвенной бледностью.

— Почему вы их не позвали? Двое против одного…

— Не об этом речь, — рассердился старик, — диалог душ — не сюжет для детектива. («Нелюбимый… нелюбимый…» — отдавалось в нем). — Ваша мать умерла? — спросил он резко.

— Да. И ребенок мой умер, мать его меня бросила, я потерял работу, здоровье — ну и что из этого?

«Посланник сирот, безработных, отверженных, скорбящих, убогих, — святой отец едва удержался от молитвенного жеста, — четверть человечества внимает моим словам. Мне дано изречь, но не утешить! На что же я гожусь?» Он с горечью осознал свое бессилие. Такие греховные мысли не раз посещали его, подобно неуловимым трещинкам в хрустале, они служили лазейкой дьявола, оскверняя кристально чистую душу. Он заговорил очень быстро:

— Я могу лишь говорить с вами, это ничтожно мало. Только Он один владел словами, которые исцеляют, воскрешают… Неважно, что вы думаете обо мне, не переставайте верить Ему!

— Как! — закричал тот, — я корчусь от боли, а вы мне читаете катехизис? Подыхаю, а вы хотите, чтобы я воспылал к вашему бородачу?

— Да это же вы! — поднявшись, дрожащим пальцем он указывал на незнакомца. — Покинутый родными, осужденный родом людским, один-одинешенек в Оливковом саду: это вы! Никогда, никогда вы с Ним не были так близки!

— Сейчас не время для проповеди, — сказал тот дрогнувшим голосом. — Со мной нет никого, ни Его, ни вас — никого! — В его голосе зазвучали высокомерные нотки.

«Даже в бедах своих люди остаются заносчивыми, — подумал папа, — гордыня — их единственная панацея. Так будет всегда… Ни капельки гордыни в душе Христа! В этом Он не похож на человека…» Казалось, между ним и неизвестным разверзлась такая бездна, что слезы всей земли не смогут ее наполнить. Он совсем сник. Как же его спасти?

— Если вы — воплощение Страданья и Несправедливости, а я — воплощение Христианства, то приговор ваш справедлив. Обвиняйте, только меня, не Его! Он останется с вами; ваша совесть, надежда, опора — это Он, Он один!

— Он мертв.

Старик умолк, взгляд его сделался безжизненным. Если Христос навеки умер, то он — всего лишь толстый, странно одетый старик в саду. Значит, все сначала! Убеждать его, настойчиво, упорно; так вода по капле точит гранит, днем и ночью… Он почувствовал — это ему не под силу. Заблудшая душа — самая невинная… Далекая Альбина…

— Стойте здесь и ждите меня! — скомандовал он и загадочно прошептал: «Я найду… найду…»

Потом зашагал в сторону дворца. Вдруг он вспомнил о кинжале; сердце у него оборвалось, и ему стало стыдно за свое малодушие. Чей голос, Бога или Дьявола, повелел замедлить шаг и стать удобной мишенью? Пусть решает! Самое большее, что можно ему предоставить — свободу выбора.

Какое-то время — оно показалось ему бесконечным — он готовился принять смерть и с насмешливой улыбкой думал о благоговейных заботах, которыми его окружат доктора. Смерть, три четверти века он думал о ней каждый день и особенно каждую ночь, смерть, от нее отделяет один миг — вдруг она предстала перед ним в своем истинном обличье: огромный оживший лик Иисуса Христа. Острая боль — и он встретится

с Ним с глазу на глаз… «Я готов отдать жизнь, лишь бы увидеть Его лицо, — пронеслось в мыслях, — отдам жизнь за это лицо!» Не в этом ли подлинный смысл любви?

Что в эти минуты делал незнакомец? Какая буря раздирала его душу? Поглощенный собственными мыслями, старик забыл помолиться за него.

Кардиналы, ожидавшие у порога дворца (один из них встревоженно поглядывал на часы), наконец увидели приближающегося Святого отца, тот явно торопился. Подсчитывая потерянное время, они прикидывали, какие первостепенные вопросы придется снять с повестки дня — вдруг раздался надорванный стон, похожий на возглас поранившегося ребенка. Видя, как старик с трудом ловит ртом воздух, они решили, что кричал именно он: удушье, широко раскрытые глаза, рука, прижатая к сердцу…

— Святому отцу дурно!.. Сердечный приступ, скорее!

Они бросились ему на помощь. Но, опережая их, старик устремился назад. Все остолбенели, потрясенные невиданным зрелищем — бегущий римский папа. Судя по его поведению, он вовсе не болен. Что происходит?

«Прости, мой Боже, — молил толстый человек, едва дыша, — прости мое ослепление, мое неверие, прости… Сделай так, чтобы я не опоздал, Ты, властитель Времени! Чтобы не было поздно, умоляю!»

Слишком поздно.

Он знал: нельзя вынимать лезвие из раны. Бывший военный санитар части 14–18 знал и то, как избежать тряски, когда несешь на руках бездыханное тело, и проявил необходимую сноровку. О, непосильное бремя на плечах! Живой крест…

Первое, что он выкрикивает: «Он еще жив!.. На помощь!»

Никто не двигается с места. Застыв от изумления, семеро окаменевших кардиналов с ужасом наблюдают, как римский папа несет на плечах, словно пастырь новорожденного ягненка, израненное тело. Сгибающийся под тяжелой ношей старик, который правит миром! С каждым шагом все ближе и ближе к алым католическим князьям, чьи взоры прикованы к его горючим слезам, его дрожащим губам — и крови, которая, капля по капле, пятнает белоснежную сутану…

Перевод с французского Э. Брайловской

Из болгарской прозы

Стоян Вылев
Дивный волк

Однажды лютым и ветреным февральским вечером дверь переполненной корчмы медленно отпахнулась, а никто не вошёл. Все наши мужички гудеть бросили и затаились: если дверь отпахивается, значит, кому-то нужно войти. Сидят — не шелохнутся и ждут.

И вот, наконец, внутрь корчмы осторожно просунулась меховая морда. А следом и сам волк вошёл.

— Батюшки святы! — воскликнул хозяин, отродясь не привечавший в своём питейном заведении таких клиентов.

Все кругом как-то сразу засуетились. И тут над дальним столом горой вырос Иван и огромно шагнул к волку. Серый сразу зарычал, собрал в складки нос и оголил острые клыки.

— Куда ж тебя понесло, Иване?! — крикнул дед Стоимен, думая вразумить парня.

Но Иван ничегошеньки не слышал, а только смотрел прямо в волчью морду и уже засучивал рукава:

— Сейчас я ему выпишу счёт!

Вот сошлись человек со зверем совсем близко, простёрлись друг к дружке и вмиг кубарем покатились.

Иван — то сверху, то снизу — всё пытался волка за шею ухватить, да всё никак не удавалось. И так и сяк крутил он серого, а тот, знамо дело, рычал и щёлкал своими зубищами. И, как будто, не нападал вовсе на парня, а только защищался, только отбивался да изворачивался.

Но Ивану всё же случилось крепко прихватить зверя и сдавить его горло железными пальцами. И тотчас раздался такой страшный рык, что волосы у всех, кто был в заведении, распрямились и задрожали. Боец наш сей же миг отпустил волчью шею, поднялся с колен да застыл соляным столбом. Зверь тоже распрямился — встал на четыре лапы, отряхнулся — и медленно пошёл к винным бочкам.

— Чтоб тебя, гадина!.. — заголосил корчмарь и в один прыжок метнул свои сто с лишним кило прямо на винный прилавок.

На полпути волк остановился и оглядел онемевших поселян удивительным взглядом — широко раскрытыми, полными неутолимой печали глазами. Никто не смел ни вздохнуть, ни шевель-

нуться, а только почувствовали люди, что течёт по их жилам целая вечность. И вот, зверь медленно поднялся на задние лапы, вытянул морду к потолку и принялся выть. Ох, что ж за вой вылетал из распахнутой пасти: и не вой вовсе, но плач неземной и ужасный. Так у нас рыдают женщины на похоронах и в день поминовения усопших.

Вот сидят мужички в корчме и слушают, как волк воет. Встал на задние лапы и воет, а мужички заколдованные молчат. Молчат, а в сердца их густо вливается мука, та мука, что терзает душу этого волка. Такая бескрайняя тяжёлая мука — непроглядней гибельной ночи за окнами.

Выл серый, выл и внезапно умолк. Опустился на пол, вздохнул и упрятал голову в мягкие лапы. И больше не шевелился.

Тогда поднялся с лавки дед Стоимен и направился к зверю. Кое-кто открыл было рот, чтобы остановить старика: ведь, неровён час, волк вскочит, да как за горло схватит — мигом душа отлетит! А души-то Стоименовой — и в чём только держится! — на одну понюшку осталось. Но ни единого звука не слетело с разомкнутых губ, будто продолжалось колдовство.

Покряхтывая и пристанывая опустился старик на одно колено и склонился над волком. Протя-

нул руки, взял лобастую голову зверя в ладони, вгляделся в его глубокие глаза и бережно опустил обратно на лапы. Потом медленно стянул с себя засаленную ушанку и опустил взгляд, как подобает перед сиятельными мертвецами. (Никто никогда так не узнал, что поведал деду волк перед смертью. Никому Стоимен не раскрылся.)

Мужички скоро догадались, что зверь помер и душу отдал — Богу ли, чёрту ли, своему ли какому божеству. Осторожно повставали все со своих мест, приблизились к серому и пялились во все глаза на него из-за Стоименова плеча: что за диво-волк, чудный волк, сказочный!..

И вот старик от пола медленно оторвался, расправил плечи и говорит:

— Возьмём сейчас кирки да лопаты и погребём его.

— Да ты что?! Да ты не спятил ли?! — завопил корчмарь и смёл свои тяжёлые телеса с прилавка.

— Умолкни! — властно взмахнул рукой старец, и все сразу уразумели, что он прав.

Мужики быстро принесли инструменты и спрашивают:

— Где будем хоронить?..

— Как где? — рассердился Стоимен. — Перед

корчмой!

Все мигом вывалили наружу. Холодища такая — камни лопаются. Земля — как лёд. Метель кругом буянит и ни черта не видать. Какая уж тут работа! Но мужички отогрелись ракией да и выкопали могилу.

— Кланяйтесь теперь! Кланяйтесь все! — скомандовал старейшина.

И двадцать здоровых мужиков поклонились одному мёртвому волку. Но, какому волку — диво-волку, чудному волку, сказочному!..

Зарыли могилу и вошли обратно в тепло. Не успели дверь закрыть, как влетел сельский голова: весь бешеный, глазищи — навыкате. Влетел и вопит:

— Да что ж это происходит, люди добрые! А-а-а?!

— А ну, тихо! — осадил его дед Стоимен и ракии на пол капнул, как на поминках.

А селоначальник — ещё громче:

— Что ж это удумали — волка хоронить! Посреди села! Ну, кто скажет мне: не дикари ль вы после этого?

Шумел-шумел, а сам всё ракию попивал и мало-помалу успокаивался. Побухтел ещё немного, а потом остатки из своей чарки на пол вылил и

примирительно изрёк:

— Да простят силы, что бдят над нами, грехи волка!

Вот какие дела!

Так мы по сей день и гадаем: а волк ли это был?

Уж спрашивали-расспрашивали местного мудреца деда Стоимена, но тот только усмехался да руками махал:

— Какой волк?! Вы часом не помешались? Был бы это волк, приказал бы я вам хоронить его посреди села?! Эх, дураки-дураками!

Ну, хорошо — не волк! Тогда что ж это было?

…А какая, впрочем, разница? Да, никакой!

Пришёл — помер — похоронили…

Пусть каждый сам себе кумекает: что да как…

Не правда ли?

Перевод с болгарского С. Семенова

Из якутской поэзии

Елена Слепцова-Куорсуннаах

Давно уже я не читал стихов, написанных с такой обжигающей страстностью и такой глубокой и неподдельной болью за свой народ, как у Елены Слепцовой-Куорсуннаах. Да что там — «написанных»! Скорее уж — выкрикнутых!.. «Нам дал повеление сам Чингисхан — вести сквозь столетья родов караван!» — так, перекликаясь с идеей знаменитого романа Народного писателя Якутии Николая Лугинова «По велению Чингисхана», формулирует поэтесса своё понимание бытия народа Саха в параметрах истории и вечности. Стихотворение, из которого взяты эти строки, называется «Родословная народа Саха» — это, на мой взгляд, одно из самых её жёстких и даже отчасти жестоковатых стихотворений, которое, вместе с тем, как никакое другое, раскрывает перед нами душу поэтессы и помогает понять глубинные истоки той боли за якутский народ, которая является едва ли не основным творческим импульсом её творчества. С такой болью за народ сегодня пишет, пожалуй, только Валентин Распутин, только его рассказы и повести посвящены проблемам сохранения русского народа, а

стихи Елены Слепцовой-Куорсуннаах адресованы якутам. «Я ветвь из рода боронг-саха», — конкретизирует она тот социально-родовой круг, от имени которого и для которого она ведёт свою поэтическую исповедь. «Боронг» — в переводе с якутского языка означает «тёмно-серый цвет», и этот эпитет характеризует собой не только измождённый заботами и болезнями цвет человеческого лица или блеклость выцветшей под дождями, снегами и бурями ветхой одежды, но и вообще — житейскую обездоленность, бедность и нескончаемые превратности судьбы.

Для большинства из тех, кто живёт сегодня в европейской части России и, особенно, в Москве, жизнь в Республике Саха (Якутия) ассоциируется в первую очередь с валяющимися прямо под ногами россыпями алмазов и падающими с деревьев прямо на плечи прохожих песцами и соболями. Однако жизнь там полна своих довольно тяжело решаемых проблем и трудностей, на которые накладываются ещё и суровейшие природно-климатические условия. Но и сюда, в эти естественно-заповедные места уже прорывается западная масскультура, уже протягивает свою хищную лапу международный глобализм, стирающий всякую национальную самобытность и

национальную культуру, и стремящийся превратить людей любой расы и любой национальности в безлико-однотипных потребителей соевых гамбургеров, батончиков «Сникерс» и фильмов про Терминатора.

Противостоять всему этому можно только тогда, когда в душе имеется твёрдая духовно-культурная основа, о которую, как о крепостные стены, будут разбиваться любые информационно-пропагандистские атаки глобализма. А если такой основы в народе нет? Если язык предков, который как раз и несёт в себе программу исторического бытия народа в истории и вечности, оказался почти забытым и сегодня ещё только возвращается в культуру и жизнь своего народа, если родительская вера отодвинулась на второй план, а место национальной культуры заняли всевозможные телевизионные шоу развлекательного и, в большинстве случаев, если не полупорнографического, то очень низкого по уровню своей культуры и откровенно пошлого характера?.. Тогда на помощь народу должны прийти его лучшие поэты, которые своим словом напомнят ему о тех свершениях и подвигах, которыми прославили себя в истории их предки, создавая великую национальную государствен-

ность, духовность и культуру.

И ещё одна немаловажная особенность поэзии Елены Слепцовой-Куорсуннаах. Будучи насквозь пронизанными глубокой исторической образностью и деталями прошлого, её стихи в то же время являются необычайно остросовременными и близкими именно сегодняшнему читателю, жителю Республики Саха (Якутия) XXI века и всем нам — гражданам огромной Российской Федерации, на протяжении многих столетий объединяемых великим русским языком и сотворяемой с его помощью поэзией. Сегодня в это животворящее море российской поэзии вливаются также стихи якутской поэтессы Елены Слепцовой-Куорсуннаах — и этот ручеёк, как мне кажется, вполне способен обогатить своим незамутнённым потоком застоявшиеся воды российской поэзии.

Николай Переяслов

Родословная народа Саха

С древнейших времён в наших жилах текла
горячая тюркская кровь, что влекла
нас в степи бескрайние – кости ломать
всем тем, кто топтал нашу Родину-мать.

В народе якутском и малый, и стар
был духом сильнее проклятий татар.
Нам дал повеление сам Чингисхан —
вести сквозь столетья родов караван!

Мы резали жилы и рвали кадык
народам, что в нас не признали владык.
Никто нам не мог быть преградой: нас – тьмы!
И чёрная кровь нам пьянила умы.

Копытами в землю, как в бубен, стуча,
военные кличи до неба крича,
мы мчались по миру лавиной сплошной
с культурой богаче, чем царской мош-

ной.

Мы пили свободу, как пьют молоко,
слагая бессмертную песнь Олонхо,
оставлен наш след среди камня и мха —
вот срез родословной народа Саха!..

Из рода боронг-саха

Я ветвь из рода боронг-саха́.
Моя одежда – бобров меха,
что стольких предков собою грела
да за столетья вконец истлела.

Я ветвь из рода боронг-саха,
что остаётся без языка.
Моё жилище гниёт, ветшая.
А здесь жила ведь семья большая!

Я ветвь из рода боронг-саха,
чья слава прошлая – высока.
Здесь конь мой верный взлетал к звезде!
(Теперь – и кости, не знаю, где…)

Я ветвь из рода боронг-саха,
о нём мне душу гнетёт тоска.
О нём мне слёзы глаза прожгли —
неужто сроки его прошли?..

Сон

Приходит ночь
и с ней приходит сон,
и в странный узел
мысли заплетает.
С каких созвездий
к нам нисходит он?
Кто нам виденья эти
посылает?
Мы днём сильны.
В нас дышат ум и мощь.
Иной, играя, лошадь поднимает.
Но лишь на землю прилетает ночь —
как сон наш мир мгновенно подменяет.

Идут на нас видения волной.
Чужая жизнь вползает в наши души.
Ночь растворяет опыт наш дневной,
чтоб наши мысли стали непослушны.

Что есть наш сон – космическая

тьма?

Что есть наш сон – изнанка нашей жизни?

Что есть наш сон – смущение ума?

Что есть наш сон – тревога по Отчизне?..

Мне никогда сей тайны не узнать.

И, мучась в ней, как в бесконечном иге,

я каждый вечер буду припадать

к загадке сна —

как к не прочтённой книге.

Весенний ветер

Вот и настала

для вольного ветра пора!

Тесно ему сквозняком пробираться по дырам.

Крылья его молодые гуляют над миром,

старую зиму стараясь прогнать со двора.

В шею её!

Пусть на север свой дальний идёт!

В шею гони её вон с разухабистым свистом!

Пусть, словно ведьма, уносится сквозь дымоход

и исчезает в тумане холодном и мглистом.

Ты ж, озоруя, промчись через стылую рань —

где-то за ней заплутала весна в косогорах.

Ты, как лошадку, её углядев, зааркань
да поскорей приведи её в наши просторы.

Вот она, рядом уж – ветер стал нежен и свеж,
солнца лучи, словно косы льняные, повисли,
воздух – как хлеб, хоть бери, на куски его режь,
и всё светлее душа,
и всё радостней мысли…

Однажды ночью

В поту холодном вскинулась в ночи:
«О, сердце, сердце, тише, не стучи!..» —
едва поймала крик свой на губах.
Душа – в смятенье.
Вижу дрожь в руках.

Сижу в постели.
Темнота кругом.
В глазах стоит испуг.
А в горле – ком.
Свой сон понять пытаюсь я с трудом.
Я увидала в нём родимый дом.

Стою я рядом, на клочке земли,
а надо мною – тучи-корабли.
Одна из них – черна, как чёрный вождь,
спустилась ниже – и ударил дождь.

Он чёрным был.
Он напугал меня.
Он заслонил собой все краски дня.

И, всё сковав во мгле, из чёрных туч
вдруг выпал бубен – грозен и могуч.

Под чёрный дождь тот бубен поднырнул —
и мир наполнил страшный гром и гул,
на этот гул мой встрепенулся взор —
и мне открылся времени простор.

И мне открылась в небе без труда
моих погибших предков череда —
они к костру сходились все гурьбой
и в нём искали что-то пред собой.

Мне любопытно стало, и сквозь страх
я потянулась к пламени костра,
чтобы увидеть, что там в нём лежит,
что так погибших предков ворожит.

Но в это время лопнул звуков вал
и тот огромный бубен разорвал
круг тёмной кожи – озеру сродни,
что натянули боги в оны дни.

И чёрный глаз закрыл весь небосвод.
А вслед за ним – возник огромный рот.

И странный хохот оглушил меня,
и чей-то голос прозвучал, звеня:

«Ну, что ты бьёшься?
Что ты рвёшься в высь?
Всё небо – в дырах.
Так остановись!
Ты видишь этот чёрно-водный дождь?
Он всех найдёт!
И ты в нём – пропадёшь!

Одно спасенье – быстрым ветром стать
и книгу дней назад перелистать,
помочь погибшим в мире не бродить,
всех не пришедших в белый свет – родить…»

И голос – смолк.
И всё сошло на нет.
И надо мной разлился тихий свет.
И сна остатки смыло белым днём…
Так почему ж я думаю о нём?..

Я вернусь

Я ещё раз вернусь в этот мир,
чтоб, пройдя сквозь кровавые роды,
сочинить о Земле новый миф,
что собою возвысит народы.

Я ещё раз явлюсь в этот свет,
в струях ливня запев, словно песня,
чтобы сблизить закат и рассвет
и долины поднять к поднебесью.

Я шагну в затухающий день,
чтобы боль, что засела в народе,
отвести от него, словно тень,
и наметить дорогу —
к свободе...

Перевод Н. Переяслова

Из грузинской поэзии

Нико Гомелаури
«С кем в аду окажусь? – Будет враг ли мне, друг ли?..»

С кем в аду окажусь? – Будет враг ли мне, друг ли?

Вместе с кем подметать буду адские угли?

Музыканты, актеры, их музы и феи

Лживый занавес жизни сорвут, не жалея!

Вот когда здесь начнутся игра и веселье!

Без цензуры писать – выпив адское зелье

И сгорая, смеяться над тленом и скверной...

Как в раю в эту ночь заскучают, наверно...

«Десять секунд, как с тобой повстречался…»

Десять секунд, как с тобой повстречался,

Девять секунд, как лицом посветлел я,

Восемь секунд, как почувствовал тело,

Семь, как проник в тебя, влился, остался.

Шесть – долгих вечных секунд на мученье,

Пять – и рождается стихотворенье.

Вот за четыре секунды простился.

За три – заплакал и перекрестился.

За две – удар раздается сердечный.

Хватит одной, чтобы сердце разбил.

Десять секунд пронеслось после встречи,

Вечность уже – как тебя полюбил.

«„Я“ мое второе…»

«Я» мое второе
гонится за мною —
я ругаюсь, плачу,
но нельзя иначе.

Вот над головою,
как стервятник вьется —
не дает покоя,
в руки не дается.

Ведь беду накличет!
Как унять его мне?
О своем двуличье
постоянно помню.

Строчки сочиняет,
не спросив совета.
Мне назло меняет
все мои ответы.

Злюсь, бешусь, немею —
Как мы не похожи!

Кто из нас главнее?
Искреннее кто же?

«Не осталось сердца, почек…»

Не осталось сердца, почек,
Легких – все равно борюсь,
Выдыхая правду строчек,
Горьковатую на вкус.
Но в глаза взглянувши Нине,
Словно вижу свет в окне —
Ведь играл же Паганини
На единственной струне.

«Если дали мяч, то нету поля…»

Если дали мяч, то нету поля.
Если в лес иду – капкан стоит.
Захотел удить – нет рыбы в море.
И чужой из зеркала глядит.

Пули есть, но нет ружья, ребята.
Есть перо – ни строчки не пишу.

Кошелек есть – денег не богато.
Есть машина – только не вожу.

От кошмара пробужусь во мраке —
Сломанные ходики тихи.
Здесь меня не узнают собаки,
Женщины не чувствуют стихи.

Навсегда потерян ключ от дома,
У меня внутри погашен свет:
Страшная пожизненная кома —
Библия со мной, но веры нет.

Переводы с грузинского Е. Исаевой

Из немецкой поэзии

Эрих Мария Ремарк
Он погиб под Можайском

Он погиб под Можайском. Ночью.

Все вокруг было белым от стужи и снега.

И как только он умер, он был скован морозом,

сразу, как только умер.

Оледеневший, тяжелый,

он в снег уходил беззвучно,

каждый день понемногу

все глубже,

а снег все сыпал и сыпал…

Часы на его руке прожили на день дольше,

остановились равно в семь тридцать,

и было все также бело на равнине

в декабре в январе в феврале,

и беззвучно над ним скользили

по трехметровому снегу

лыжи врагов в направленье Смоленска...

Потом зарядили метели, и март наступил,

и повеяло теплым ветром, и расплавился снег

и он всплыл из белой своей могилы,

и, скатившись с остатков сугроба, словно с грязного облака,

в первый раз коснулся земли.

А снег все таял и таял,

и раны его открылись,

и начали кровоточить,

не сильно, как если бы он лишь сейчас

стал действительно умирать...

Он спал на лугу.

Рядом винтовка и шлем.

Он жил теперь жизнью призрака,

но рос, распухал, шевелился,

словно во сне неспокойном

все еще видел последний бой.

Иногда он вскидывал руку с жирной лос-

нящейся кожей,

черные губы его дрожали,

и из нутра вырывался стон зловонного тленья.

Но вскоре он все же умер третьей своею смертью,

и скукожился весь в жалкой своей одежде,

и прижался к земле,

и лицо его было покойным и отрешенным.

А в недрах земли под ним зарождался таинственный шум весны.

Поле боя в луг превращалось, воды текли, корни крепли,

напирали ростки растений, пробивали твердую корку земли,

но сквозь размякшую ткань шинели проклюнуться не смогли —

пытались его приподнять,

но было темно под шинелью,

и они задохнулись и умерли вместе с ним,

а вокруг цвели подснежники и анемоны.

Началась жизнь червей и жучков,

Они были подобно лисицам, пред которыми вдруг возник

из тающих льдов мамонт – пища на целую жизнь…

Горный рудник мяса.

И земля начала вбирать

в себя Иоганна Шмидта из 3-ей роты 152-го полка.

Так он понемногу переселялся к корням,

дикие кролики прыгали через него,

восседали бабочки на зубах,

совы ночью над ним летали…

Никто его не нашел.

Маленький круглый железный жетон —

все что от него осталось —

был найден в 2022 году,

когда здесь строили спортплощадку

для слепых детей, а до этого

дом стоял, и в нем жили и умирали люди.

Рабочие выбросили жетон —

ненужную заржавленную железку.

Два года понадобилось на то,

чтобы он исчез навсегда,

он был последним из павших,

семь других залегали глубже и истлели несколько раньше.

Лишь череп кое-какое время еще парил над землей,

ростки юной вишни проросли сквозь его глаза,

и вишня его подняла вместе с собою ввысь,

а когда расцвела,

череп глядел сквозь цветущие ветви в небо,

череп без подбородка,

что отвалился и лежал на земле отдельно.

Какое-то время в Гиссене

о нем горевали, но вскоре

забыли о нем, потому что
настали тяжелые времена.
Лишь мать иногда говорила,
что ему повезло не дожить
до жизни, наставшей после…
Но это она только так говорила,
она, его пережившая
на семь лет.

Перевод с немецкого В. Вебера

Из немецкой прозы

Зигфрид Ленд
Как у Гоголя

Нужно сказать, я уже лет восемь знаю эту площадь, запутанный транспортный узел, куда стекаются трамваи, автобусы, электрички, чтобы обменяться своим содержимым. Едва раскрываются с шипением двери, всё срывается с места, смешивается, переплетается, перепутывается, — будто столкнулись полки безоружных противников; людские потоки движутся так уверенно и бесстрашно, каждый в этой массе так бесцеремонно прокладывает себе дорогу, что лучше затормозить и подождать, пока толпа рассосётся, пусть даже на светофоре зелёный свет. Да если бы только эта река с подпрыгивающими школьными ранцами, с раскачивающимися портфелями, если бы только эта угрюмая утренняя процессия — за ней ещё можно уследить, — но здесь, где по разветвленной дельте улиц протекает множество машин, жди неожиданностей, будь готов к внезапно возникающим перед тобою разного рода юрким одиночкам, что вдруг выпрыгивают из-за установленных вдоль тротуаров легковых

автомобилей и стремительным рывком пересекают улицу.

Все это мне знакомо. Ведь в течение восьми лет сам я принадлежал к этой массе. Не терпящая ни малейшей заминки толпа несла меня от электрички к автобусу, довозившему прямо до школы; я сам был частью беспощадной толпы.

Но это знание и опыт мне не помогли, как не помогли бы и тому, кто двадцать лет просидел за рулем без аварий. Того, что случилось, было невозможно избежать хотя бы в силу статистики и уж никак нельзя было отнести за счет моей неопытности как водителя или объяснить тем, что автомобиль, на котором я всего лишь неделю езжу на работу в школу, — моя первый и к тому подержанный.

Хотя утро не предвещало ничего плохого или значительного, и не было никаких причин соблюдать особую осторожность (мой рабочий день начинался с двух уроков географии), я, приближаясь к площади, заранее сбавил газ и даже не увеличил скорость, когда загорелся зеленый свет. Он слегка замерцал, — казалось, светофор подмигивает мне, советуя миновать перекрёсток, прежде чем распахнутся двери двух автобусов, как раз в этот момент подъехавших к остановке

на той стороне улицы. Булыжная мостовая была покрыта снегом, под действием соли превращавшегося в грязную жижу; скорость не превышала и тридцати, и я не выпускал из поля зрения автобусы, из которых, как по сигналу, через миг вывалится толпа.

Скорее всего, он вышел из туннеля, ведущего к электричке, и тут же увидел номер своего автобуса, на который он, как и все, рассчитавшие время своей утренней поездки до секунды, хотел попасть во что бы то ни стало.

Вначале я почувствовал толчок. Руль выбило. Затем я увидел его, ничком лежавшего на капоте: лицо под козырьком кепки искажено, руки тянутся к ветровому стеклу в поисках опоры. Он наскочил на машину с правой стороны сразу за светофором; я затормозил и увидел, как он завалился влево и скатился на дорогу. Всюду эти запреты останавливаться. Всюду эти запреты, поэтому я включил задний ход и отъехал на несколько метров. Поставил машину на ручной тормоз и вышел. Где же он? Вот там у бровки. Схватясь за оградительную цепочку, скрестив руки, он пытался приподняться — тщедушный человек в поношенном пальто, легкий как перышко. Вокруг стояли прохожие, пытались ему

помочь и уже были настроены враждебно ко мне: для них вопроса, кто виноват, не существовало. На смуглом лице пострадавшего было больше страха, чем страдания; когда я подходил к нему, он смотрел на меня с опаской и насильной улыбкой старался успокоить прохожих: ничего, мол, не произошло, не стоит, мол, обо всем этом и говорить. Я перевел взгляд на автомобиль, на правом крыле была яйцеобразная вмятина довольно правильной формы, будто от удара дубинки; там, где лак отошел, прицепились кусочки ткани, капот, на котором тоже была вмятина, раскрылся, стеклоочиститель сломался. В то время как я оценивал повреждения, он наблюдал за мной, держась обеими руками за цепочку, то и дело оборачиваясь на отъезжающие автобусы.

Ссадины на лбу и на запястье — ничего другого я, подойдя к нему, не заметил. Он взглянул на меня с улыбкой, в ней было признание во всем: в неосторожности, в спешке, в желании не придавать значения последствиям. Он словно старался убедить меня, что ничего особенного не случилось. Поочередно приподнимал ноги в обтрепанных узких штанинах, крутил головой, сгибал для убедительности руку в локте: посмотри, разве не все в порядке? Я спросил, почему он

побежал на красный, разве он не видел приближающейся машины, — он лишь сожалеюще и виновато пожал плечами: он не понимал меня; с испуганным выражением лица повторяя одну и ту же фразу, он напряженным жестом показывал в сторону железнодорожной насыпи; слова были турецкими. Я понял это по интонации. Я догадался о его желании удрать и понимал, что ему мешает осуществить это, — он не решался показать или хотя бы сознаться в том, что ему больно. Страдал также от сочувствия и любопытства прохожих, понимал, что они обвиняют меня. «К доктору, — сказал я, — сейчас я отвезу вас к доктору, к врачу».

О, каким легким он оказался, когда, положив себе на плечо его руку, я подхватил его и повел к машине! И с каким беспокойством поглядывал он при этом на крыло и радиатор! В то время как стоявшие вокруг объясняли новоприбывшим прохожим, что видели и слышали, я водрузил его на заднее сидение, усадил полулежа, ободряюще кивнул и поехал по направлению к школе. Недалеко от школы жили или занимались частной практикой врачи. Я вспомнил о белых эмалированных табличках перед палисадниками.

Я наблюдал за ним в стекле заднего вида, он

закрыл глаза, губы дрожали, от уха вниз стекала тонкая струйка крови. Обеими руками он оперся о спинку переднего сидения и приподнялся, — конечно же, не для того, чтобы легче переносить боль, — он что-то искал в многочисленных своих карманах. Затем извлек оттуда листок бумаги, оказавшимся голубым конвертом, и умоляюще протянул его мне: «Вот, вот, адрес». Он выпрямился, наклонился ко мне через сидение и сдавленным голосом, настойчиво, с непривычным ударением произнес: «Лигнигтцершрассе».

Для него сейчас, наверное, не было ничего важнее на свете, как убедить меня. Страх всё явственней отражался на его лице.

«Не надо доктора, надо Лигнигтцершрассе», — сказал он, помахивая голубым конвертом. Мы подъехали к стоянке такси поблизости от школы, я остановился, показал ему знаками подождать, пока я ненадолго отлучусь; затем подошел к таксистам и справился у них, где находится улица Лигнигтцершрассе. Те сказали, что есть две улицы с таким названием, но, разумеется, раз уж я здесь, то, видно, хочу попасть на ближайшую из двух, и описали путь, которым ездят сами — мимо больницы, через туннель, до самого края заводского района. Я поблагодарил, зашел

в телефонную будку и набрал номер школы. Мои занятия давно должны были начаться, и никто не снимал трубку. Я позвонил домой и на удивленный голос жены сказал: «Не пугайся, у меня была авария». Она спросила: «Ребенок?» — «Иностранец, — ответил я торопливо, — похоже, иностранный рабочий, я должен его отвезти. Пожалуйста, сообщи в школу». Напоследок я еще раз набрал номер школы. Теперь было занято.

Я вернулся к машине. Перед ней стояли два таксиста. Повреждения дали им повод для спокойной беседы об авариях, случавшихся с ними, при этом в своих рассказах они старались превзойти друг друга. В машине никого не оказалось. Я наклонился над задним сидением и даже похлопал по нему. Водители ничего не приметили, но допускали, что он прошел вперед и, может, уехал в первом из стоявших в очереди такси. Южный тип, в кепке, к тому же пораненный — такого определённо запомнили бы. Они полюбопытствовали, где это меня так угораздило, я рассказал, и оба оценили мои убытки, в лучшем случае, в восемьсот марок.

Я медленно поехал на Лигнигтцершрассе, мимо больницы через туннель к заводскому району. Небольшой завод по производству проволоки,

территория обнесена металлической сеткой. Тяжелые прессы плющат металлолом — разбитые автомобили. Я ехал мимо мрачных корпусов, называемых ремонтными мастерскими, мимо экспедиционных контор и занесенных снегом складских площадок, — нигде ни единого человеческого следа.

Лигнигтцершрассе, казалось, вся состояла из одного лишь дощатого забора, сплошь оклеенного плакатами. Он отгораживал от дороги высокие, словно застывшие желтые краны; ни одного жилого дома, в глубине — здание фабрики: дверей нет, окна разбиты, черные языки копоти напоминают о произошедшем здесь когда-то пожаре. Сквозь дыру в заборе я заметил жилой фургон с ушедшими в землю колесами. Остановил машину и пошел туда по грязному снегу; никого кругом. На окнах занавески, на ступеньках приставной лесенки следы от соли, из жестяной трубы на крыше валит дым.

Вероятно, я бы обошел фургон и удалился прочь, но вдруг серая занавеска шевельнулась, и я увидел кольцо на пальце, поправлявшем её. Поднявшись до средней ступеньки, я постучал. За дверью торопливый обмен словами с множеством шипящих звуков, затем дверь открылась,

и на придерживающей её руке прямо перед собой я увидел перстень с печаткой. По мере того как я поднимал глаза, передо мной угрожающе вырастал человек: узкие отглаженные брюки, короткое пальто с меховым воротником, в верхнем кармане пиджака — сверкающий треугольник шёлкового платка. На ломаном немецком он вежливо спросил, кто мне нужен, и не успел он до конца произнести свой вопрос, как, взглянув в открытую дверь, я сразу же узнал лежавшего на нижней лежанке двухъярусной кровати и указал на него рукой: «Вот он, он мне нужен». Меня пригласили войти. Четыре постели, умывальник, на голых деревянных стенах прикнопленные открытки, семейные снимки, газетные фотографии — это сразу бросилось в глаза; немного погодя, уже после того как крикливо одетый хозяин предложил мне табуретку, я увидел под койками картонные чемоданы и коробки.

Пострадавший лежал, вытянувшись, под одеялом, на котором красными буквами было написано: «Отель». Темные глаза блестели в полумраке помещения. Он равнодушно ответил на мое приветствие, никаких признаков, что узнает меня, ни страха, ни любопытства.

«С господином Юцкеком произошел несчаст-

ный случай», — сказал мужчина с перстнем. Я кивнул в ответ и после небольшой паузы спросил, не отвезти ли его к врачу. Мужчина с перстнем отрицательно покачал головой: нет необходимости, господин Юцкек уже два дня находится под самым лучшим медицинским наблюдением, то есть с тех пор, как произошел несчастный случай на стройке. Я сказал, что приехал по поводу аварии, произошедшей сегодня утром, после чего владелец перстня резко повернулся к пострадавшему и что-то спросил на его родном языке; пострадавший тихо покачал головой: об аварии сегодня ему, дескать, ничего не известно. Я спокойно сказал: дело было вот как, этот человек побежал на красный свет, я задел его радиатором и сбил с ног, машина здесь, на дороге, она повреждена, вы можете взглянуть на нее. И опять мужчина, раздраженный и недовольный, с деланной аффектацией обратился к пострадавшему на его родном языке, одну из фраз он произнес шепотом и настойчиво повторил её. Переданное потом мне выглядело в сокращенном виде так: господин Юцкек родом из Турции, господин Юцкек иностранный рабочий, с господином Юцкеком два дня назад произошел несчастный случай, ни о каком автомобиле ему неизвестно.

Я указал на пострадавшего и попросил осведомиться, почему он сбежал. Я же сам хотел привезти его сюда, на Лигнигтцершрассе. Опять они затеяли игру в вопросы и ответы, из которой ничего нельзя было понять; и когда пострадавший измученно взглянул на меня и шевельнул губами, мужчина с перстнем объявил: «Господин Юцкек оставался здесь с того самого дня, когда произошел несчастный случай на стройке, ему необходим постельный режим». Я спросил: «Где тот голубой конверт, который вы мне показывали в машине?» Он выслушал перевод, я не думал, что моя просьба по-турецки может звучать так длинно и что она к тому же вызовет полемику. С торжествующим сожалением мне было сообщено, что у господина Юцкека никогда не было голубого конверта.

И тут во мне появилась неуверенность, эта хорошо знакомая неуверенность, как бывало в классе, когда приходилось брать на себя риск твердого и окончательного решения; убежденный, что на нём до сих пор то самое поношенное пальто, я подошел к койке и бесцеремонно приподнял одеяло. Он лежал передо мной в нижнем белье. Пряча и сжимая в руках что-то такое, с чем он, очевидно, ни за что бы на свете не пожелал

бы расстаться.

Уже стоя на ступеньках, я попросил назвать мне номер, под которым значились жилые фургоны. Мужчина с перстнем засмеялся и, оборотясь к пострадавшему, крикнул ему что-то прозвучавшее приказом. Когда он вновь повернулся ко мне и сказал: «От сорокового до пятьдесят второго», — и при этом с довольным видом развел руками, — я впервые почувствовал его откровенное недоверие. «Много адреса, — проговорил он, — много, почти пятьсот метров». Я спросил, проживает ли господин Юцкек здесь постоянно. Он отвечал намеками, скрывая свою подозрительность показной оживленностью: «Работа, много работы, всюду много работы. Сегодня господин Юцкек здесь, завтра господин Юцкек там», — и показал жестами в разные стороны.

Хотя я попрощался, он последовал за мной. Молча проводив меня до дороги, он подошел к машине, провел рукой по вмятинам, образовавшимся от соприкосновения с легким телом Юцкека, поднял капот, удостоверился, что замок капота вышел из строя. Стало ему от этого легче? У меня было впечатление, что ему, которому вся история должна бы быть безразлична, после осмотра поврежденного автомобиля полегчало.

Он задумчиво потер ладонью мясистый подбородок, затем широким большим пальцем провел по низко спускающимся бачкам. Не собираюсь ли я обратиться в страховое общество? Я дал ему понять, что мне ничего другого, наверное, не остаётся, после чего он во второй раз начал обстоятельно осматривать повреждения и, к моему удивлению, назвал ориентировочную сумму, размер которой был лишь незначительно ниже названной таксистами: семьсот пятьдесят. Когда, сев в машину, я опустил оконное стекло, он ухмыльнулся, заговорчески мне подмигнул, дождался, пока я включу мотор, и вдруг протянул мне руку, сжатую в кулак. «На ремонт, сказал он. — Господину Юцкеку нужен сейчас покой».

Я хотел выйти, но он, подняв воротник, уже уходил прочь, ни за что на свете не желая обернуться, словно сбросил с плеч тяжёлый и страшный груз. После того как он исчез за забором, я в своей руке разглядел деньги, сосчитал их — сумма была в точности такой, какую он назвал, — помедлил, ожидая чего-то, хотя и сам не знал чего, и, прежде чем отправиться в школу, сдал машину в ремонт.

В учительской уже, разумеется, сидел Зеевальд, словно ждал меня, Зеевальд с красным лицом,

с непомерным животом, который, возможно, доходил бы ему до коленей, не удерживай он его специальными широкими ремнями. «Уже слыхал, — сказал он, — давай-ка расскажи». Он предложил мне чаю из своего термоса, вернее, навязал с такой настойчивостью, будто хотел завоевать право узнать каждую подробность происшествия — и это Зеевальд, при любой возможности превозносящий свой собственный опыт, приобретая который, он понял, что ничего в мире не ново. Всё, что с нами случается или происходит, случалось или происходило с другими, набор наших переживаний и конфликтов раз и навсегда исчерпан, любая ситуация, которая кажется необычной, на поверку не более чем вторая заварка.

Я пил его переслащённый чай и испугался, увидев, как сильно дрожит моя рука, — не столько когда брал чашку, сколько когда ставил её на стол. Итак, подъезд к площади, авария, бегство пострадавшего, затем встреча в фургоне — на лице Зеевальда всё явственнее появлялась характерная улыбка, высокомерная, не терпящая возражений улыбка. Она вызвала во мне раздражение и заставила пожалеть, что я всё ему выложил. Это был мой несчастный случай, мои

переживания, и я, если на то пошло, имел право по-своему относиться к происшедшему и, главное, не столь уверенно истолковывать эпизод в фургоне. Для него же, Зеевальда, все уже было ясно. «Как у Гоголя, — сказал он. — Разве ты не заметил этого, дорогой, — в точности, как у Гоголя». Я был рад, что прозвенел звонок, позвавший меня в класс, и мне не пришлось выслушивать его объяснение, как мой случай выглядел в подлиннике.

Я никогда не расскажу ему, что и таксисты, и мужчина с перстнем ошиблись, назвав слишком высокую цену. Оказалось, вмятины можно было выпрямить изнутри. У меня осталось больше двухсот марок. Я никогда не расскажу Зеевальду, что ещё раз посетил Лигнигтцершрассе, чтобы отдать остаток денег, что было это под вечер и что шёл снег.

Окна фургона были тёмными, жильё выглядело покинутым или, по крайней мере, закрытым, но на мой несколько раз повторенный стук дверь открылась, и я опять увидел того самого мужчину с красным платком в руке, которым он, видимо, обмахивался. Прямо на кроватях сидело, по меньшей мере, шестеро, коротко постриженные, с пугливым выражением лица, попытавшиеся,

когда я взглянул на них, спрятать стаканы с красным вином. Они сидели передо мной, словно их застали врасплох, а некоторые — словно их в чем-то изобличили, все на одно лицо, ни тени страха в глазах.

Я сказал, что хотел бы видеть господина Юцкека. Мужчина с перстнем не знает никакого Юцкека, никогда не видел его, никогда не ухаживал за ним. Тут я понял, что он не вспомнит и меня, и, когда протянул ему оставшиеся у меня деньги, увидел на его лице выражение мрачной беспомощности: ему очень жаль, но не может же он брать денег, ему не принадлежавших. Я взглянул на сидевших в молчании мужчин, казалось, все они без исключения похожи на Юцкека, и уверен, приди я на следующий день, — они стали бы отрицать, что когда-нибудь видели меня. Рядом стояли несколько таких же жилых фургонов: может быть, я ошибся фургоном? Одно знаю точно: уходя, я положил деньги на откидной столик.

1973

Перевод с немецкого В. Вебера

Из итальянской поэзии

Аттилио Бертолуччи
Ветер

Точно волк, ветер
спускается с гор в долину,
обрушивается на пшеничные поля,
и где бы ни промчался, царит смятение.

Просвистит в утреннем свете,
озарит дома и горизонты,
замутит воду в источниках,
загоняя мужчин в укрытия.

Затем утомится, – и неожиданно
всеми овладевает безмятежность, как после любви.

Дайте мне истечь кровью

Из сборника «Зимний путь»

«Оставьте меня на дороге, истекающим кровью…»

Оставьте меня на дороге, истекающим кровью,
пыль на пыльной траве,
сердце пульсирует в своем рабочем ритме,
зелень скрывает дома и ветки

каштанов, молодые ветки, две птицы
самец и самочка, улетели,
ученица с болью силится
проследить полет любви,

одиночеству воздух, во́ды Братики[4] *не*
помогают, если одним движением
руки вскрыть раны, жидкость
ликера ужасает своим видом,

за углом пациента ждет
усиливающийся южный ветер, он делает вид,
что только теперь услышал мой зов,

---

[4] Примечания: 4
Братика — местность в Черногории.

вижу его, приходящим из одного дня

тихого сентября, стол накрыт

дети устали ждать, дети,

молодежь цвета молодежи,

усиливается свет, тот, что ветви делал зелеными.

Понедельник

Неделя начинается синим и белым

движением и плотными тучами и летящими снежинками

словами выметенными ветром пусть себе

падут в переулках чтобы их подмели вместе с

листьями

и так много бесполезной любви в пределах зимы

разве что пусть горит с коробками и ящиками

которые раскрывают с радостью – а в них

искрится потемневший виноград
и дым поторапливает вечер

и возраст и ты мешаешь слезы с вином которое всегда утешало
кто бы ни прибывал в эти железные ворота дня
и земного города жадного сейчас

до объятий на грязных лавочках
а шепотом произнесенные «прощай» обещают ночь
с которой каждому придется встретиться
в одиночку и молитва
замирает голодной у долгожданной кровати

Годы

Утро наших потерянных лет
и столики в тени осеннего солнца,
товарищи, что ушли и возвратились, мои одноклассники,
которые не вернулись, я думал о них

всех с радостью.

Потому что в тот день в сентябре солнце светит
хорошо, подобно тому, как в то время,
что в витринах часовых магазинов, то время
теперь идет в мирное время,

Толпа на тротуарах из золота та же,
только серый и сиреневый
превращаются в зеленый и красный; что касается моды,
в провинции темп медленный и беззаботный.

Октябрь

Из стены сада желтой сенью
выступают деревья.

Время от времени на тротуар
падает лист, серый и мокрый.

Восторг: в облаках появляется
белое солнце, теплое и далекое, как

святой.

Тишина – это день, все трансформации будут ночью,
как это бывает с рыбой в воде.

Сентябрь

Чистое небо сентября,
освещенные и терпеливые
лиственные деревья,
на фоне красной черепицы.

Свежая трава,
над которой летают бабочки,
как мысли о любви
в твоих глазах.

День проходит
без ностальгии,
поющий день в сентябре,
он безмятежно отражает тебя в моем сердце.

Ни один из вас

Почему ни один из вас, никто приезжающий с Севера

не приносит мне последние вести из дому,

о том, какой была погода в Парме перед тем, как поезд отошел?

В середине утра, в десять,

крошечная толпа торговцев с пассажирского транзита,

в спешке пересадки, в тайне

одиночества короткой поездки по деревням,

вытекает струйкой, более слабой, чем здешний свет;

слабы здешние солнечные потоки,

когда солнце наконец-то взойдет,

нежно-золотистые листья с равнины,

слабые, униженные, заиграют ли его радугой?

Перевод с итальянского И. Гончаровой

Из немецкой поэзии

Райнер Мария Рильке
В старом доме

Я в старом доме; тишина.
Всю целиком, как на ладони,
я вижу Прагу в медальоне
распахнутого вдаль окна.

Закат давно уже погас,
лишь вдалеке, мерцая скупо,
вздымает свой волшебный купол
загадочный ***Sankt Nikolas****.*

Звезда над городом горит,
как будто свет зажегся в храме,
*как будто в старом доме «****Amen****»*
мне тихий голос говорит.

На Малой Стра́не

В каждом каменном изгибе
древних башен – боль и трепет, —
узкий двор себе на гибель

навсегда забыл о небе.

Лестничных амуров сразу
узнаёшь по жалким позам;
высоко на крышах в вазах
лепестки роняют розы.

Есть калитка там. Кто знает,
что за слово удивленно
солнце по складам читает
там, где слезы льет мадонна?

Дворянский дом

Дворянский дом с причудливым фронтоном,
весь в готике, как шрифт на обелиске.
Пустынный двор, и в нем – булыжник склизкий,
и лампа тусклая – в стекле оконном.

Сизоголовый голубь клювом старым
стучит в окно, как дятел или плотник;
здесь ласточки гнездятся в подворот-

нях:
здесь – колдовство, здесь – колдовские чары.

У Святого Вита

Люблю собора мрачный вид,
дремучий лес его фронтона,
здесь каждое окно, колонна
о сокровенном говорит.

Поблизости роскошный дом,
эротика – его основа,
а рядом готика сурово
молчит и крестится с трудом.

Теперь понятен анекдот;
в сравнении не вижу фальши:
старик аббат, за ним, чуть дальше —
красотка медленно идет.

Вигилии

I

На землю тихо сходит сон,
лишь я не сплю один;
вдоль тихих улиц бродит он,
вдоль гаснущих витрин.

Блаженная вигилия!
Ночь ходит здесь и там;
луна, ночная лилия,
плывет по небесам.

II

Когда б я мог соединить их,
небесный свет и свет окна;
в серебряных холодных нитях
опять запуталась луна.

Всё, как бы скрыто поволокой;
там, у вселенной на краю,
лишь тусклый свет звезды далекой
оправдывает жизнь мою.

У капуцинов

Добрейший патер Гвардиан
мне предлагает рюмку водки,
такой, что судорога – в глотке,
глоток – и мертвый будет пьян.

Он ищет ключик от ларца
с сокровищем. Не взял ли кто-то?
Нашел! нашел! И капли пота
стекают с жирного лица.

Наполнив рюмки в третий раз,
он каламбурит: «Все мы – гости;
однажды сгинем на погосте,
но – дух! – останется от нас».

Когда наступает весна

Трава блестит под солнцем ярко;
земля весенняя согрета;
мелькнула первая карета
в аллеях парка.

И где вчера лишь ворон каркал,
один, среди морозных елей, —
сегодня птицы вдруг запели
в аллеях парка.

Весенний ветер слишком жарко
ласкает гипсовые плечи;
всё те же поцелуи, речи —
в аллеях парка.

В предместье

Старуха в черном, что жила над нами,
она мертва. – Но кто она? – Бог весть!
У нищих нет имен, а если есть —
какой в них прок? Бог с ними, с именами...

Внизу пылятся траурные дроги.
Дверь заколочена; ну что ж, пора!
Гроб с руганью выносят со двора,
едва не уронив среди дороги.

Унылый кучер трогает и, вскоре
забыв про смерть, орёт: «Черт побе-

ри!»,
как будто там лишь жалкий гроб внутри,
а не вся жизнь ее – любовь и горе.

«Здесь воздух затхл, как в комнате больного...»

Здесь воздух затхл, как в комнате больного,
где смерть исхода терпеливо ждет;
на мокрых крышах – отблеск дня иного,
как от свечи, что через миг умрет.

Есть даже в смерти некий промежуток:
вот ожил лист, и – всё, и был таков...
И как над лесом стая диких уток,
ползет по небу стая облаков.

«Ночь залегла в глубинах парка...»

Ночь залегла в глубинах парка,

и звезды кротко светят нам;
луны серебряная барка
плывет к далеким берегам.

Фонтан рассказывает сказку,
как будто грезит наяву, —
почти без звука, глухо, вязко
упало яблоко в траву.

А от холмов, где кем-то щедро
гряда дубов наклонена,
уже летит на крыльях ветра
дух виноградного вина.

«Над белым замком хлопьев хоровод...»

Над белым замком хлопьев хоровод.
В пустынных залах – леденящий холод.
Повсюду – смерть. И край стены отколот.
И снег лежит от окон до ворот.

Повсюду снег. На крыше серый лед.
То – смерть моя вдоль белых стен кра-

дется
в продрогший сад… Она еще вернется
и стрелки на часах переведет.

Осень

Листва летит с деревьев и с небес,
чтобы очнувшись на оконной раме,
пролепетать: «Не так ли будет с вами?»

Так и земля, как мотылек на пламя,
летит сквозь ночь звезде наперерез.

Вот так же падает, скрывая страх,
из рук твоих – заколка или скрепка…

И все же есть Один, кто держит крепко
паденья наши в бережных руках.

«Здесь, что ни день – один и тот же сон…»

Здесь, что ни день – один и тот же сон:

здесь дети спят, уткнувшись в звездный полог,
здесь старики, чей век – увы! – недолог,
глядят из окон строго, как с икон.

Здесь, что ни день – один и тот же сон:
вечерний звон над полем тихо льется,
и девушки, сгрудившись у колодца,
в смущеньи ждут, когда растает он.

Не туча ли закрыла небосклон?
Нет, это липа машет мне ветвями
и вдаль зовет… Так дни летят за днями,
и, что ни день – один и тот же сон.

Суровый час

Если кто-то плачет сейчас в ночи,
без причины плачет в ночи,
он плачет обо мне.

Если кто-то смеется сейчас в ночи,
без причины смеется в ночи,
он смеется надо мной.

Если кто-то вдруг заблудился в ночи,
без причины заблудился в ночи,
он идет ко мне.

Если кто-то сейчас умирает в ночи,
без причины умирает в ночи:
он смотрит на меня.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Теодор Шторм
Осень, I

Значит скоро осень, если
Птицы за море летят.
Ласточки и те исчезли.
Опустел наш старый сад.

Ветер, понимая это,
Трогает последний лист.
Что поделать, если лета
Дни так быстро пронеслись?

И уже в тумане тает
Некогда счастливый лес.
Дня надолго не хватает —
В быстрых сумерках исчез.

Только раз еще сквозь тучи
Солнечный пробьется луч;
Это Бог на всякий случай
Шлет нам радость из-за туч, —

Чтоб ее хватило на год,

Чтобы все, кому не лень,
После долгих зимних тягот
Встретили весенний день.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Альфред Лихтенштейн
Сумерки

Мальчишка, грязный с ног до головы,
Над голым деревом клочок тумана.
У неба вид, как у больной вдовы,
Когда заканчиваются румяна.

Держась за костыли, одетые в рядно,
Два жутких старца двигаются к храму.
Поэт напротив выпрыгнул в окно.
И чья-то лошадь уронила даму.

Из коридора слышен чей-то плач.
Юнец о пылкой женщине мечтает.
Угрюмый клоун надевает плащ.
Кричит ребенок, и собака лает.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Фридрих Гёльдерлин
Дубовая роща

От людей пришел я к вам, гордые дети природы!

От людей, где деревья живут в дружелюбном

пространстве,

Окруженные вечной любовью и вечной заботой.

Но вы! Вы стоите, как гордое племя Титанов,

У подножия гор, подвластны лишь солнцу и небу,

Вас вскормившему и воспитавшему вас на свободе.

Не у людей вы учились хорошим манерам,

Нет, вы уходите вверх, к облакам, ваши сильные корни

Переплетаются между собой и, как коршун добычу,

Вы когтите пространство, в то время

как шумные кроны

Тянутся ввысь и уже облаков достигают.

В каждом из вас – целый мир, вы, как звезды на небе

Сосуществуете мирно в свободном союзе.

Ах, если б только и я мог с рабством смириться —

навряд ли

Стал бы завидовать вам – скорее вернулся бы к людям.

Впрочем, довольно с меня, прочь, одинокое сердце,

Прочь от людей навсегда, – лучше в лесах затеряться!

Перевод с немецкого Б. Марковского

Христиан Моргенштерн
Парабола
1
«Ты знаком с фигурой полонеза…»

Ты знаком с фигурой полонеза,
когда пары поднимают руки,
образуя ими как бы арку?

Где, идущая последней пара,
замыкая строй, в тоннель вступает,
чтобы снова оказаться первой?

Что ж, теперь понять совсем не трудно,
почему о смене поколений
всякий раз я думаю при этом:

точно так же пара дряхлых старцев
вдруг ныряет из рядов последних,
чтобы снова всё начать сначала…

2
«Два твои зрачка взрывают полночь…»

Два твои зрачка взрывают полночь,
как глаза огромной дикой кошки,
в тишине звучит твой властный голос,
как у дикой своенравной кошки,
от твоих волос исходят искры,
как от шерсти злой, голодной кошки,
твои пальцы, словно когти кошки
гладят лоб мой нежно и коварно.
Молодая ласковая кошка,
когда тайно ты ко мне приходишь,
ночью на чердак – кого ты ищешь?
Ах, кота… Но здесь живет философ.

3
«Я из породы птиц, и потому…»

Я из породы птиц, и потому
мне близко только то, что за горами:

дорога, рассекающая тьму,
далекий лес и небо с облаками.

Летя над садом, на пустую ветку
сажусь без страха и пою без слов
простой мотив, но золотую клетку
уже готовит хитрый птицелов.

О, сколько их, волшебниц молодых,
шептало мне – так проходили годы —
«Не уходи!» – но ни одна из них
не заменила сумрачной свободы.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Германн Гессе
Без передышки

Сердце, птаха, что с тобой?
Всё твердишь свои вопросы:
Скоро ли минуют грозы?
Скоро ли придет покой?

О, я знаю: и в аду
Успокоимся едва ли,
И в раю найдем беду,
Ту, что раньше не встречали;

И опять в который раз,
Всё завертится по кругу
В шевеленье звездных масс,
В притяженье их друг к другу.

Гавот

Две скрипки в городском саду
Поют в два голоса, и пары
Кружат, как лебеди в пруду —

Всё тот же, тот же танец старый.

Ах, этот бедный старый сад,
Он знает: было всё иначе
Каких-то двадцать лет назад,
Но это ничего не значит.

На севере

Хочешь знать, о чем мечтаю?
Будто в молодости ранней
Вижу солнечную стаю
Желтых скал и белых зданий.

Белый город в дымке синей,
Город мраморных окраин,
Вдруг предстал, как на картине,
То – Флоренция, я знаю.

Там в саду, заглохшем, старом,
Где стучит от ветра ставень,
Счастье ждет меня задаром,
Что когда-то я оставил.

Элеонор

Вдруг осенью я вспомнил о тебе —
Леса стоят во тьме, сам по себе
День вдруг погас за дальними холмами.
Какой-то звук доносится с небес, —
Не ветер ли раскачивает лес
С безлиственными деревами?

Ночь подступает; стали вдруг видны
На небе звезды; бледный серп луны
Неярким светом землю озаряет
И равнодушно смотрит сверху вниз
На сонный лес и на лепной карниз,
Что плотно к крыше прилегает.

Зимой, когда за окнами темно
Становится, и снег стучит в окно,
И страшный ветер сад ночной тиранит, —
Рояль звучит, и с чудною тоской
Мне прямо в сердце льется голос твой,
И, словно нож, мне сердце ранит.

Тогда вдруг к лампе тянется рука,

Неверный свет плывет издалека,

И твой портрет в тяжелой старой раме

Грустит, как встарь, под бременем надежд —

Тогда целую край твоих одежд

И на колени падаю, как в храме.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Гюнтер Айх
Конец лета

Кто проживет без утешения деревьев?

Как хорошо, что они умирают вместе с нами!
Персики собраны, сливы меняют окраску,
меж тем, как время шумит под аркой моста.

Последним птицам я вручаю свое отчаянье.
С каким достоинством они летят.
Их треугольник
просматривается сквозь листву,
движенье крыльев обещает осень.

Это называется терпением.
Скоро и мы прочтем письмо на птичьем языке.
Под языком лежит холодный пфенниг.

Где я живу

Когда я открыл окно,

в комнату вплыли рыбы,

сельди. Казалось,

большая стая рыб проплыла мимо моего окна.

Кроме того рыбы резвились в саду под грушами.

Но, в большинстве своем,

они держались поближе к лесу,

там, где был карьер с гравием.

Это утомляло. Однако еще более досаждали

матросы

(также высоких рангов, штурмана, капитаны),

которые чуть ли не каждую секунду подходили к окну

и просили огня для своих трубок

с отвратительным табаком.

Я решил переехать.

Инвентаризация

Это – моя шапка,
это – мое пальто,
это – моя бритва
в холстяном мешке.

Консервная банка:
моя тарелка, мой кубок,
на ее блестящей жести
я нацарапал свои инициалы.

Я нацарапал их вот этим
драгоценным гвоздем,
который всегда прячу
от завистливых глаз.

В сумке для хлеба —
пара шерстяных носков
и еще кое-что, о чем
я не скажу никому,

на что я кладу по ночам
свою голову.

Папка для бумаг
лежит между мной и землей.

Графитовый стержень
мне особенно дорог:
днем он записывает стихи,
которые я придумал ночью.

Это – мой блокнот,
это – моя плащ-палатка,
это – мое полотенце,
это – моя иголка и нитки.

Оптика

Когда ослабевает зрение
мы подходим почти вплотную,
чтобы разглядеть лица друзей.

Мы надеваем очки,
пользуемся контактными линзами
и с удивлением замечаем

совсем близко
грязь

под ногтями наших врагов.

Арьергард

Вставай, вставай!
Не время рассиживаться,
известие пришло до рассвета.

Пора собираться в дорогу, как другие.
Они оставляют пустые дома и спящие улицы
под защитой луны. Разве защитит их луна?

Когда мы пишем слова – безмолвие водит нашей рукой.
Влага испаряется из каналов,
и дорожные указатели вращаются, как флюгера.

Когда мы вспоминали о дорожных знаках любви,
узнаваемой в поверхности воды и в веянье снега!

Пойдем, пока мы не слепы!

Послание дождя

Слова, обращенные ко мне,
барабанят по шиферным и по кирпичным крышам
от дождя к дождю,

волочась,
как застаревшая болезнь,
контрабандный товар,
который не хочется иметь при себе —

С той стороны окна – звучащий подоконник,
пляшущие буквы соединяются в слова,
дождь говорит
на языке, который
понятен только мне —

Пораженный, я вслушиваюсь в его бормотание,
в котором отчетливо различаю
возгласы отчаянья,
проклятья, жалобы

и бесконечные упреки.
Всё это раздражает меня,
так как я не чувствую за собой никакой вины.

Тогда я громко говорю,
что не боюсь дождя,
что мне не страшны его угрозы
и, что в скором времени
я выйду на улицу, и мы поговорим с ним начистоту.

Эй!

Где загораются огни
прохожу я никем не видимый.
Ты ничего не узнаешь обо мне из писем
и в стихах меня – нет.

В последний раз бьют часы
для вас, для всех.
Ты больше не встретишь меня,
пока я не позову.

Присутствие

В различные дни встречаемые мною
тополя Леопольдштрассе,
всегда осенние,
всегда в паутине тумана и солнца
или в паутине дождя.

Где ты, когда идешь со мной рядом?

Всё та же паутина прошлых времен
прежде и в будущем:
жизнь в пещерах,
эпоха троглодитов,
горький привкус колонн Гелиогабала
или отеля святого Морица.
Древние пещеры, бараки,
где начиналось наше счастье,
наше бедное счастье.

Пожатие твоей руки, которая мне отвечает,
архипелаг, цепь островов, наконец, песчаная отмель,

неуловимые очертания
сладости единения.

(Но ты ведь – в моей крови,
как эти камни возле садовой ограды,
как эти пожилые мужчины, отдыхающие на скамейках,
как шум трамвая, проходящего мимо,
как анемоны,
изнемогающие от тяжести капель
и влажности твоих губ —)
И снова эта паутина, которая нас опутывает,
невозможность присутствия,
умирающая любовь,
доказывающая случайность наших встреч,
поредевшая листва на тополях,
напоминающая о муниципалитете,
осень в канавах
и ответы на все вопросы любви.

Конец августа

Животами кверху плавают мертвые рыбы
между ряской и прибрежными камышами.
У ворон есть крылья, поэтому они не боятся смерти.
Порой мне кажется, что Бог
благоволит лишь к крошечной улитке.
Он мастерит ей дом. Нас он не любит.

Белые облака пыли тянутся вечером за автобусом,
везущим футбольную команду с соревнований домой.
Месяц запутался в ивовых кустах
в обнимку с вечерней звездой.
Бессмертие, ты где-то рядом, в межкрылье
летучих мышей,
в ярком свете прожекторов,
спускающихся с холма.

Предзимье

Забудь
о теплом молоке,
о первом снеге.
Формуляры не могут больше ждать.

Травяной газон – в бугорках кошачьих могил.
Моя дочь с нетерпением ждет зимы:
еще немного и она вырастет из своих коньков.
Почтовый ящик на входной двери стал вдруг
слишком велик.

По утрам я беру уроки игры на фортепьяно,
учиться музыке никогда не бывает поздно.
Улыбающийся крестьянин
идет по снегу, оставляя следы.

Рабочий кабинет

Ни одну из этих книг я уже не прочту.

Мне вспоминаются
письменный стол из бревен, оплетенных соломой,
книжные полки из необожженного кирпича.
Боль остается, даже когда образы уходят.

Я хотел бы закончить свою старость
в зеленых сумерках вина,
без разговоров. Есть из оловянных тарелок.

Взгляни на мой стол! Там, в тени —
желтеет старая карта Португалии.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Пауль Целан
Песня в пустыне

Черный венок из обугленных листьев я сплел

на окраине Акры:

там я скакал на коне и со смертью сражался на шпагах.

Из деревянной посуды пил пепел колодезный Акры,

и на восток по развалинам неба шел медленным шагом.

Просто ангелы умерли, просто Бог вдруг ослеп

в окрестностях Акры,

нет никого, кто бы сон мне вернул и покой

подарил мне.

Месяц – прекрасный цветок – он растоптан

в окрестностях Акры:

руки шипами цветут и сплетаются в

бешеном ритме.

Что ж, напоследок, склониться в поклоне, когда

они молятся в Акре…

О, как непрочна кольчуга у ночи – кровь каплет

из раны!

Брат ваш смеющийся, ангел железный из Акры,

всё еще имя твердит, и всё еще помнит тот отблеск

багряный.

Воспоминание о Франции

Повторяй за мной: небо Парижа, огромный

осенний безвременник…

Помнишь, на цветочном базаре мы покупали сердца:

они были голубыми и расцветали в воде.

Вдруг в нашей комнате закапал дождь,

пришел сосед, месье Ле Санж, печальный карлик,

мы сели играть с ним в карты, я проиграл зрачки,

ты одолжила мне волосы, я проиграл их,

он встал и вышел.

Дождь, как слуга последовал за ним.

Мы оба умерли, но мы могли дышать.

Перевод с немецкого Б. Марковского

Из немецкой прозы

Генрих Ран
Креатура

В этой безлюдной местности он находился в первый раз. Во все стороны она уходила в бесконечные дали. Там, где он стоял, земля слегка возвышалась. У подножия холма искрилась поверхность большого солёного озера, зелено-красная вода которого образовывала маленькие беззвучные волны, что накатывались на ровный песчаный грунт мелководья и исчезали. Вода и плоский песчаный берег давили на сознание безжизненностью и тишиной. Не видно никакой водной растительности, чаек, а в воде, скорее всего, нет никаких рыб и прочей живности водного мира. Совершенно чистый песчаный берег и мелководье озера похожи на края круглой тарелки с водой. Плоские спуски мелких холмов вокруг озера покрыты жёлтой высохшей травой. Только изредка на жёлтом фоне виднелись тёмно-красные, с острыми краями железорудные окаменелости. Не видно ни одной дорожки или тропинки. В общем, он здесь, кажется, был единственным живым существом во всей видимой

округе. Ему стало тревожно и даже страшно. Он уже не знал, откуда пришёл сюда и куда должен был идти. Наверное, он заблудился. Далёкий горизонт образовывал лиловый круг и невозможно было на чём-то остановить взгляд. Перед ним, насколько хватало глаз, лежала слега волнистая желто-коричневая каменная полупустыня…

Подавленный ощущением, что здесь ничего живого, кроме него, нет, он должен был убеждать себя, что он сам действительно находится здесь и что это не сон… Он смотрел на себя и не узнавал. Удивляясь, он вытягивал руки и ноги, но видел только переднюю часть тела. Тогда он попробовал повернуть голову назад, но кроме плеч ничего не увидел. Это обеспокоило его. Ещё ужаснее было то, что он не мог видеть свою голову. Только расплывающимися контурами виднелись кончик носа и верхняя губа — и больше ничего.

Как, растерянно думал он, важнейшее из моего существа — голова, остаётся для меня невидимой. Из чего я вообще смотрю? Мне кажется — из ничего! Это ужасное открытие выстрелом пронизало его воспалённый мозг, так что он почти потерял сознание. Весь дрожа, он сел на камень и лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Ему страшно захотелось увидеть себя целиком,

любым способом.

И тут мозг пронзила мысль, и он чуть не закричал: зеркало, только зеркало может мне помочь! Как он мог это забыть? Но где это зеркало? Он лихорадочно прощупал все карманы, но тщетно. Он его забыл! И тут он подумал, что вода может отразить его образ. Туда, скорее туда! Возбуждённый от нетерпения, он шагнул к воде и взглянул в её матовую зеркальную поверхность…

То, что он там увидел, должно было быть его изображением, но он не узнавал себя. Тёмная, чужая стать мерцала в мёртвой воде. Но как он мог бы себя узнать в этом изображении, если совершено забыл, как выглядел раньше. Те немногие фото, которые с него снимали, он практически не помнил, а в зеркало тоже глядел очень редко. Растерянно он ощупывал рукой своё лицо и другие части тела, которые не видел. Но это помогало мало. Напротив, он всё более ощущал себя несуществующим, абстрактным существом…

Совершенно обессиленный и бесконечно уставший, он медленно отдалился от неподвижного зеркала воды мёртвого озера. Редкое ощущение безразличия овладело им, и он медленно опустился к земле и, лёжа на спине, уставился в безоблачное небо…

Сколько времени он в полубеспамятстве так лежал, ему не было известно. Очнулся от какого-то металлического звука. Он приподнялся и огляделся вокруг. Казалось, что ничего не изменилось. Только редкие шорохи слышались с другой стороны близкого холма. Нерешительно он двинулся в сторону шорохов и тут же инстинктивно оттянулся назад…

Масса изуродованных блестящих деталей неизвестного механизма лежала на мёртвом грунте. Отсюда и шли эти звуки. Он осторожно придвинулся к скрипящим звукам, чтобы получше разглядеть эти странные детали.

Он взял в руки изуродованный кусок и, не ощутив никакого веса, тут же бросил его. Но кусок детали не упал на землю подобно камню, а полетел в воздух наподобие птичьего пера. Он поймал парящую в воздухе странную деталь и попытался её согнуть, но никакими усилиями это не удавалось. Деталь оказалась невероятно твёрдой, так что нож не оставлял на её поверхности ни малейшей царапины. Удивлённый, он отложил эту странную штуку в сторону. «Что же это такое?» — спрашивал он себя. С удивлением он взглянул на кучу таких странных вещей и подумал, что это всё сущее. Но тогда, рассудил он,

если самого себя нельзя зримо воспринять, как тогда утверждать, что перед ним не может быть такого, чего нельзя увидеть…

Он ещё раз сконцентрировал свой взгляд на куче хаотически нагромождённых редких деталей, и тут почувствовал чуть заметное дуновение на своём лице. И тогда, хотя он ничего не увидел, для него потихоньку прояснилось, что он имеет дело с неизвестным живым существом, загадочной креатурой, которая не отделяется от окружающего пространства и поэтому не видна. Она просто существует везде, во всём окружающем мире, и в его абстрактном сознании тоже находится давно…

И как он узнавал это абстрактное существо? Только по тому ощущению, что оно действительно находилось в нём самом и во всём окружающем пространстве. Поэтому он не удивился, когда неожиданно эти серебристо сверкающие детали бесследно исчезли. Он воспринял это само собой разумеющимся, потому что креатура незаметно вдунула в него эту мысль: эти металлические обломки были только частями Всего Сущего и могли быть то невидимыми, то снова появиться…

В сумерках на горизонте вспыхнул свет. Он спонтанно двигался в этом направлении. Посте-

пенно он исчезал как видимый объект. Креатура приняла его в свою бесконечность…

Чек-чек

Однажды он отправился на охоту особенно далеко и уже пересекал широкую, плоскую как стол, степь. Вдали у горизонта виднелось каменное плато, где он никогда не был. Лиловые гранитные плиты лежали вплотную друг к другу и образовали гигантскую каменную плоскость, которая тянулась до самого горизонта и уходила за него. Между каменных плит росли колючие ростки вереска, полевого тимьяна и отдельных жёлтых травинок. Странным образом неподвижные облака зеркально отображали земной ландшафт под ними. И эти облачные плиты висели низко над землёй и спрессовывали воздух всё плотнее и плотнее. Охотник наблюдал за всё сужающимся просветом между зеркальными изображениями и не обнаруживал здесь ничего живого. Казалось, здесь всё вымерло. И вдруг он услышал какие-то ритмично повторяющиеся шорохи. Вокруг послышались странные звуки: «чек, чек, чек, чек…». Однако ничего живого вокруг не обнаруживалось взглядом. Охотник обследовал каждый камень,

каждый кустик. И вдруг из кустика выскочило крохотное существо. Чёрно-белой молнией зверёк дёрнулся зигзагом и исчез в норке. Потом он в другом месте выскакивал из норки и, не переставая, «чекал» свою странную и тревожную трель. Охотник погнался за ним, но зверёк был куда ловчее и хитрее. Тогда он пару раз выстрелил, но не попал. А мелькающий зверёк кричал всё громче и чаще, и с каждым выстрелом всё приближался к охотнику, а небо угрожающе опускалось всё ниже, и вскоре неудачливый охотник заметил, что воздушный слой над ним опасно сужается и грозит его раздавить… В голове стучало молотком. Две плоскости всё сближались и давили на его темя и ноги, и грозили раздавить его, а гранитные плиты вращались, как сцепленные зубчатые колёса. А вокруг и в нём самом всё «чекало» и «чекало»… Из последних сил и в последнюю минуту охотник вырвался из сжимающихся плоскостей каменных плит, которые уже за ним ударом схлопнулись. С ужасом он оглянулся назад. Там тихо и неотвратимо поднималась глухая лиловая стена…

Потрясённый охотник покинул это странное и страшное место, чтобы никогда не вернуться в землю, где живёт магический «чек-чек».

Перевод с немецкого Е. Гамма

Из французской прозы

Франсуа Деблю
Из двух книг

От переводчика

Литература хороша еще и тем, что в ней бывают сюрпризы, и иногда приятные.

В мае этого года мое наблюдение опять подтвердилось. После небольшого рутинного «круглого стола» под сводами гигантского выставочного зала в Женеве, где проходил «книжный салон», состоялось рутинное подписывание книг. Дождалась своей очереди и миниатюрная спортивнистая брюнетка с худощавым лицом и внимательными глазами. — Кому прикажете надписать? — спросил я ее. — Фредерике Бюрнан. — Вы не в родстве с художником? — Она не ожидала вопроса; после долгой паузы она сказала: — Я его правнучка.

Изумление меня охватило. Картину Эжена Бюрнана в музее д'Орсэ в Париже я заметил давно. Она называется «Ученики Петр и Иоанн бегут к могиле Иисуса». Этот известный эпизод находится как раз в Евангелии от Иоанна (20, 3). Она реалистична, но уже палитра ее высветлена,

и воздух дрожит, — работа импрессионистов не прошла для Бюрнана незамеченной Картина написана в 1898-м; это время признания и славы швейцарского художника. О, эти выплаканные глаза Петра — и в них вдруг надежда, что Учитель жив, что предательство его, ученика, смыто и прощено воскресением! И смятение великого «неужели?!» в глазах Иоанна… Спустя две тысячи лет после евангельских событий художник проникся теми чувствами — и ему дано воскресить их для нас. Да здравствует великое искусство.

И вдруг в 2013-м его внучка хочет прочесть мои книги, «Обращение» и «Зону ответа», где тема та же — воскресение Иисуса, но не тогда, не в исторической пещере, а сейчас, во мне, в живущих сегодня людях. И это не всё. Наша встреча происходит утром в воскресенье 5 мая — а в этом году это день православной Пасхи. Нити судеб, не имеющие конца и начала, вдруг соединились, на мгновение возникла картина цельного мира.

Последовало знакомство — и основательное — с наследием великого прадеда Эжена (о ком я обязательно напишу подробнее), поездка в музей в городок Мудон, в 40 километрах от Лозанны, встреча с Франсуа Деблю, мужем Фредерики, поэтом и писателем, и мыслителем, автором

сорока книг…

Так часто бывает на Западе: творец полвека живет и наработал массу интересного, а ты и не знаешь. Культурное изобилие прячет таланты получше советской цензуры! Несмотря на премии, — Деблю получил в 2004-м премию Шиллера (*но и премий теперь тысячи…*)

Читая книги Франсуа Деблю, я почувствовал родство: склонность к афористичности, парадоксу, умеренной иронии, надежда на великое «там и потом», пристальное внимание к сочному эпизоду жизни, — это мне близкое. Захотелось взять всё это с собою — в русский язык, приблизить, перебросить еще один мостик.

Он родился в 1950 году на берегу Женевского озера в Монтрё (*там, где умер Набоков*). *Отец был музыкантом, а дядя Анри Деблю — известным швейцарским писателем. Фредерика преподает философию в лицее.*

Я перевел отрывки из двух книг, «Фальшивые ноты» и «О будущей смерти». (*Francois Deblue. Fausses notes. L'Aged'Homme, 2010; De la mort prochaine. EditionsdeIarevueConference,2010.*)

Николай Боков (*Париж*)

1

* * *

Нужно иметь смирение, чтобы признаться в своей гордыне. Стараясь, чтобы это признание не стало источником новой гордости.

* * *

Бывает легкая и ложная фамильярность, у которой нет ничего общего с братством.

* * *

Иметь «слабость» к чему-либо — не значит ли чувствовать к чему-либо сильную привязанность?

* * *

«Стопроцентный самоубийца», — говорил один знакомый осёл о живом человеке.

* * *

«Служебный вход». Маленькая табличка над небольшой — и обязательно грустной — дверью.

Кончен спектакль. Погасли огни рампы, артисты — эфемерные волшебники — незаметно уходят через черный ход, без объявления, поздно.

С этой стороны здания нет никого, чтобы посочувствовать их усталости и разочарованию; лишь туман и холод, и тусклая лампочка.

До следующего спектакля они будут питаться тем, что «говорят».

* * *

Боль не ждет.

* * *

Между двумя соприкасающимися мыслями или системами может быть бездна.

Так и между мужчиной и женщиной: они любят друг друга, не зная, что их любви бесконечно различны.

* * *

Время, которое проходит, и Время, которое стоит.

Две стены Времени, а в нем самом — ад.

* * *

Когда страдания больного очевидны, ему говорят комплименты о его больничной палате.

* * *

Педанты любви.

(Пастор, заключающий брак, грешит против Любви?)

* * *

Даже пустая, моя голова тяжела.

Особенно пустая.

* * *

Отпуск: необходимость пустоты, когда опустошение уже совершилось, но в эту пустоту ничего нельзя положить.

* * *

Духи и женщины, идущей по осенней улице, пахнут весенней фиалкой. Странное противоречие.

* * *

Всякая похвала отдает надгробной речью.

* * *

Предвидя болезненную ситуацию, следует вообразить страдание, многократно превышающее испытываемое.

* * *

Слабовольный тот, чьи последние усилия воли суть первые.

* * *

Я живу — случайность рождения — в мозаичной стране, которая превращает все, что в ней делается, в нечто малое, вторичное, второго плана. Здесь иного плана и нет. Возможно, это

достоинство этой страны. Ничего капитального. Провинциальный профессор, киношник, художник, провинциальный писатель. Влюбленный из провинции.

И если, в порядке исключения, тот или другой выходит за ее пределы, то потому, что другая страна дает ему понять: эта провинция не хуже всех остальных.

* * *

Провинциальный менталитет наблюдаем в самых больших столицах. Неудивительно. Но забавно.

* * *

Мне говорят об «истинной середине». Однако в чем середина истиннее крайностей? По сравнению с чем?

Возможно, скажут: сравнивая с излишествами и несправедливостями, которые ее окружают.

Я отвечу: опасайтесь заразиться, отравить добрую совесть тем, что она считает чужим.

Есть крайний центризм, подобный крайне правым и левым.

* * *

Я знаю людей крайнего центризма.

Они удивились бы, узнав, что являются экстремистами.

* * *

Нарцисс не переносит контакта с себе подобными. Он отдаляется. Всюду он ищет эту обитаемую пустыню, свой рай, место, где другие были б другими ровно настолько, чтобы выделить его и признать и где они были бы подобными в самую меру, чтобы завидовать ему, не ненавидя.

* * *

Тяжелая и пустая голова.

Хорошо бы поменять ее, как меняют тусклую лампочку.

* * *

Застенчивый страдает дважды: 1) от своей застенчивости; *2*)от той, которую он источает и заражает других.

* * *

Они думают, что он держит их на расстоянии. А он мечтает о такой близости, от которой они убежали бы.

* * *

Часто мы принимаем наши желания за реальность в других.

* * *

Прочитанная книга занимает больше места, чем новая: между листами бумаги вошел воздух, взгляд читателя касался страниц, пальцы переворачивали их и оставили след, пусть невидимый.

* * *

Прогоните сверхъестественное в дверь, оно влезет в окно.

То же и меланхолия.

* * *

Мы испытываем настоящую страсть лишь к

тому, чего у нас нет.

* * *

Желание (любви, денег, славы) удовлетворено; скоро оно возрождается вновь, и так до смерти.

«Дон Жуан» Моцарта кончается лишь на последней ноте — на долгом хрипе: самая главная фальшивая нота истории.

* * *

«Берегитесь; если вы останетесь таким честным, мы договоримся».

Стендаль, «Расин и Шекспир».

* * *

Умереть от смеха: несомненно, одна из самых жестоких смертей. Ужасные спазмы, сведенные челюсти, чудовищные боли в животе. И последние взрывы чувства смешного, которое не хочет умирать…

* * *

Убежавшие мысли.

Что вспоминать о времени и месте, где они по-

явились, невозможно поймать хотя бы хвостик.

Если сравнивать их с теми, что остались, ускользнувшие были наилучшими.

* * *

Какой-нибудь биограф постепенно узнаёт столько о своем «герое», сколько тот никогда о себе не знал. Но есть также и такие истины — скрывшиеся или спрятанные, — каких исследователь не откроет, поскольку ничто и никто — ни документ, ни свидетель — не сохранили о них никакого следа.

* * *

Нарцисс.

«Влюбленный в самого себя имеет, по крайней мере, то преимущество, что у него никогда не будет много соперников».

Лихтенберг

* * *

Наилучшие сарказмы — самые короткие.

* * *

Чайник немного похож на женщину: нужно уметь его брать. Не обжигаясь.

* * *

Культура не должна определять себя суммой лишь приобретенных знаний и созданных произведений: она также и то, что отставила в сторону.

* * *

В мире культурного изобилия каждый должен постоянно выбирать то, что он пропустит: передачу, выставку, спектакль.

* * *

Подражательная галлюцинация: встречая, видя и слушая собачников, начинаю подозревать присутствие невидимой собаки рядом со мной.

Скучное в том, что она раздражает меня еще больше, чем настоящая.

* * *

«Брут обожает яблоки», — говорит старушка-собачница на набережной.

А я должен обожать собачек и их хозяек?

* * *

Если я убегаю от опасности, то это чаще всего значит, что опасность гонится за мною, а я выдохся.

* * *

Противоположности прячутся. Попробуйте их обнаружить и различить!

Как знать, отказывается ли солдат носить оружие потому, что он против насилия, или, напротив, он страшится живущего в нем насилия, и настолько, что его ненавидит?

* * *

На моем рабочем столе истекает свеча, моя подружка: и она угасла, пока я записывал эти несколько слов.

И красный воск, обильно истекший, уже за-

стыл.

Кровавый сталактит, еще теплый на ощупь.

* * *

— Как? Вы не мизантроп? Мы знакомы полчаса, а вы уже соревнуетесь со мною в злословии о других.

* * *

Доступная женщина редко бывает интересной.

Интересный человек редко бывает доступным.

Взаимозаменяемые истины.

* * *

Бывают подростки с ментальностью старичков: они обжились среди комфортабельных проверенных истин, непоколебимых убеждений, остановившихся идей.

Но знаю и нескольких малых и старых, у которых нет этой надменности.

* * *

Имя нечто большее, чем называние, предшествующее социальному имени, «фамилии».

Имя — уникальное наименование в детстве.

Оно дает основание нашей самости — более, чем принадлежность к такому-то клану.

* * *

«Все сходят!» — объявляет кондуктор на «конечных» станциях.

О том не думая, он напоминает нам универсальную горькую правду.

* * *

Драма воображаемого больного в том, что однажды реальность подтвердит его правоту.

* * *

Ничто так не взаимно, как оценка, — кроме еще презрения.

* * *

«Собственность — это кража», говорит Прудон.

Однако видит ли он, до какой степени собственность владеет своим владельцем?

* * *

Выставить напоказ свою больную совесть — иногда хитрый способ ее успокоить.

Больная совесть бывает покойна.

* * *

Собаки фермера защищают его от первобытного страха и вызывают у одинокого прохожего страх не менее первобытный.

* * *

Есть лица, которые сами по себе — возражение.

* * *

Низость не имеет степени.

* * *

Между угрозой и соблазнением — в этом вся игра детей.

И людей, казалось бы, уже взрослых.

* * *

Не всякую видимость стоит спасать.

* * *

Жизнь: презренная кучка квитанций.

* * *

Иные хвастаются тем, что они «трудоголики».
А есть жертвы и труда, и трудоголиков.

* * *

Если они кажутся сильными, так это потому, что они знают свои слабости.

* * *

Уверенному в самом себе нечего предложить другим. Его уверенность ограничена им самим.

* * *

Оставаться вне поля зрения. За пределами чужого взгляда.
Единственное убежище.

Место, откуда можно наблюдать, разгадывать, расспрашивать.

* * *

Невозможно одновременно вопрошать мир и оставаться недосягаемым для его ответов.

* * *

Труднее оставаться верным самому себе, чем другим.

И это не мелочь.

* * *

Бесконечное — моя страсть. Вечное — скучно.

* * *

Существует ли бесконечное за пределами моей жажды к нему?

* * *

Бесконечное: наслаждение и восторги, с самого детства.

Драгоценная и живая безмерность.

* * *

Нетерпение обрести бесконечное.

Как может удовлетворить меньшее?

Дон Жуан. Или Рембо, самый нетерпеливый среди поэтов: «Я жду Бога, предвкушая» («Сезон в аду»).

* * *

Вечность: смерть Времени. Или время смерти.

* * *

Фальшивые дни: потерянные, даже еще не начавшись. Пустые дни.

* * *

Книги, которые «пожирают» — отнюдь не те, какие прочитывают наилучшим образом, ни те, к которым справедливы.

К великим книгам должно постоянно возвращаться, перечитывать их, все медленнее, все внимательнее.

* * *

Что бы ни говорилось, всегда можно сказать лучше.

* * *

Помог ли мне жить хоть один концепт?

Несколько идей могли бы быть моими проводниками.

Некоторые образы — составить компанию.

И есть, слава Богу, музыкальные произведения, чтобы меня питать. И живые существа, чтобы меня спасать.

* * *

Я могу говорить лишь о том, что мне говорит.

* * *

Что сказать о людях, которые даже не подозревают чудовищности своих заявлений?

Вот и сегодня вечером господин Х. высказался «со знанием дела» об иностранцах. И правда, швейцарский народ только что отклонил проект закона, который предполагал немного обустро-

ить судьбу приезжих рабочих. И он (бравый служащий банка, в свободное время — церковный староста) говорит: «Им известно, зачем они приехали. Но вы сами знаете: они опасны. Они не должны приезжать к нам со своими идеями (sic). А что касается их жен, то дело обстоит теперь не так, как раньше: возможности транспорта позволяют этим людям ездить к себе легче, чем когда-то!»

Остановлюсь и попробую вообразить шизофрению того, кто оставил дома свои идеи и переступает границу с чьими-то другими, с мозгами, основательно промытыми от первоначальных заблуждений; представляю себе иммигранта, пересекающего пол-Европы в душном вагоне — туда и обратно, чтобы раз или два в год выполнить свой супружеский долг.

Но господин Х. не дает времени поразмыслить, он продолжает: «И они все вруны! Я их знаю! Они все время жалуются! Я знаю, о чем говорю!» Он горячится. И после потока всех этих нелепостей, с той же естественностью, убежденностью и спокойной совестью, он роняет, наконец: «А я даже не расист».

* * *

Слишком много воздуха душит.

* * *

Дорого бы он заплатил, чтобы не иметь денежных проблем.

* * *

Воображение: рай и ад гипотез.

* * *

Подлинные проблемы требуют разрешения, а не их ликвидации.

* * *

Мертвые руки.

Слушаю знаменитые записи концертов, состоявшихся пятьдесят или шестьдесят лет тому назад. Едва отзвучала последняя нота, сотни, тысячи рук аплодируют под влиянием испытанного чувства. Слышу их, выражающих с силою бурную радость, свою благодарность. Мощный

гул, словно от ударов волн.

Артист кланяется. Благодарит.

Публика продолжает хлопать.

Быть может, предупреждая молчание и одиночество, стерегущие каждого на выходе из концертного зала.

А эти руки — что с ними стало спустя пятьдесят или шестьдесят лет?

Сморщившиеся, высохшие, покоробленные ревматизмом — и это самые молодые времени концерта.

Другие же — большинство — умершие. Превратившиеся в пепел или в несколько косточек под землей.

Кончились аплодисменты, которые мелькали в полутьме зала тысячами светлячков, даруя забвенье о смерти.

* * *

Риск — в привыкании к злу, к нищете, к несправедливости.

Привыкнуть значит принять.

* * *

Бунт вовсе не болезнь молодости, как полагают благомыслящие: это главная и жизненная обязанность.

* * *

Милан.

Молчаливые улицы, ночь.

Крики (взрослых, но также и детей, в час ночи) слышны гораздо яснее.

Работа ночных рабочих. Шум лопат и метел. Фальшивые ноты.

Возвращение — мешающее заснуть — милицейских, встреченных во второй половине дня вооруженными; автобус с защитными сетками; демонстранты с красными флагами, которые еще вчера играли поп-музыку на площади Скала.

* * *

Возраст, когда желание сменяется желанием желать.

* * *

Часто нахожу одинаково законными, одинаково соблазнительными различные цели, учения или религии, тем не менее, враждебные друг к другу.

Как выйти из этого положения, не предавая себя и не обедняя?

* * *

Все эти мелкие дела и фальшивые жесты, которые не образуют течения дня, а его разрушают. Неощутимо.

Вот уже и вечер, и ночь. И всё у нас отнято — даже сон.

* * *

Вызывающий вид мирного (по видимости) сна других.

* * *

Трудность, столь частая, выбрать, решить, рассудить.

Смешной пафос. Однако решить — это раз-

рубить живое, убить решение, — оно не было принято.

Как тут не колебаться.

* * *

«Не нужно строить себе иллюзий насчет других», — говорит она.

Возможно, она права. Это лучший способ приготовить себе — иногда — приятный сюрприз.

Однако подлинная проблема не здесь.

Главное — знать, какое количество иллюзий ты позволил иметь себе о себе самом.

* * *

Есть приемы защищаться от самого срочного.

И они есть у Времени, которые оно медленно, но верно применяет против нас (или за нас).

* * *

Мой проводник — тот, кто идет за мной, не отставая.

* * *

Есть и такие, чья похвала плохо скрывает пре-

зрение, зависть или страх.

* * *

История (человеческая) войн сделана из забвения предшествующих войн — и из злой памяти. Ее абсолютный ужас забывается, и помнятся лишь ужасы, требующие отмщения, — задетые честь и интересы.

Насилие не имеет конца.

* * *

Парадокс войны: часто ее начинает страх.

Враг тот, кого боятся. И чтобы не бояться, нападают.

* * *

Безнадежность некоторого досуга.

Досуг некоторой безнадежности.

* * *

Легче покупать или получать книги, чем их читать.

(Витгенштейн, например, уже два года лежит у меня на столе. И столько других, книг-стра-

далиц.)

Сколько времени понадобилось бы мне, чтобы прочесть книги, накопившиеся за годы? Накопившиеся, чтобы создать эту иллюзию: у меня будет несколько дополнительных жизней.

«Мемуары» Сен-Симона, привет вам!

* * *

Мертвые умеют подчас любить нас лучше живых.

Или это мы, неспособные любить живых и быть любимыми, предпочитаем гипотетическую любовь тех, кого уж нет?

* * *

Розанов. Потустороннее как гипотеза любви.

Но для него это не гипотеза, ни невообразимая, ни необязательная.

Больные — их тревога, гнев или отчаяние — в конце концов соединяют врача и болезнь. И они принимаются за врача, бессильные напасть на болезнь или еще менее — ее принять.

* * *

Несомненно, следует научиться управлять угрызениями совести. А то они всплывают там, где их не ждали: никак не предупредив и всегда в новом виде.

* * *

Своих демонов не выбирают, и ангелов тоже.

* * *

Собачники ничего так не любят, как разговоры через головы собак.

* * *

Ничто так не нервирует нервного человека, как его нервность.

* * *

Моя тюрьма — нетерпение.

* * *

Расстояние, которое способствует сближению.

Близость, которая удаляет.

* * *

Все более и более религиозный, все менее и менее верующий.

* * *

Одно несчастье несравнимо ни с каким другим.

Настоящее несчастье полно собою. В сердце страдающего оно не оставляет места ни для чего другого.

* * *

Монтеротондо висит над долиной, пересекаемой грузными газопроводами, которые избороздили пейзаж, словно фантастические посеребренные змеи, — нереальные и чудовищные.

Прохожим достаются запахи серы и гнилых яиц.

Неподалеку находятся Термы Баньоло, недавно заброшенные.

«Место-призрак», — говорит М.: ее пугает эта пустота.

На земле валяются шишки, имеющие форму роз, из твердого темного дерева.

На вывеске бара указаны часы открытия — до того, как он закрылся, разорившись.

Интересно, бывал ли здесь Тарковский перед съемкой «Ностальгии»?

* * *

В отеле Монтрё-Палас, конец вечера, после концерта.

Учредительные речи.

Убежав от светских любезностей, отец показывает мне зал для игры в бридж, салоны, безлюдные бары, погруженные в особый полумрак, объятые странной тишиной, как бы «неуместной». В нескольких метрах отсюда возобновились официальные выступления, мурлыкающие и пустые, избранная публика устремляется — сохраняя, насколько возможно, достоинство — к буфетам, расположившимся под большими люстрами, и вскоре метрдотелям и официантам не хватает рук. Толпа проголодалась. Она старается вести себя хорошо, насколько ей позволяет инстинкт,

она не слушает выступлений; ораторы призывают к спокойствию, к тишине, они взывают к доброжелательному вниманию приглашенных, но толпа равнодушна, она наслушалась, она уже вытерпела более часа длинных речей (la'us) в самом начале вечера, потом два часа музыки (такой, какою она особо не интересуется), она требует ныне обещанного, пирожных, мягких седалищ и мяса. Гарсоны, занятые его нарезанием, не успевают, толпа теснит их, каждый тянет свою тарелку, если б можно, они повысили б тон, однако вежливость превозмогает, остаток воспитания заставляет ждать очереди, еще, так и быть, потерпеть, но разве неясно, что нельзя стоять двадцать лет. Голос ораторов в динамиках лишь увеличивает общее раздражение. Некоторые — удачливые — сумели получить бокал вина; они подцепили бутербродики с семгой, кубик паштета на острие зубочистки — оп! — и не замедлили его проглотить, и вот они снова в очереди, тогда как последние гости еще только проникают под резной потолок зала Праздников. Мой отец показывает мне лифт, его спусками и поднятиями он заведовал в юные годы; следовало быть ловким и осторожным, умело дергать за шнур и ехать вверх или вниз, останавливали кабину

точно на уровне этажа, чтоб, не дай бог, толстый клиент или жеманная графиня не споткнулись на пороге, это настоящее искусство; после чего служащий подъемной машины менял амплуа: брал скрипку, всходил на эстраду салона — там рассаживались Дамы и Господа — и присоединялся к сотоварищам, пианисту и виолончелисту, и начинался вечерний концерт. Умелые музыканты играли переложения, отрывки и обработки. Однажды по окончании концерта к моему отцу подошел мужчина, желая узнать, кто автор пьесы, которую музыканты только что сыграли. Смущаясь, отец объяснил, что это вольное переложение Каприччио Рихарда Штрауса. Человек улыбнулся, горячо поздравил отца и сказал: «Ich bin Richard Strauss».

В другой раз в зале оказалась женщина, очаровавшая моего отца и, в конце концов, подарившая ему сына, а потом и вышедшая за него замуж (временно).

Но мы пришли туда не вспоминать и грустить. Предстояло пробиться к буфету, прежде чем его опустошат.

2

Утром радио сообщило о смерти моего друга Б., музыканта и композитора.

Смерть обогнала его и меня (и всех нас).

Сорвалась наша последняя встреча, о которой мы договаривались; еще мы собирались поужинать вместе, но обстоятельства помешали.

А мы было поверили, что приговор условный, что болезнь отпустила его, что Время оказало ему милость.

Мы имели неосторожность довериться Времени.

Смерть, подобная последнему такту партитуры. Последняя доля последнего такта.

Молчание.

В конце похоронной церемонии по завещанию Б. зазвучала единственная нота и длилась, пока мы, повернувшись спиной к гробу, выходили из церкви. Тромбоны, валторны и трубы его многочисленных друзей-музыкантов сменяли друг друга, обеспечивая непрерывность звучания.

Последнее дыхание. Последнее прощай. Подобно кораблю, удаляющемуся в тумане навсегда.

И все-таки наступает миг, когда воцаряется молчание.

* * *

Траур.

Будучи за 70, Ж. Р. потерял жену.

«Я один, — пишет он мне, — я абсолютно один».

И добавляет в скобках с полной безнадежностью: «Раньше я любил одиночество. Потому что мог его прервать».

* * *

Всякая смерть есть произвол.

Произвол, прежде всего.

* * *

Великолепный день позднего лета.

Мягкость воздуха. Восхитительные цвета.

Желтые и рыжие тона леса. Рассеянный свет.

Городок Роменмотье с его церковью — в стиле Клюни — несравненной красоты.

И в то же время — новость о жестоком раке, поразившем близких людей.

У дверей красоты — смерть.

* * *

Когда я в тот день спросил моего отца о «предчувствии» смерти, он вспомнил сначала о тяжелом сердечном приступе лет пятнадцать тому назад, который впервые поставил его жизнь в опасность.

Он вспоминает о чем-то очень красивом, прежде всего о свете. Он повторяет — и его глаза блестят от волнения: «Да-да, свет, очень красивый…»

С тех пор у него только один страх — мучений.

Его пожелание: чтобы его не удерживали, чтобы его не принудили, как тогда, «вернуться».

В последние дни, когда он чувствует боли и у него шумит в ушах, ему снилось, что он собирал чемоданы, но цель путешествия оставалась неизвестна…

(Вспоминаю похожее выражение в устах моего дяди Г. тринадцать лет тому назад, перед тем как он впал в кому. «Пришло время собирать чемоданы», — сказал он мне.

Он знал о приговоре врачей.

Он не был человеком, который убаюкивает себя метафорами.)

Когда я расстался с моим отцом и вышел на главную площадь, где мы обычно — почти ритуально — встречались, шел невозможный дождь.

То, чего тогда не знал ни он, ни я — никто — что ему оставалось жить чуть более пяти лет.

* * *

черное черное
озеро этой ночью
огромное неподвижное
черное полотно
натянутое между берегами

черное черное
под безлунным небом
озеро этой ночью
скорби прощания
и мертвые прошлого
созваны вместе

слишком короткая слишком длинная
для ночи бдения
ночь далекой грозы
слишком длинная слишком короткая

для ночи бессонной

Лозанна
Перевод с французского Н. Бокова

Из иранской прозы

Амир Ноепараст
Поклонник ночи

В этот вечер, как обычно, он вышел прогуляться: бег в одиночестве давно стал привычкой. Было холодно. Настолько холодно, что люди предпочли остаться в тёплых домах, нежели выйти наружу. Но так было даже лучше, ведь он мог во всей полноте насладиться одиночеством и прекрасной холодной погодой. Надо сказать, ночь для него была более приятна, чем день, потому что только темнота давала возможность увидеть всё вокруг не в привычном образе, а так, как хотелось ему самому. Предстоящая ночь обещала быть похожей на все остальные.

Прошло совсем немного времени, и позади поклонника ночи послышались шаги. Всего двадцать или тридцать метров отделяли его от незнакомца, но, совершенно не обратив на это внимания, наш герой продолжил свой путь. Человек за спиной приближался, расстояние между ними сокращалось, и сбивчивое дыхание незнакомца слышалось всё ближе. Поклонник ночи быстро обернулся, успев заметить, как рука,

державшая нож, уже нависла над его головой. Непроизвольно, но очень быстро он увернулся. Незнакомец замахнулся так, что, казалось, даже быстрая реакция не могла спасти поклонника ночи от удара. Перехватив руку, он ударил незнакомца в живот, пытаясь повалить того на землю. Нож отскочил. Быстрым движением поклонник ночи поднял его. Поверженный незнакомец всё ещё лежал на земле, пытаясь подняться. После безуспешной атаки он потерпел ещё одну неудачу, получив удар в сердце своим же собственным ножом.

Незнакомцу было так же сложно поверить в то, что он умирает, как и поклоннику ночи в то, что за какую-то пару секунд он превратился в убийцу. Дотронувшись до умирающего, поклонник ночи спросил: «Кто вы и почему хотели убить меня?» С большим трудом умирающий ответил: «Это ты меня убил». После этих слов он потерял сознание, и поклонник ночи почувствовал всю тяжесть обмякшего тела. Не сумев удержать равновесие, он упал. Мёртвое тело упало рядом, и только теперь поклонник ночи смог увидеть, что именно он натворил.

Он оглянулся. К счастью, рядом никого не было. Он не знал, что делать. Вызвать полицию? Нет,

только проблем наживёшь! Как такое вообще могло произойти? Это не просто несчастный случай. И всё же лучше вызвать полицию. В кармане убитого зазвонил телефон — возможно, это поможет решить проблему? Так, телефон здесь. Ему даже стало любопытно. Прежде чем связь оборвётся, нужно успеть ответить на звонок. Возможно, это верный способ узнать, почему на него напали. Он взял телефон и ответил.

Ничего не говоря, просто нажал на кнопку. Человек в трубке явно ожидал, что ответит женщина, и он звал её по имени, не слыша ответа. Для поклонника ночи это стало полной неожиданностью. Он ещё раз взглянул не мёртвое тело. Он даже не заметил, что на него напала именно женщина. Говорившему в трубке он так и не смог ничего сказать.

Звонивший безуспешно продолжал звать убитую женщину. Не дождавшись ответа, он повесил трубку. Поклонник ночи посмотрел на телефон. Он решил набрать номер того человека, который только что звонил… Набрать номер… Но… странно. Возможно ли такое? Это был его собственный номер. Но… Поклонник ночи жил совершенно один.

Пытаясь осознать всю невероятность произо-

шедшего, невольный убийца даже не заметил подошедшего к нему мужчину.

«У вас всё в порядке, мадам?» — спросил тот.

«Мадам? Я ведь не женщина, сэр, — ответил поклонник ночи. — Вы видели, что произошло? Эта леди набросилась на меня, я только защищался. А сейчас мне нужна ваша помощь. Не могли бы вы попросить тех охранников вызвать полицию. Я не могу идти».

«Думаю, вы не совсем здоровы. О какой женщине вы говорите?! Кто на вас напал?!»

«Ничего не понимаю! Почему вы обращаетесь ко мне как к женщине? Неужели вы не видите мёртвое тело?»

«Мёртвое тело? О чём вы? Здесь ничего нет».

Поклонник ночи указал немного вперёд, где лежал труп. Незнакомец приблизился. Он медленно вытащил руку из кармана пальто, и стало видно, как его пальцы крепко сжимали нож. Мужчина даже не стал замахиваться — ловким движением он вонзил нож в живот поклонника ночи. Удар был таким стремительным, что поклонник ночи не смог его предотвратить.

Он упал. Жизнь угасала. С большим трудом он спросил: «Почему вы убили меня? Кто эта женщина?»

«Это не имеет значения, — ответил незнакомец. — Это моя работа, и мне за неё платят. Думаю, всё дело в спорах между вашим мужем и одним из его партнёров».

«О чём вы говорите?! Каким мужем?! Я мужчина! И кто та женщина, которую я убил?» — произнёс поклонник ночи с тем удивлением, на которое способен умирающий человек, не познавший главного.

Мужчина, несколько сбитый с толку, постепенно принял безразличный вид и ещё раз взглянул на умирающего в ночи человека. Аккуратно вытащив нож из тела, он скрылся во мраке.

Брюссель

Перевод с английского О. Новиковой

Из английской поэзии

Исаак Розенберг
Дочери войны

Румяная свобода рук и ног —
Расхристанная пляска духа с плотью,
Где корни Древа Жизни.
(Есть сторона обратная вещей,
Что скрыта от мудрейших глаз земли.)

Я наблюдал мистические пляски
Прекрасных дочерей прошедшей битвы:
Они из окровавленного тела
Наивную выманивали душу,
Чтоб слиться с ней в одном порыве.
Я слышал вздохи этих дочерей,
Сгоравших страстью к сыновьям отваги
И черной завистью к цветущей плоти.
Вот почему они свою любовь
В укрытии крест-накрест затворяли
Смертельными ветвями Древа Жизни.

Добыв живое пламя из коры,
Обугленной в железных войнах,
Они зеленое младое время
До смерти опаляли, обжигая:
Ведь не было у них милее дела,
Чем дико и свирепо умерщвлять.

Мы были рады, что луна и солнце
Нам платят светом, хлебом и вином,
Но вот пришли воинственные девы,
И сила этих диких амазонок
Разбила скипетры ночей и дней,
Заволокла туманом наши очи —

Блестинки нежных ласковых огней,
Загнала амазонским ветром
Ночную тьму в сиянье дня
Над нашим изможденным ликом,
Который должен сгинуть навсегда,
Чтобы душа могла освободиться
И броситься в объятья амазонок.
И даже лучшие скульптуры Бога,
Его живые стройные созданья

С мускулатурой, о какой мечтают
Высокие архангелы на небе,
Должны отпасть от пламени мирского
И воспылать любовью к этим девам,
Оставив ветру пепел да золу.

И некто (на лице его сливалась
Мощь мудрости с сияньем красоты
И мускулистой силою зверей —
Оно то хмурилось, то озарялось)
Вещал, конечно же, в тот час, когда
Земля земных мужчин в тумане исчезала,
Чей новый слух внимал его речам,
В которых горы, лютни и картины
Перемешались со свободным духом.
Так он вещал:

«Мои возлюбленные сестры понуждают
Своих мужчин покинуть эту землю,
Отречься от сердечного стремленья.
Мерцают руки сквозь людскую топь,

Рыдают голоса, как на картинах,
Печальных и затопленных давно.
Моих сестер любимые мужчины
Чисты от всякой пыли дней минувших,
Что липнет к тем мерцающим рукам
И слышится в печальных голосах.
Они не будут думать о былом.
Они – любовники моих сестер
В другие дни, в другие годы».

Охота на вшей

Сверкающие голые тела,
Вопящие в зловещем ликованье.
Скалящиеся лица друзей
И сумбурные взмахи рук
В едином кружатся угаре.
Рубаха паразитами кишит:
Солдат ее сорвал с проклятьями —
От них Господь бы съежился, но не вошь.
Рубаха запылала над свечой,

Что он зажег, пока лежали мы.

И вот мы все вскочили и разделись,
Чтоб отловить поганое отродье.
И вскоре в сатанинской пантомиме
Забушевало и взбесилось все вокруг.
Взгляни на силуэты, разинувшие рты,
На невнятные тени, что смешались
С руками, сражающимися на стене.
Полюбуйся, как скрюченные пальцы
Копаются в божественной плоти,
Чтобы размазать полное ничтожество.
Оцени эту удалую шотландскую пляску,
Ибо какой-то волшебный паразит
Наколдовал из тишины это веселье,
Когда баюкала наши уши
Темная нежная музыка,
Что струилась из трубы сна.

Рассвет в окопах

Мрак осыпается, будто песок.

Древнее время друидов – сплошь волшебство.

Вот и на руку мою совершает прыжок

Странная крыса – веселое существо,

Когда я срываю с бруствера красный мак,

Чтобы заткнуть его за ухо – вещий знак.

Тебя пристрелили бы, крыса, тут же без церемоний,

Если б узнали о твоих, космополитка, пристрастьях:

Сейчас ты дотронулась до английской ладони,

А через минуту окажешься на немецких запястьях,

Если захочешь ничейный луг пересечь —

Страшное место последних встреч.

Ты скалишься, крыса, когда пробегаешь

тропой

Мимо стройных тел – лежат за атлетом атлет.

Это крепкие парни, но по сравненью с тобой

Шансов выжить у них – считай что – нет.

Они притаились во мраке траншей

Среди разоренных французских полей.

Что ты увидишь в солдатских глазах усталых,

Когда запылает огонь, завизжит железо,

Летящее в небесах, исступленно алых —

Трепет какого цвета? Ужас какого отреза?

Красные маки, чьи корни в жилах растут,

Падают наземь – гниют, гниют, гниют.

А мой цветок за ухом уцелел:

От пыли лишь немного поседел.

Без вести пропавший

Я обращаюсь в прах среди могильной тьмы.
Его ты прячешь, скрадывая меж костями.
Иегова всегда дает своим взаймы,
И я несу убытки полными горстями.

Что скажет Кредитор, когда я пропаду
Без вести, и меня не сыщут и собаки?
Я не смогу явиться к Страшному суду,
Поскольку окажусь сокрытым в этом мраке.

К своей святой земле взывая, как всегда,
Он будет рыскать небесами круг за кругом:
«Где бедная душа, лишенная суда,
Которую не наградили по заслугам?»

Но слыша этот плач, стенания и грусть,

И в остове твоем расположившись грешном,

Я, обманувший Господа, расхохочусь,

Свободный, словно раб, в твоем плену кромешном.

Еврей

Я – еврей – возник из чресл Моисея,

Что зажег светильником в своей крови

Десять твердых правил – лунное сиянье

Для людей, лишенных праведного света.

И все люди, хоть и с кожей разноцветной,

Но с одним вздымающимся кровотоком,

Держатся прилива – правил Моисея.

Почему ж они глумятся надо мной?

Разрушение Иерусалима вавилонскими ордами

Опустел великий Вавилон:
По указу полководца ныне
Воины отправились в поход
К левантийской сказочной пустыне.

Призрачные сеятели шли
Перед копьями, усердно сея
Пеплом напоенные плоды,
Чтобы осознала Иудея,

Что они, поклонники Быка,
Крылья распростершего повсюду,
Омрачат войною небеса,
Воссиявшие подобно чуду.

И походную смывали грязь
Воины у чистого затона,
Где купались девушки, смеясь,
И царя ласкали Соломона.

Все сжигали языки огня,

В облака взметаясь и в ущелья,
Пока башни рушились царя
Ради вавилонского веселья.

Горящий храм

Пламенная ярость Соломона,
Задержалась ты в какой дали?
Посмотри, как падают колонны,
Как пылает храм Святой земли —
Черный дым все небо заволок!

Солнце опустилось среди моря?
Золото расплавилось в огне?
Или искры гнева, искры горя
Ветер развевает по стране?
Снова умер царь, мудрец, пророк.

Сгинуло во тьму его мечтанье,
Время, что от Господа дано,
Рухнуло великое созданье,
Как трава, обуглилось оно
И исчезло, как последний вздох.

Через эти пасмурные дни

Через эти пасмурные дни
Лики потемневшие горят
Из тысячелетней глубины,
Огненный отбрасывая взгляд.

А вдали, карабкаясь на склон,
Души их бездомные бредут,
Чтобы отыскать святой Хеврон,
Где они спасенье обретут.

Оставляя пасмурные дни,
Они видят в бликах синевы,
Как же долго все-таки они
Были беспробудны и мертвы.

На войне

Тревожь беспечный полдень
Своей тоскою или
Веселою улыбкой,
Зане твой дух мятежный

Всегда меж ними был.

Тот день покойным будет,
Глухим к твоей печали,
К улыбке молчаливой,
А воздух будет пить
Дневную тишину —

Тогда твой голос дивный,
Легко отображавший
Глубины бытия,
Среди людского хора
Умолкнет навсегда.

Пусть темного пространства
Не омрачает призрак,
Но видят мои очи,
И сердце тоже чует,
Как было тяжело.

Давным-давно когда-то
Шагала смерть по миру,
Искала цвет людей,
И увядала роза
От смертной темноты.

Раз мы могилу рыли,
В трудах изнемогая
От солнечной жары.
В мешках лежали трупы,
И рассуждали мы,

Что смерть их полюбила
Три дня тому назад,
Что мудрое искусство
Дает душе сверкнуть,
Пока она жива.

Судьба: нам, полудохлым,
Кто уцелел в той битве,
Сказали рыть могилы
Для тех, кто уж не страждал
На свете ничего.

Глухое отпеванье
Мы слушали вполуха,
А больше размышляли
О неуместных штуках:
Жаре, воде и сне.

Читал священник: «Отче...»

Слова роились смутно.
Но вдруг очнулся я,
И кровь похолодела:
Не может быть, Господь!

Он молвил имя брата…
Я пошатнулся, сел —
Схватил его за ризу…
Никто мне не сказал,
Что брат в бою погиб.

Скажи, какую участь
Судьба судила людям,
Захлестнутым войной?
Мы о шальные годы
Себя ломаем, брат.

Получая вести с фронта

Снег – белое таинственное слово.
Не просит лед, не требует мороз
Живой бутон или птенца живого
По стоимости зимних бурь и гроз.

Но все же лед, мороз и снег весенний
Устроили такую кутерьму,
Что все перевернули во вселенной.
Никто не понимает – почему.

В людских сердцах свершается такое.
Их древний дух какой-то посетил
И поцелуем с ядовитым гноем
Он в плесень бытие преобразил.

Клыками порван лик живого Бога,
Пролита кровь, которой нет святей.
Оплакивает Бог среди чертога
Своих убитых дьяволом детей.

О, древнее слепое наваждень —
Все сокрушить, развеять, расточить!
Пора первоначальное цветенье
Разгромленной вселенной возвратить.

Перевод с английского Е. Лукина

Из немецкой поэзии

Пауль Целан
Корона

Осень кормится листьями из моих рук:
мы друзья.
Мы очищаем время от ореховой скорлупы и учим его ходить.
Время возвращается обратно в свой панцирь.

В зеркале воскресенье,
во сне усыпается,
уста твердят правду.

Мой глаз опускается к женскому роду любимой:
мы смотрим друг на друга,
мы проговариваем друг другу тьму,
мы любим друг друга как мак и память,
мы спим подобно вину в раковинах,
подобно морю в алом сиянии луны.

Мы стоим, сплетаясь в окне,

они смотрят на нас с улицы:
настало время, когда все знают.
Настало время, когда камень все же решается цвести,
когда тревога проникает в сердце.
Настало время, чтобы время настало.
Настало время.

Некий гул

Некий гул: это
истина, сама
вошедшая
средь людей,
в середину
вьюги метафор

Из тьмы во тьму

Ты проглатываешь мои глаза – и я вижу жизнь своей тьмы.
Я вижу ее рядом с землей:
даже там она со мной и продолжает

жить.

Она может переправить на другой берег?
Она может пробудить?
Чей свет, что нашел себе паромщика,
следует за моими ногами?

Я слышу зацвел топор

Я слышу зацвел топор,
я слышу, есть место без имени,

я слышу, что хлеб, который на него смотрит,
исцеляет повешенного,
хлеб, который ему испекла жена,

я слышу, они называют жизнь
единственным возможным убежищем.

Легенда

Как только тайна земли заржавеет
приходи смело, брат, закладывать со

мною светлый камень.

Я ничего не нашел. И ты ничего не найдешь.

Но земля дает трещины.

Когда стемнеет, я возьму тебя с собой в мой чертог.

Ты спросишь, кто в нем?

Там моя сестра, там моя любовь.

Часто темнеет, когда дома меня еще нет…

Разгадаю ли я, разгадаешь ли ты

заржавевшую тайну земли,

заложив окровавленный камень?

Склон

Рядом со мной живешь ты, подобно мне:

будто камень

в ввалившейся щеке ночи.

О, этот склон, любимая,

по которому мы безостановочно катимся,

мы камни,
от ручья к ручью.
С каждым разом все круглее.
Родственее. Разобщеннее.

О это опьяненное око,
что также как и мы блуждает,
и временами нас объединяет
в своем удивленном зрачке.

Желание

Корни изгибаются:
там внизу
должно быть, живет крот…
или гном…
или только земля
с серебристым слоем воды…

Но лучше бы
там была кровь.

Перевод с немецкого А. Пантелята

Георг Тракль
Ночное смирение

Монахиня! Прими меня в темницу кельи.
Прохладой дышат голубые горы,
Роса сочится, словно кровь из горла.
На небе крест в мерцанье звёзд, как зелье.

Пурпурный рот разрушил стон свой ложью.
Игры теченье задохнулось смехом.
В руинах дома возмутилось эхо,
В последнем звоне колокола, дрожью.

Луна на облаке! Взгляни-ка, силуэтом
Плоды с деревьев падают ночами.
Могилой комната плывёт над нами.
Надгробный холм, мечтой, оставлен где-то.

Воро́ны

По тёмным углам притаились вороны.
Как пятна их чёрные тени,
К спине прилепились оленьей,
И дремлют, уткнувшись в сосновые кроны.

Они не считаются здесь с тишиною,
Покой отнимают у поля,
Как бабы, клянущие долю,
Дерутся и ссорятся между собою.

Но вот, мертвечины почувствовав запах,
Взлетают и мчатся мгновенно.
Добычу найдут непременно,
И клювами рвут и несут её в лапах.

Осенний вечер

Карлу Рёкку

Коричнево. Подобие пятну

У стен, затронутых осенней стужей.
Мужчина с женщиною рядом тужат
В холодной комнате, идя ко сну.

Играют дети. Тени пелена
Коричневым пластом упала в лужу.
Проходят люди и в глазах их ужас.
Церковным звоном жизнь напряжена.

Для одиночества открыт кабак.
Табачный дым под сводами, как мрак,
Лишь тишина ещё едва ласкает.

И личное, вдруг память всколыхнёт,
И пьяницы в раскаянье, но вот
Уж птицы вольные собрались в стаю.

Аминь

Заполнена комната запахом тленья.
Тени жёлтых обоев бегут в зеркалах.
Руки, цвета слоновой кости, печальны.

В мёртвых пальцах коричневый жемчуг.

И в тишине

Открылись капли голубых, ангельских глаз.

Вечер голубоват.

Отмирания время. Тень Азраила

Затемняет собою крошечный сад.

Аминь.

Вечернее обращение к сердцу

Крик летучих мышей, оглушающий вечер.

Ворон скачет по лугу.

Шелестит красный клён.

Путник видит кабак – путь туда обеспечен, —

Там вино молодое и орех недурён.

Под хмельком хорошо прогуляться по лесу.

Сквозь листву уловить колокольную боль, —

Это только всего лишь церковная месса.

А роса на лице? Какова её роль.

Маленький концерт

Вот потрясение: солнышко смело
Ладони пробило солнечным светом, —
Сказка, и только. И сердце при этом
Скачет. Но надо заняться бы делом.

В полдень волнуется жёлтое поле.
Пенье сверчков не услышишь почти ты.
Шумы лесов вроде напрочь закрыты.
Косы на поле, как птицы на воле.

Воды обильно покрыты гниеньем.
Тишь разрушается звуком гитары.
Дышат вовсю поражённые пары.
Замерли рыбы. Ветров дуновенье.

Воздух колеблется духом Дедала.
Запах молочный приносит орешник.
С криками, крысы несутся, поспешно.
Скрипке учителя время настало.

А в кабаке, на линялых обоях,

Светят, едва уцелевшие, краски.
Сорваны всюду приличия маски.
В общем скандале ссорятся двое.

Ночной романс

Под сводом звёздного шатра
Гуляет путник-полуночник.
Малыш в испуге прячет очи.
Луна, как серая дыра.

За зарешёченным окном
Девица льёт обильно слёзы.
Влюблённые нырнули в грёзы
Восторженно, – в пруду немом.

Убийца бледный пьёт вино.
Больных охватывает ужас.
Монашка молится, но тужит.
Припав к распятию давно.

Спросонья мать поёт для всех.
Ребёнок на оконной раме,
В печь смотрит умными глазами,

И сдавленно бормочет смех.

В подвале от коптилки свет.
Мертвец рукой малюет что-то.
Молчанье разрушает шёпот.
Все, вроде, спят, и страха нет.

Тлен

Звонят колокола над миром к ночи,
И силуэты птичьих стай видны с земли,
Что в небе покружив, скрываются вдали,
Как пилигримы, вытянувшись в строчку.

Я им завидую. О них мечтаю.
И вечером, идя сквозь сумеречный сад,
Я сил не нахожу, чтоб оторвать свой взгляд,
И бега времени не замечаю…

Как ток, по мне прошло, дыханье тлена.

И жалобы скворца, застрявшего в ветвях.
Вот виноград набрал в цветении размах,
И смертный страх стихает постепенно.

Прильнувши к полусгнившему колодцу,
Там розы лепесток о брёвна трётся.

Зима

Холодом сковано белое поле.
Стужа коснулась пространства небес.
Даже охотники бросили лес.
Но над прудом галки носятся вволю.

Звон колокольчика где-то далёко.
В кронах ночлег обрела тишина.
По небу серая бродит луна.
В избах огни светят слабо и блёкло.

Зверь издыхает у края опушки.
Кровью он залит, совсем изнемог.
Слышен призывный охотничий рог.

Вороны кровью пьяны на пирушке.

«В окружении женщин подтянуто горд…»

В окружении женщин подтянуто горд,
но улыбка крива, как гримаса.
А тревожными днями ты полностью стёрт, —
это видит засохшая астра.

Словно тело твоё, – золотой виноград
на холме наливается, зреет.
Косы в поле патетикой ритма звенят.
Пруд зеркальный блестит озорнее.

И по красным, разлапистым листьям кустов
капли росные катят забавно.
Дева чёрная, как от тяжёлых оков,
задохнулась в объятиях мавра.

Музыка в саду

Мирабель

Фонтан поёт, и белых облаков,
На синем небе разгулялась стая.
И окунаясь в праздность вечеров,
Гуляют люди, скуку коротая.

Уж белый мрамор стал совсем седым,
Вдаль острым клином улетают птицы.
И мёртвый Фавн увидит: словно дым
Исчезла тень, чтоб в тишине укрыться.

С деревьев старых падает листва,
Влетая в окна со всего размаха.
А на стенах, как капли волшебства,
Танцуют блики призраками страха.

Вот, Белый гость переступил порог,
К нему собака бросилась навстречу.
Погасла лампа. Подведён итог.
И звук сонаты обозначил вечер.

Гродек

Нынче вечер окрашен в цвета вечернего леса.

Ежедневно с вершины разносится вспышками злато,

При озёрной голубизне и ненасытности солнца,

С жадностью катит вперёд торопливая ночь.

Солдат, умирающий горько и дико, издал

Вопль, что идёт из его окровавленной глотки.

Только где-то вдали мирно пасётся стадо.

За облаком красным Бог наблюдает сердито.

Яркая кровь заката разлита по лунной прохладе.

Провалены улицы в чёрную бездну пространства.

Звёздная ночь плавно ныряет в золото

веток.

Ветер шагает тенями по молчаливой роще,

Приветствуя души героев чёрным своим итогом.

Звуки трубы влились в осени жёлтую флейту.

О, гордость печали! Тебя на алтарь бы железный!

Горячее пламя души насыщено властною болью.

Вдали

Собрали урожай зерна и винограда,

И деревушка спит в осенней тишине.

Стук молота о наковальню, как награда,

Приносит ветер смех, что плещется в окне.

Ребёнку белому охапкой дарят астры,

Что распускаются душисто у оград.

И с тем, что все мертвы, давно уже

согласны.

Лучами в темноте взорвался старый сад.

В пруду всего одна лишь золотая рыбка.

На всё таращится со страхом чей-то взгляд.

Окон коснулся ветр, изысканный и гибкий,

Он предлагает звук на свой, органный, лад.

Мерцание звезды мечту смешало с тайной,

И вдаль глядят глаза, – там тучи все в гряде.

И в серой скорби мать, в тоске необычайной,

И темень утонула в чёрной резеде.

Человеческая скорбь

Часы перед заходом били пять,

И ужас у людей застыл во взгляде.

Деревьев голых шум остался сзади.

Лик смерти у окон устал стоять.

Возможно ль время нам остановить?
Ночных видений проплывают лица.
На пристани монашек вереницы,
В такт пароходам убавляют прыть.

Вдруг слышится мышей летучих крик.
Гробы сбивают тут же, на полянке.
В развилине лежат людей останки.
Тень сумасшедшего явила лик.

В осеннем небе стынет синий луч.
Во сне влюблённые сплелись телами.
На звёздах ангелы плывут ночами.
Впотьмах виски людей белее туч.

Перевод с немецкого Л. Бердичевского

Из польской поэзии

Александр Навроцкий
Цецилия

Святая Цецилия, дева трав засохших,
лёт вольных птиц, запах моря и хлеба,
бедрами будишь в эфебах мужчин,
одна, как алтарь в разодранном небе.

Сон мой бессонный, хоралы души
на июльской меже, куда так спешишь?
В святость стремишься сбежать от любви
иль серость жизни тебя всполошила?

Песчаная тишь пеленает шаги,
жаждешь любви, но Богу поручена.
Он в пекло при жизни ввергнет тебя,
подарит колье из терновых колючек.

Когда содрогнешься, не станет заслоной,
не источит из камня крови,
путь не украсит, не сменит доли,
лишь лик твой замкнет в икону.

Святая Цецилия, к руинам храма
пришла ты за правдой – стрекочут цикады…
И глядя на плющ на мраморе старом,
читаешь молитвы – засохшим травам?

Изольда

Я вся – одно лишь желание,
я жду своего Тристана,
король, бледнея от ревности,
рыцарей прочь прогоняет рьяно.

Скрываю в сердце тайны тернистые,
губы напитка любовного жаждут,
волосы в небе мои рассыпались,
устремились навстречу желанному.

Люблю. Может, себя? Может, его?
Кого предаю? Короля иль любимого?
Я ведь женщина-приключение,
каждую ночь неповторимая.

Я – Изольда, и покорная, и властная,

за любовь мне короны не жалко,
но навеки я – королева:
для Тристана, для себя и для Марка.

Мария

Мария, несу тебя на крыле моей жизни
над вершиной, которая
снится звезде, если человек
не доверяет своему сердцу.

Стряхиваю Марию. Смотрю. Цепляется
судорожно за перья, вырванные из крыла.
Падает, как обычная женщина,
а в женщине прекрасней всего – тело.

Море на миг на камни присело
как миф пред кровавым свершеньем,
воронье прилетело, чтоб рядом с Марией
врасти в землю.

Влюбленные

Прошу, не мешайте влюбленным:
страстным душам и смерть не страшна,
цветущий луг им расстелет весна,
обнимет рассвет окрыленный.

О дальних дорогах щебечут им птицы,
ручьи и потоки пьет в их честь море…
О стройных телах вещают зарницы,
рисуя на небе златые узоры.

Прошу, не мешайте влюбленным,
пока их старость не ранит смертельно,
они, как роскошный занавес,
скрывают мрачную сцену.

Барбаре

За семью горами, за семью морями
ты, как дорога ночная снегами.

В Родопах – ты мне Эвридика,
в Джами – ты строки сур Корана,
в Болгарии – плат сребротканый
и мои крылья над горами.
В ночи – беседа рос со звездами,
весной – аллея меж березами.
Барбара – серна у водопоя,
гроздь винограда, вино золотое.
Барбара – луч на гранях каменьев,
яркий свет дня, не тронутый тенью.
Барбара – женщина и ребенок,
гордая тайна спокойного моря,
когда луч рассвета с сумраком спорит…

Перевод с польского В. Виногоровой

Из английской поэзии

Венди Коуп
Разница во мнениях

Он говорит: «Планета – диск.
И прекрати свой глупый писк».
Напрасно, кучу книг достав,
Она твердит, что он не прав.
«Ты импульсивна. Это – бред.
И не ори, здесь не пожар».
Он в спорах – мастер. Шансов нет.
Он твёрд. Её кидает в жар.

Земля летит. Всё тот же шар.

Замкнутый круг

А надо жить. Начнёшь читать.
Идёшь к психологу опять.
Меняешь стрижку и духи.
Кропаешь прозу и стихи.
Не куришь. Бегаешь. Не пьёшь.
Ужасно правильно живёшь.

Но всё впустую. Боль в висках.
И жизнь – зелёная тоска.
Ты хочешь сесть и тихо выть.
И всё же, как-то надо жить.

Утрёшь глаза – и вид на «ять».
Идёшь к психологу опять.
Находишь «принца» своего
И что-то лепишь из него.
Но всё впустую. Боль в висках.
И жизнь – зелёная тоска.

Ты воешь. Бьёшь в сердцах духи.
Всё время ешь. Строчишь стихи,
Вовсю стараясь не курить.
И всё же, как-то надо жить.

Беспокойство

Я волнуюсь за тебя.
Мы так долго не встречались.
Ты – один? Всегда печален?
Без меня ты вне себя?

Я волнуюсь. Сон нейдёт.
Всё гадаю: как ты, бедный?
Неприкаянный и бледный?
Иль – совсем наоборот?

Беспокойство – острый нож!
Говорят, мужчинам тоже
Боль разлуки сердце гложет.
Боже, как меня тревожит
Мысль, что, может, это – ложь!

Цветы

Так мог придумать только ты.
Другим бы и не снилось:
Ты мне почти купил цветы
Но что-то там случилось:
То магазин закрылся. То
Такие розы – чудо —
Ты выбрал. Но вернул потом:
«Вдруг не возьмёт? Не буду».

Я улыбнулась… Я и ты
С тех пор давно расстались.

Но те твои почти цветы
Не высохли. Остались.

Потеря

Я помню день ухода твоего,
Как страшный сон. Мороз бежит по коже!
Что ты ушёл – так это ничего,
Но штопор мой «ушёл» с тобою тоже!

Попытка верлибра

Мне всё время говорят:
«Не рифмуйте всё подряд,
Рифмы часто портят стих».
Этот стих пишу без них.
…Ой.

Ничего, начну опять.
Вот, стараюсь я писать…елем быть.
О, могу ведь, когда хочу:
Это ж, оказывается, очень просто.

Мне так нравится писать,
Настроение – как летом:
В чувствах – солнечный задор,
Особенно, когда получается более или менее то, что нужно.

Тичь Миллер

Тичь Миллер носила очки
с пластиковой розовой оправой
и одна нога у неё была на три размера больше другой.

Когда выбирали команды для спортивных игр,
она и я всегда оставались последними,
у решётчатого забора.
Мы старались не смотреть друг на друга,
наклоняясь – надо бы завязать шнурок —
или делая вид, что с интересом следим
за полётом какой-то весёлой птички,
только бы не слышать оживлённый

спор:
«Берём Табби!» – «Нет, Тичь!»

Обычно выбирали меня, лучшую из двух чурок,
а невыбранная Тичь ковыляла
в задние ряды другой команды.

В одиннадцать лет мы разошлись по разным школам.
Со временем я научилась отыгрываться,
подкалывая хоккеистов, не умеющих правильно писать.

Тичь Миллер умерла в двенадцать лет.

Перевод с английского Н. Крофтс

Из австралийской поэзии

А. Д. Хоуп
Счастье королей

В чем счастье королей? Читать, смеясь,
В памфлетах сплетни о своей гордыне,
Небрежным словом повергая в грязь
Могучий род, иль древнюю твердыню;

Поить кураж утративших врагов
Вином былых побед до спазмы рвотной,
И кистью гениальных мастеров
Нагих метресс бессмертить на полотнах;

Навязывать министрам-подлецам
Свою игру – порой на грани фола;
Селить шпионов в праведных сердцах,
И на корню вытаптывать крамолу;

Горстями злато сыпать в закрома,
Сдавать детей на воспитанье гнидам,
И так грешить, чтобы сошла с ума

От зависти продажная фемида.

А в старости, пока дурная рать
Наследников дерётся за корону,
С высокой башни взглядом пожирать
Полночный город, жадно и влюблённо,

И над бессонной россыпью огней
Вздыхать, у чёрной бездны на краю:
«То демон мой, ворочаясь во сне,
Свою провидит гибель – и мою».

Смерть птицы

В свой час приходит время каждой птице
Услышать зов полуденных широт,
Воскресшим сердцем к югу устремиться
И совершить последний перелёт.

Из года в год Любовь путём знакомым
Её влекла надежней, чем магнит,
За разом раз срывая прочь из дома
На край земли, где новый дом манит —

И вот он, юг! Есть время отогреться,
И свить гнездо и выкормить птенцов,
Но память вновь тоскою полнит сердце,
И призраков сжимается кольцо,

В песках мерцают миражи упрямо,
И пальмы тень напоминает тис,
По раскаленным фризам древних храмов
Скользит прохладный вересковый бриз;

День ото дня влекущий шёпот крепнет,
Настойчиво, отчаянно зовёт,
И вот, отринув страхи и запреты,
Она опять пускается в полёт,

Ничтожной точкой в синей бездне тая:
Растеряна, покинута, хрупка,
Изгнанница в галдящей пёстрой стае,
Песчинка во враждебных облаках.

Ей мнится дом в дали неразличимой,
Все ближе цель, и вдруг – потерян след.

Внезапно, непонятно, беспричинно
Навеки гаснет путеводный свет.

Где, где маяк? В пространстве непривычном
Громады рек, холмов, лесов, полей
Ошеломляют скудный разум птичий
Безбрежной необъятностью своей,

И ветры жадно тело рвут на части,
И тьма с востока простирает длань,
И Мать Земля безмолвно и бесстрастно
Приемлет смерти крохотную дань.

E questo il nido in che la mia fenice?[5]

Будь я той пальмой, где совьёт устало
Твоя любовь гнездо из листьев пряных,
Я факелом бы вспыхнул небывалым,
Чтоб феникс мог из пламени воспрянуть,

---

[5] Примечания: 5
Тут не гнездо ли Феникса живого? (Петрарка, сонет CCCXXI, пер. Ю. Верховского).

Хоть пеплом стану сам, и мой побег
Не прорастёт вовек.

Но пусть не так, и пусть феллах бесстрастный
Мой ствол к зиме изрубит на поленья —
Знай, вспыхнут и они – с такой всевластной
Животворящей жаждой обновленья,
Что разглядит он в тлеющих углях
Бессмертных крыльев взмах.

Прометей освобождённый

Упорен, непокорен, укреплён
Сознаньем правоты, измучен раной,
Мятежный пленник вдруг увидел странный
Слепящий свет, что шёл со всех сторон;
И в тот же миг к нему на скальный склон
Слетел Гермес и расковал титана:

«Ужель проснулась совесть у тирана? —
Спросил герой, – Иль Зевс утратил трон?»

«Кронида мудрость велика вдвойне:
Он так решил, – крылатый бог ответил, —
Пускай идёт: нет горше мук на свете,
Чем вечно помнить о своей вине,
Что гибель принесла твоим же детям,
Себя спалившим в краденом огне!»

Муза

Она – Арахна. В яростной гордыне
Она плетёт узоры по ночам
Из нерва обнажённого. Богиня
Сияньем гневного луча
Терзает сеть, ревнуя понапрасну
К ажурному изделью паука,
Ткачихи ядовитой и прекрасной.
Она – как Ариадна, что глядела

Вслед уходящим чёрным парусам;
А принцу-негодяю что за дело:
Он всё забыл: он мог и сам
Найти к спасенью путь… и ей осталось
Покорно лечь под пьяного божка
Да помнить о былом – какая малость.
Она – как Пенелопа: распускает
Всю ночь надежды сердца своего;
Пока воображенье иссякает
И давит горькое вдовство;
И ясно ей, в её усердье слёзном,
Что боги всё считают на века,
И что успех приходит слишком поздно.

Из окна последнего вагона

Полусумрак вагонный, билет, поцелуй на прощанье,
Оживленный перрон, в темноту отплывающий плавно,
Хоровод привокзальных огней; я один, с целым фунтом в кармане,
И колеса стучат: «может быть, мо-

жет быть»... Это было так славно...

Мне хватало «вчера» и «сегодня», и было плевать,

Что сидел я спиной против хода, и нитью белесой

Из нутра своего, из зрачков, как паук, день за днём

я отматывал вспять,

Отправляя «сейчас» в никуда и в восторг приходя от процесса.

Под хмельное крещендо лихих телеграфных столбов

Мы взрезали холмы, рассыпая по склонам отары,

И с размаху врывались в тоннели грохочущих снов,

Чтоб с утра набирать обороты дневного угара.

А теперь я устал. Я узнал, что холмы и мосты

Друг на друга похожи; мой ум отупел от дурмана

Бесконечных, унылых пейзажей, заез-

женных до хрипоты,

Как на старой пластинке. Мне скучно и несколько странно.

Я ослаб от бесплодных усилий, от вязкой проформы

Монотонных и гладких колбас ускользающих лет;

Понедельник, среда… тянет скукой от каждой платформы,

И – о господи – даже от пятницы радости нет.

А попутчики… что происходит? так можно рехнуться:

Вот веселая школьница вышла водички попить,

А вернулась блондинкой в соку, предлагающей перепихнуться.

Не успеешь ей юбку задрать и колготки спустить,

Как в лицо тебе – бац! – упираются жирные ляжки

Целлюлитной слонихи, что голосом мерзким, как струп,

Посылает тебя за чайком. Возвращаешься с чашкой —

И глядишь очумело на лысый гнилой полутруп.

Мы не верим билетам. Вокруг шепоток беспокойный;

Ходят слухи, что поезд вот-вот понесётся вразнос,

Что слепой машинист, как послушных баранов на бойне,

Нас на полном ходу замышляет пустить под откос;

Только что мне до слухов – нет в будущем цели и смысла;

То ли дело – былое. Взирая на мир сквозь стекло,

Я слежу, как во мгле расплываются даты и числа,

И гадаю, куда и зачем это нас занесло.

А ведь как я мечтал из вагона когда-нибудь выйти,

Чтоб за руль – самому, чтобы выбор – за мной, чтобы ногу – на газ,

Чтобы в калейдоскопе летящих навстречу событий

Расцветало и пело моё вихревое «сейчас»,

Быть не толстой кишкой бытия, не архивным червём-шарлатаном,

А поэтом, живым, ненасытным, сжигающим дни и года…

Мне казалось – куда уж ясней; только что-то пошло не по плану,

И колеса стучат, и мой поезд идёт в никуда.

Разглядевшей

Разве может горький ствол,

Вросший корнем в самый ад,

Обрасти живой листвой,

Дать сладчайший аромат?

Разве птица, что с ветвей

Спелый склевывает плод,

Может знать, как плоть корней

Точит червь у чёрных вод?

Видел я себя во сне
Древом дивной красоты:
Распустились по весне
Белоснежные цветы.

Был влюбленным парам мил
Аромат его ветвей;
И гнездо подруге свил
В пышной кроне соловей.

Дети в радостный кружок
Собрались к нему бегом:
«Вот так дерево, дружок!
Вот так яблоки на нём!»

Вещим сердцем ты одна
В зачарованном раю,
Сладость ту вкусив до дна,
Распознала боль мою.

Голос горя твоего,
Просочившись вглубь земли,
Оросил печальный ствол,
Раны корня исцелил.

И, сражённый скорбью той,

Соловей умолк тотчас;
А влюблённый понял, что
Спит во тьме любимых глаз...

Только детям невдомёк —
Знай щебечут о своём:
«Ай да дерево, дружок!
Ай да яблоки на нём!»

Перевод с английского Г. Лазаревой

Из греческой поэзии

Константинос Кавафис
Декабрь 1903 года

Я о любви не смею говорить,
о волосах твоих, губах, глазах —
я лишь храню в душе твоё лицо,
храню твой голос в памяти моей,
дни сентября цветут в моих мечтах,
ваяют, красят фразы и слова,
любую тему и любую мысль.

Итака

Когда домой поедешь, на Итаку,
себе ты пожелай дороги долгой
и полной приключений, полной знаний.
Не бойся лестригонов и циклопов,
и Посейдона гневного не бойся,
ты их в пути не встретишь никогда,
пусть только мысль парит и вдохновенье
изысканное греет дух и тело.

Ты знай: ни лестригонов, ни циклопов,
ни Посейдона дикого не встретишь,
коль сам в душе не будешь их нести,
коль на тебя душа их не натравит.

Себе ты пожелай дороги долгой.
Пускай настанет много летних зорь,
когда с такою радостью и счастьем
войдёшь ты в гавань, где ты раньше не был,
задержишься у финикийских лавок,
приобретёшь прекрасные товары:
янтарь, кораллы, жемчуг и эбен,
и всяческих дразнящих благовоний,
побольше благовоний сладострастных;
ступай в египетские города,
учись, учись у тех, кто много знает.

Всегда в уме держи свою Итаку.
Туда добраться – это цель твоя.
Однако, торопить себя не нужно.
Пусть лучше истечёт немало лет
и стариком прибудешь ты на остров,
богатым всем, что приобрёл в пути,

щедрот не ожидая от Итаки.

Дала тебе Итака путь прекрасный.
Ты без неё в дорогу бы не вышел.
Но у неё нет больше ничего.

Ты бедною Итакой не обманут.
Такой мудрец, с таким глубоким знаньем,
понять ты сможешь, что Итаки значат.

Окно табачной лавки

У освещённого окна табачной лавки
они стояли, смешаны с толпой.
Но вот глаза их встретились случайно
и выдали преступное желанье
их плоти – неуверенно, стыдливо.
Затем неверные шаги по тротуару —
и вдруг улыбка, головы кивок.
А уж потом закрытая коляска…
и чувственное приближенье тела к телу,

переплетенье рук, слиянье губ.

Дом с участком

Хотел бы я иметь в деревне дом
с весьма большим участком —
не для цветов, деревьев или зелени
(конечно, и для них – они прекрасны),
но для животных. Да, хочу животных!
Семь кошек – минимум: двух чёрных, словно ночь,
двух белых, словно снег. Так, для контраста.
И попугая важного – его я научу
ораторствовать страстно, убеждённо.
Собак, я думаю, довольно будет трёх.
Потом двух лошадей (а лучше – пони)
и трёх, нет, четырёх великолепных,
очаровательных, изысканных ослов,
чтоб утопали в лени и блаженстве.

На корабле

Конечно, сходство поймано
портретом этим карандашным.

Набросанным небрежно, прямо тут, на палубе,
в один волшебный полдень.
Вокруг нас – Ионическое море.

Да, сходство есть. Но был он более прекрасным.
До горечи чувствительным,
и этим всё лицо его светилось.
Он кажется мне более прекрасным
теперь, когда душа зовёт его из Прошлого.

Из Прошлого. Всё это было так давно —
и тот набросок, и корабль, и полдень.

Перевод с новогреческого Вланеса (В. Некляева)

Из немецкой поэзии

Людвиг Фельс
Попытка стать ближе
(*еще раз для Рози*)

На юге твои золотистые волосы тебе к лицу.
Там солнце все больше их высвечивает,
здесь же снег окрашивает их в серый.

На пляже и среди морской воды
ветер прижимается к твоей обнаженной коже.
А дома тебя жду только я.

Отдохнувшей появляешься ты
перед незнакомыми блюдами
с непривычной едой
и рассказываешь все то,
о чем тебе приходится умалчивать на фабрике.
В безмятежном свете
ты быстро заводишься
и мне не вспомнить уже,

где именно мы сейчас с тобой пребываем.

Несколько дней в году

ты задумываешься о вечном

и мечешься между счастьем и горем.

Мы платим по счетам и по-прежнему благодарны.

В этом и вся разница

между здесь и там.

В каждой ракушке,

под каждой песчинкой

тебе открывается любовь.

А ночью луна прячется.

Одиночество это лишь слово, чтоб выразить одиночество

Одиночество это лишь слово, чтоб выразить одиночество

и конец одной любви

не является концом любви,

лишь концом любви

двух людей.

Потерять того, кого любил
означает отоспать кошмарный сон до конца:
зябнуть от холода до самой смерти.

Ты живешь
где-то
по ту сторону Млечного пути,
я же
хороню свое сердце под стопкой бумаг.

Природа

Прямо здесь, говорят мне знакомые, мы построим
наш домишко.
На ваших земельных участках будут пастись коровы
и среди клевера будут раскрываться цветы.
Не смотря ни на что здесь по-прежнему все так естественно,
говорят они, леса и свежий воздух, холма и поля,

именно здесь мы и будем жить...

Мой же ответ им:
все здесь будет оставаться таким же
и без вас.

Немецкие стихи

Больше ничего нет между строчками,
нет места между строчками,
бумага полностью исписана
пустотой Дня сегодняшнего.
Всегда слишком мало
крови в венах, всегда
слишком холодно.
Всегда один и тот же пустой перезвон,
уловки, чтоб руки двигались,
но не работали,
и душа от неизбежности сжимается,
пытаясь обмануть тень.
я говорю это именно так,
это лучше, чем никак.
И с края бездн все еще в такт

доносятся голоса. Там все еще сражаются
и проигрывают, там все еще есть та самая
страсть проигравших и все та же
лживая улыбка любви.

Ах да, и вправду

Ах да, и вправду, я написал
несколько книжек, едва ли
куда-то выезжал, был
всегда здесь,
просто всегда здесь,
где ничего не было
и никогда не будет,
нет ничего, что стоило бы дороже, чем слово.
Ах да, и вправду, стихи, чертовски
забавная штука, когда на тебя обрушивается
вся тяжесть этого мира.

Близость

Теперь каждый день идет дождь,
говорит она,
ветер носится по пляжу,
говорит она,
мне холодно, здесь больше нет никого
говорит она,
и я говорю, послушай меня.
Мне одиноко,
говорит она,
и мне, говорю я, без тебя одиноко,
и она смеется и курит,
прислушайся к ветру позади нас.
Теперь каждый день идет дождь,
говорит она,
ночами становится холодно,
говорит она,
я мерзну во сне, говорю я.

Любовная жизнь

Будто взрывом разъединенные
лежим мы рядом друг с другом,
разрозненным взглядом
терзаем наши сердца.
Сотни раз мы видим во сне
одно и тоже слово:
любовь, думаем мы.
Надежно укоренившаяся в плоти
секунда счастья,
замкнутая под покровом волос
на фоне звучания музыки —
а может это звери
плачут поблизости.
Полностью одетые
лежим мы прикованные
к своей постели,
прощаясь друг с другом,
окрылено шагая,
преисполненные печали,

каждый в углу
своего собственного мира.
Там, где позади зеркала
садится луна.

Стремительное чувство

Быть может, любящий не должен
умереть, пока он любит,
быть может, все мы ждем
только того, чтоб зверь
сказал нам: я люблю вас всех.

Мы делаем все, чтобы
избежать необходимости смерти,
но всегда что-то идет не так
и всегда чего-то не достает.

Быть может, мы нуждаемся
в некоем всеохватывающем чувстве,
способном вытащить нас отсюда,
в свиданьях какого-то внеземного характера.
Одна песчинка любит другую,

даже деревья касаются друг друга,
когда их валят.

Быть может, любящий должен
всего лишь беспрестанно мечтать
о следующем поцелуе,
об утреннем солнце
где-то далеко позади луны.

Территория любви, ну конечно

Написать любовное стихотворение,
мечтать о сне, прежде чем умереть
написать любовное стихотворение,
но что за стихотворение, о какой любви,
и что если любовь
не была любовью вовсе и жизнь
слишком коротка для первого
поцелуя?

Это

Это жизнь, такова она.
Короткая, слишком короткая
для слова Конец.
Каждый день новым праздником
и каждая ночь
незаживающим рубцом потери.
Всегда беспомощная надежда,
когда единятся смола и дыханье.
Такова она, жизнь, прекрасное
упражнение перед ночью,
которую мы
проведем
в одиночестве.

Перевод с немецкого А. Пантелята

Из литовской поэзии

Витаутас Брянцюс
Защитное слово ветрам

вы, пассаты, бризы, муссоны,
и сирокко, и все другие, —
вы, рождённые в небывалых,
первозданных своих страданьях
иль тугим крылом буревестника,
или смерчем, сверлящим небо,
где из поднятого над миром
золотого венка бытия
осыпаются лепестками
световые годы-скитальцы, —
бесконечные отголоски
непостижной сознанью вечности,
что раскаялась так нежданно —
Пусть сгорают в ней без остатка
все моря изумрудно-жемчужные,
имена позабывшие наши,
но зато уж в который раз
целовавшие лица до боли;

о попутчики наши добрые,
о лазутчики чьи-то злые,
о разбойники страшные, – все,
по морям безудержно гнавшие
можжевельника запах смолистый,
отдалённый младенческий смех,
в исступленье защекотавшие
небольшой кораблик надежды,
петли страха с маху набросившие
на поникшую сразу же шею
задохнувшейся птицы моей,
трепетавшей недавно в полёте,
в грозной бездне мольбу о помощи
утопившие бессердечно, —
о, скажите мне, – будет ли вас
кто-нибудь, хоть один человек,
так любить, как люблю вас я,
днесь застывший на притягательном,
презираемом берегу,
где таится в свежих следах
плач седеющего ребёнка...

В океане, рядом с вечностью

О, насколько же грустная
и глубокая старость
поднимается постепенно
с океанского тёмного дна,
незаметно обросшего всюду
и ракушками, и черепами,
и крестами трагедий,
которых давно уже в памяти нет,
неизменно бросая в озноб
оживлённые зеркальца зародившихся волн,
заставляя растерянно вздрогнуть
тело судна, ещё молодое,
и едва прикасаясь
к светлым лицам матросов.

О, как медленно время течёт,
словно тихий туман
сквозь неплотную щёлку сомкнувших-ся век

небосвода и смутной воды,
оставляя едва различаемый след —
будто тянет звенящую цепь
из заветных имён,
полированную на любом
из земных континентов
и хранящую благословение множества рук,
убедить надеясь в последний раз,
что оно, и только оно, —
уходящее время —
ближе всех, если вдуматься, к вечности.

Перечитывая старые письма в снегопад

Все сегодня ко мне собирайтесь —
все, кому пожимал я руки,
все, кого целовал в мечтах
или встарь от души любил,
по мостам пробежав иллюзорным,
опалённый сиянием северным —

из ревущего моря Баренцева
иль из дебрей тайги бескрайней,
сквозь простор енисейский сразу
ваши лица вдали разглядев;
все теперь приходите ко мне
в эту комнату – в эту обитель,
что давно холодна и пуста,
где, закутавшись в дым сигаретный,
я смотрю, как уже застилает зима
непроглядной, сплошной пеленою
ваши юные лица, отголоски речей
и красоты желаний благих;
приходите – увидите сами,
как вот это даримое щедро тепло
превратится в прекрасное что-то,
в то, что выразить словом так трудно,
в то, что схоже с сиянием лунным
на волшебном одном полотне —
откровенье Куинджи,
в то, к чему я, страшась,
что таким же стать не сумею,

не решаюсь рукой прикоснуться,
потому что оно оживёт...

Крымский ноябрь

Я был ошеломлён виденьем светлым Крыма
и охмелел слегка, но всё же ощутимо,
не от прибрежных скал, не от чинар дремотных,
не от ленивых пальм – недвижных, беззаботных,
не от теней густых, упавших на аллеи,
где кипарисы врозь маячат, лиловея,
не от касанья губ иль парусов на шхунах,
совсем не от луны, мерцающей в лагунах,
подобно серебру заброшенной монеты
(чтоб возвратиться вновь – наивная примета!) —
я охмелел тогда от света ноября,
который принесла прозрачная заря, —

как буревестник, он был в подлинности всей

и смел и горделив средь невозвратных дней.

Ноябрь – мелодий гул, торжественные даты.

Вернуться в дом родной торопятся солдаты.

О расставанья час! Не Севастополь – сад,

где бескозырки вниз, как бабочки, летят

и падают, кружась по тёплым мостовым,

и руки второпях матросы тянут к ним,

обнимутся, вздохнут, задумчиво молчат...

А песни, как волна, туда уносят взгляд,

где зародится вдруг начало дружбы новой,

где новобранцев строй, где лист горит кленовый

алеющей звездой, где в воздухе дрожат

и отзвуки шагов, и музыки набат.
А утро ноября над кронами каштанов
напиток солнца пьёт, не веря мгле туманов, —
и льётся лёгкий хмель сквозь золотистый цвет,
и смерти в этот миг на свете вовсе нет.
Невесты, так милы в радушии старинном,
подобны кружевным пушинкам тополиным,
ноябрь наперебой на свадьбы приглашают,
за стол его ведут и щедро угощают.
Усталый стонет пирс. И кони водяные
на улицу, в толпу, проскачут, удалые,
и встанут на дыбы, и в пене захлебнутся —
и ринутся назад. И сейнеры вернутся —
в царапинах, рубцах, намного постарев,
но море победив и ветер одолев.
И время подошло – и штормы где-то

рядом

с узорною листвой, с последним виноградом.

Перевод с литовского В. Алейникова

Из немецкой поэзии

Райнер Мария Рильке
Последний дом

Последний дом так грустен на селе,
Что кажется последним на земле.

И улице так тесно среди изб,
Что прямо в ночь она уходит из —

Под ног. Село всего лишь переход
От бегства к бегству между двух пустот.
Предчувствий полон, страхами объят,

Прочь из села бегу который год,
А я же умер там сто лет назад.

Перевод с немецкого М. Бабкиной

Георг Тракль
Осень

Как птица феникс вспыхивает осень.
С кларнетом и стаканчиком малаги
Свой натюрморт решительно забросил
Художник, потянувшийся в овраги.
Свет сумрачен, а сумрак светоносен,
И с каждым шагом он от цели в шаге.

На темных травах первые кристаллы.
Лес красен так, что в нем костров не видно.
Вот холмики, поросшие крестами.
Вот яблоки, протертые в повидло.
Задумчивы воскресные крестьяне.
Молитва их как древняя ловитва.

В глазах усталых угнездятся звезды.
В холодных комнатах останутся ответы.
Шумит тростник и вздрагивает воз-

дух,
И путника в преддверии рассвета
До костного пронизывает мозга
Росою черной, капающей с веток.

Фён в предместье

В предместье, как его ни назови,
Вечерний воздух пропитался смрадом,
Гром поезда доверился аркадам,
По зарослям шныряют воробьи.
Сутулость хижин, путаница троп,
Садов неразбериха и тревога —
Всё это к Богу вопиет немного,
А Бог сейчас немного мизантроп.

На мусорке пищит крысиный хор.
Полны корзинки женщин требухою,
И череда свекрови за снохою
Напоминает чем-то крестный ход.
От скотобойни выхаркнет вода
Вниз по теченью жирный сгусток крови.

За души убиенные коровьи
Кусты ракит краснеют от стыда.

Когда же смысл задремлет между строк,
Строенья закачаются в канавах,
Возможно что и прошлой жизни навык
Потянется на ощупь как вьюнок.
Отважным путешественникам тут
Коварство скал на первое предложат,
Руины на второе растревожат,
Мечети перл к десерту подадут.

Перевод с немецкого М. Бабкиной

Стефан Цвейг
Брюгге

Здесь всё – игра, но смысл ее потерян.
Играли в замки старые дома,
И прыгали мосты под стать пантерам,
И расходились улицы партером,
И опускалась занавесом тьма.

Здесь колоколен зубчатые буры
Из поднебесья выкачали скорбь.
Парадные, чьи ручки ржаво-буры,
Играют от безделья в каламбуры,
Что всякой вещи срок бывает скор.

В базилике апостол и химера
Простосердечно соединены,
Как будто пошатнувшаяся вера
Нуждается, по мысли инженера,
В опоре на преданья старины.

Перевод с немецкого М. Бабкиной

Из украинской поэзии

Игорь Павлюк
Самопародия

Осень такая, словно
Рукописи горят.
Жизни собачьей ровно
Лет уже пять подряд.

Вот и звезда, обрушена,
Вновь прилетела, зла.
И облетела груша,
Что в первый раз цвела.

Бомж божества светлее,
Всё при себе свое.
Летом и день длиннее,
Идея – к черту ее.

К черту любовь и голод,
Свечку возьму я в долг.
Вчера неказистый Воланд
Смешно забежал в наш морг.

Нынче стреляли в волка —

Космосом его шерсть.
Мир – такая тусовка,
Где заправляет Смерть.

Птицы мои да цветочки,
Вечного детства даль,
У вас не понял ни строчки,
Но всё равно вас жаль.

Встретимся за пределом
(За фиолетом – дым),
Пашне за переделом
Или грехом святым.

Тяжко стареет вишня
В черном огне эпох.
Дубы многолетние вышли,
Срезанные в сугроб.

Инопланетный лучик,
Сбитый стеклом озер.
Все мы знакомы, лучше
Будет смешной повтор.

Мы живем – не иначе
Колхозный цепной отряд.

Мастер пишет и плачет:
Рукописи горят...

Весеннее

Тесно.
Черная, как мрамор, ночь.
Не тесно только в полете.
Стонут женщины и кричат петухи.
Кот, как белая глина на клети.

Весна, как восстание, пришла сюда.
Заплескали крылья ангелов пьяных.
Словно пуля сквозь душу, святая вода
К самой себе призывает туманы.

Гнезда пустые.
Журавликов крик.
Журавли улетели, как листья.
Свято и просто, к чему я привык
За тридцать лет или триста...

Звезды в полете. Шрам золотой,
Невидимые нервы ветра.

Мавка из камня, Лукаш худой,
На всё готов за пол-литра.
Пузо провинции.
Напыщенный центр.
Слепой скрипач на перекрестке
Песню продает за хлеба цент.
Курва стоит.
Ласкать до последней крошки.

Яблони юные уже вот-вот зацветут.
Расцветать труднее, чем засыпать.
Весна.
Поднимается даже ртуть.
Тесно только летать.

В баре

Фонари погашены.
И холодное пиво.
Платит кто-то ненашими
Выпившим и красивым.

Память, точно подрагиванье:
«Быть или не быть».

Плач гитары-радуги
На женской груди.

Ляжет гроздь лепестков
Тихо и неуловимо
На небесный покров
Сквозь нашествие дыма.

Можно жить взаперти
И на птиц посмотреть,
Но нельзя запретить
Им на юг улететь…

Где душа и золото
Быть мечтают вместе,
Продается молодость
Дешево и честно.

Перевод с украинского В. Науменко

Юрко Издрык
Демосезон

ну вот пережили зиму
как переползли болото
всего что сошло со снегами —
как будто и не было
а в окна отверстые ныне
весна пробивается золотом
рисует на дереве пятна
и мглою туманит стекло
она авитаминозна
но неумолима как трактор
и трескает спелое семя
и гонит вовсю хлорофилл
кто знает – что с нами будет
свой каждому фактор риска
всегда есть фактор искрения
двух слитых физических тел
ведь наши проблемы – квантовы
а наши приходы – мечены

и наши сезоны – кончены
и наш перелет – шагал
но – байка все перечисленное
весна одевает бантики
и солнца медалька катится
аллах еще тот акбар…
а мы перебыли зиму
как перебили фразу
мы сбили сердечные ритмы
и соль превращали в мель
и все это как-то странно
и все это как-то сразу
и смотрит в глаза охотнику
беспечно веселая цель

Third

я выхожу в свой новый день как в море
меж двух стихий мой бесконечный лов
незримые границы акваторий
порталов бухт заливов и портов

а дом мой – ночь и сонный тихий берег

я сам теперь – лишь сумма сновидений
и за неимением критериев
меж инь и ян я выбираю тень

меж днём и ночью выбираю вечер
пришвартоваться на причал сойти
меж двух стихий предпочитаю третью
и милый дом в котором снишься ты

Пленение

«Крылья мои холодные, мокрые» —
Птица глаголет вещая
«Где ж твое небо бескрайне высокое?
где твой апрель обещанный?
где твои пальцы цепкие чуткие
всех аллергий свидетели?
где же твой норов?
похоть жуткая?
золото где моей клетки?»
птичка моя
не спеши в неволю

олова злата не дам я
дам только хлеба воды и соли
дам тебе свежую память
вволю воздуха и психочувства
шёлк простыней прохладу
нежность станем мешать с распутством
тысячу лет кряду
будем летать будем петь, и пряность
в сердце лета пролита
будем друзей в гости звать как в нирвану
из эры палеолита —
сферы воздушных змеев из ваты
планеры из салфеток
мы перепишем события даты
и книги в библиотеках
мы обустроим весь мир по-новому
станет апрель днём летним
только пожалуйста не верь на слово
дай лишь себя согреть мне
крылья капризны метаморфозны

ты мотылёк – не птица
как пролетела сквозь ливни и грозы
страны миры и лица?
не смастерил я ни клетки ни стана —
плена ярма погони
вольной – воля
а домом пусть станет
горсть из моих ладоней

Fly

Твои лайки я словно янтарь находил
помнил комменты знал все репосты
в виртуальном пространстве никто не один
но у нас был свой собственный остров
твой зеленый сигнал восхождения в чат
мне мигал словно глаз светофора
бил на газ и калечил незрелых девчат
наши рейтинги дали всем фору
и воротами в рай называл я вай-фай
инь и ян конвертируя в байты

настрочили мы писем на весь терабайт
и любовь почтальонили в скайпе
и забанили нас за шальную любовь
Цукерберга М. злые агенты
и теперь между нами закружатся вновь
самолетики белых конвертов

Пределы

обозначить вещи не названные
называть людей без имени
определения станут пазлами
этот мир весь на них распиленный
имена и названия станут масками
не убитыми но и сменными
будут прятать игру гримас и
прочь отсеивать тлен от тлена
название имя – такая иллюзия
словно все учтено и подсчитано
и воздастся всем по заслугам
и воскреснет то что сокрыто

хоть на самом деле все в мире —
лишь транскрипции одного имени
между слов границы размыты
меж вещами – пунктирные линии
и меж нами граница условна
будто тихая гладь воды
я с размаху бросаю слово
и вода похищает следы

Перевод с украинского С. Лазо

Ярослав Павуляк
(1948–2010)

Ярослав Павуляк родился на Тернопольщине. Учился в Львовском училище прикладного искусства на отделении керамики. После окончания работал во львовской картинной галерее, затем в научно-реставрационных мастерских.

1 мая 1969 г. Павуляк установил в родном селе Настасов памятник Тарасу Шевченко, за что подвергся преследованию КГБ. Его дважды исключали из вузов: Черновицкого университета и Каменец-Подольского педагогического института. В 1973 г. Павуляк поступил в Литературный институт имени Горького в Москве.

По окончании уехал в Чехословакию (Братислава). Там в 1979–1991 годах работал в Словацком литературном агентстве. В 1991 г. вернулся на родину. Последнее место работы — заведующий Тернопольским историко-мемориальным музеем политических заключенных и репрессий. Автор трёх книг стихов и поэм.

«В моей каморке среди ночи…»

В моей каморке среди ночи
На стенах окна расцвели,
Лежу, к стене прижавшись боком,
Накрытый сонными крыльми.

В моей каморке одинокой
Поют бутылки под столом,
Лежу, уткнувшись в полночь оком,
С распахнутым во тьму челом.

В моей каморке ночь и брага,
Танцуют двери на траве,
А я лежу на левом шаге,
Сжимая солнце в голове.

«Безлюдно здесь…»

Безлюдно здесь.
Сон за дверями.
И к небу месяц прилипает.
Кружат, петляют меж домами

осиротевшие трамваи.

А там в селе…
И телу снится —
где-то в селе в ночь ив бессонных
девчонка держит на ресницах
тень тишины ночной стотонной.

«Кого-то нет, кого-то не хватает…»

Кого-то нет, кого-то не хватает,
меня или кого-нибудь ещё,
здесь, на земле, и в комнате вот этой,
и в зале
не все, не все как будто собрались.

День голубой и рядом город млечный,
стекает время и скользит из рук.
Приду опять ко всем и ни к кому, конечно,
кого-то нет, всегда кого-то нет.

И ты, и я, нет,
мы не одиноки,
но вместе ли, если кого-то нет?

Он никуда не шёл, не приходил ни разу,
неправда, мы не все,
ещё не все идём.

Светает сердце, рядом рой цветочный,
река неподалёку, и гнездо.
Сбегаемся, нащупываем, кличем
того, кто опоздал, чтоб всем хватило
всех.

«Вчера сегодня завтра послезавтра…»

Вчера
сегодня
завтра
послезавтра…

Дни так тесно сжались словно кольца,
в сердцевине деревьев.
Все слипаются и слипаются
в чью-то краткую жизнь или дольше…

Не уснуть, не уснуть мне.

Лежат на дороге дни, как киты,

держатся за животы
держатся за головы.
Дни без окон и без дверей,
пустые, как бубны, и полные людей.
Дни – самоцветы,
дни – кометы,
дни покрашены, как штахеты.

Не уснуть мне никак – беда —
жизнь моя подо мной тверда.

И вдруг летне-летняя тишь дождя…
то явилась ты,
ясная, как лунная ночь…
Мама,
покатились камни из твоих глаз
покатились дни,
мама.

«Голос колодца…»

Голос колодца,
соблазнитель ушей и окрестностей.
В горле колодца

качаются чёрные ведра.

В душу колодца
как в прорубь ушли ступени.

Над ним дни без ветра, роение, шелест,
и кружит времени птица.
Полон рот
голоса,
клёкота,
грохота.

Это голос колодца —
в нем утонуть можно,
это голос первичного света —
им захлебнуться можно.

Я его поднимаю, как тост,
за того,
кто букет головы не склонил,
за того,
кто расцвёл на коленях,
за того,
кто возносит всё выше и выше
этот голос колодца.

«Вознамерилось солнце взойти…»

Вознамерилось солнце взойти,
светает в гнезде,
в камне,
в сердце.
А деревья тугими корнями
выгребают теней синь.
Утро.

Аминь.

«Ищем…»

Ищем
что-то
вместе
поодиночке
а нас

матери
высматривают
из рая

каждой
морщинкой
на лице.

«Флейты дождя…»

Флейты дождя
Вонзились в землю.

Синеглазые
Кони
Помчали
Помчали
Смотреть.

Белые флейты дождя
Галопом.

«Будущее…»

Будущее
Так сосредоточено,
А мы торопимся
В него,

Обескураженные…

«Вот место…»

Вот место
нашего поцелуя.
Испекли его
мы устами
и упрятали
в птичье гнездо.
Потом поселились в дупле,
обмотались корою
и под ветром качались
вместе
с деревом,
гнездом,
поцелуем.

«Знаю, ночка, знаю…»

Знаю, ночка, знаю,
Что мигают звезды,
Что лежу под ними

За селом во ржице.
Но о чём страдают,
Но о чём мечтают
Те, что здесь со мною
Прячутся в ресницах.

Знаю, ночка, знаю,
Что пасусь в мечтаньях,
Только кто же, кто же
В этом виноватей —
Заблудилась девушка
В ласковых объятьях,
И домой дорожки
Не найти никак ей.

«Наши предки...»

Наши предки —
мечами тесаны до костей,
наши предки —
с копий кормлены по горло,
но твердыми глазами
они видели нас.

Наши отцы —
штыками татуированы,
наши отцы —
пулями сверлены насквозь,
но твердой кровью
они зачали нас.

«Лежит лицо на тротуаре...»

Лежит лицо на тротуаре.
Ну ж распознайте – это кто?
Мелькают мимо тени, пары,
Мчат бестолковые авто.

Лицо на путь упало косо,
Его обходят дни, как прах,
Когда-то так, худы и босы,
Валялись дети в будяках.
Ему бы крикнуть, только кожа
Дрожит больнее, чем струна.
Своё лицо найти не может
Какой-то человек средь нас.

Когда и от кого сбежало?

Зачем из глаз так рвётся крик?
Я подошел, а рядом ало
Светился вырванный язык.

«Не надо тёрна и тюрьмы…»

Не надо тёрна и тюрьмы,
Не надо гневаться ветрами,
Если упал я – подними
Всеми весенними ветвями.

И хмуро взгляд не отводи,
горят во мне столетий шрамы,
Если блуждаю, позови
Всеми напевными ручьями.

Я – твой огонь, а ты мой край.
Не будем враждовать сердцами,
Коль испугаюсь – покарай
Всеми свинцовыми дождями.

Пусть я должник. Не в этом суть.
Душой дороже, чем деньгами.
Если отчаюсь – позабудь

Всеми моими сыновьями.

«Во рту человека…»

Во рту человека
вулкан зашнурованный.

Заботливо отглаженные крылья
висят в шкафу
на гвоздике.

Стебли молчания
от пола до горла, до нёба.

Во рту человека
всё тот же
восход и закат солнца,
всё тот же
пейзаж зашнурованный.
Иногда в нем
заблещет молния.
А потом снова
глубокий
глубокий

вздох.

Крылья на гвоздике,
Изрядно поношенные,
Мышами изъеденные —
укладываем под дверь
и вытираем ноги.

Зачем нам летать, если стены, потолок,
воздух разрисованы крыльями?
Навзничь лежим на полу,
демонстрируем пальцем —
кому,
когда,
какие и как
приглянулись.

«В час ранний рождения солнца…»

В час ранний рождения солнца
деревья, прижатые к стенам,
боятся лестниц,
далёкие руки любимой

тоже страдают.
В час ранний рождения солнца,
ноги взбивают пыль,
над кирпичной вазой
седое дитя дыма
тянет вверх шею.
Крону моей памяти
полну-полнёхоньку гнёзд,
полную птичьего щебета
армада лестниц окружила.
Крона во мне болит
вокруг,
вокруг,
руки любимой щемят
далеко,
далеко,
в час ранний рождения солнца.

Перевод с украинского С. Лазо

Из английской поэзии

Мервин Пик
Из книги «Звуки и призраки»
К МАВ

Не заметить тебе
Легконогой газели,
И походку и стать
Без труда перенявшей
У тебя.

Не расслышать тебе
Эхо дальних копытец,
В каждом пульсе тугом
Белоснежного тела,
Твоего.

Ты замрёшь на ходу,
Постоишь, обернёшься,
И увижу газель
Я в серебряной роще
Твоей.

1937

Со мной повсюду призраки-вояки

Со мной повсюду призраки-вояки.
Веду их под конвоем по садам,
Чуланам и пакгаузам. Веду
Холмами лихоманки.
Дрожит асфальт вечерних площадей,

Дрожит прослойка чувственного праха,
Крысиный ход и ласковый ковёр,
Когда на марш
Выходим мы в победную погоду.

Жилище их – куда как небольшое:
Кентавр и ангел, лютостью равны,
На лестнице приветствуют друг друга.

А руки манит кровь.
Я – мыслящее древо,
Лелеющее трещину в стволе,
Покуда слабоумная луна
Преследует

Безмозглого барана.

Какой алхимик трещину заклеит
И две несовместимости сплотит?
Апрельский ангел, стражник непреклонный,
В одной из половин моих живёт.
В другой – язычник, яростный насмешник,
Неукротимый в топоте копыт.
Что вместе их удерживает? – Кожа
Хозяина и мускулов набор.

Не взять мне эти силы под контроль.
Мой мозг – непроходимое болото.
Во мне кипит гражданская война.
И обезумел в черепной коробке
Верховный судия.
И в пытку превратилась ностальгия
По летним дням.

Иду на схематических ногах,
Свисают руки до средины бёдер.
До самой ватерлинии осел

Корабль, перевозя двойное карго.

В одной из половин его – любовь,
Другая половина —
Сама гуляет по морю и топчет
Кишащий паразитами прибой.

1941

Разрушенье

Над городом глумится разрушенье:
Вовеки не затянутся землёй
Осклабленные трещины асфальта
В груди дорог, дворов и площадей.
Их город прикрывает одеялом
Всю ночь, в теченье тягостного сна,
Но утро настаёт и – прочь покровы.
В телах домов – немыслимые раны,
Наполненные жуткой пустотой:
Сквозь рёбра арматуры видно небо,
Где – ни планеты, только банды звёзд
Мёртворождённых рыщут и рыдают:
Слетают с теневого языка

Названья ледяные их и всё, что
В полёте жутком слышали они.
Опустошенья видимое эхо —
Воронки, – вновь заполниться должны.
Но их одолевает меньший голод,
Чем тот, что в крепостной стене любви
Терзает ужасающие бреши.

Осень 1941

«Измена!» – крикнул пальцев хор

Художник пальцы приучил
По воле тайных сил
К бумаге прикреплять
Тень разума графитом карандашным.

О дереве теперь вся их печаль —
Они сжимают сталь
И чувствуют свинец,
В стволе застывший в ожиданье страшном.

Без глотки пальцам не взроптать.

Где звук запястью взять?
Безвольным червяком
Несчастный указательный поник.
Но тишине наперекор:
«Измена!» – крикнул пальцев хор
И отозвался в плоть:
В державный мозг вонзился смелый крик.

1941

Братство немоты

Мы застываем в вековом досуге
И оплетаем звеньями кольчуги
Весь шар земной, и в братство немоты
Вступаем я и ты.

В безмолвии Смерть восклицает: Чу!
Лежим плечом к холодному плечу,
Осознавая зыбкость бытия
И что навеки здесь и ты и я.

1940

Из книги «Стеклодувы»

Калибан

Насколько Калибан – суть Калибан,
Настолько он – суть он. А я сполна
Изведал зависть в день, когда он сам
Явился на свои похорона.

То «верь» глаза твердили, то «не верь».
Но я его обличье разгадал:
Во тьме кромешной крался златозверь
И зёрнышки горящие плевал.

1948

Теченье, наполняя руки-реки

Теченье, наполняя руки-реки,
На перекатах будит плоть немую.
А я – недугом нежности сражён,
Пожизненно в отцовство заточён.
Малыш не избежит моей опеки,
Любовью болен тяжкою к нему я,

Спустился на мои прибрежья он.
Укромный закуток себе найди
Под боком у меня иль под стрехою
Затылка, и внимай, как терпеливо
Гремят во мне приливы и отливы
И валуны катаются в груди.
Тебе защитой будут ли плохою
Отцовских рук тенистые извивы?
Его черты нездешнее сиянье
Хранят, как будто звёздный бриз подул
Ему в лицо. Я понимаю сам,
Что не моим, таким земным, рукам
Столь неземное пестовать созданье.
В замерзших реках смолк теченья гул,
Они повисли горестно по швам.

1944

Сидит на сердце Джексона ворона

Сидит на сердце Джексона ворона,
Едва откроет крыльев веера —
Падёт его угрюмости препона,

Наружу тотчас хлынет детвора,
Златые грады, пажитей насечки
И клоунов смешные колера.

Но Джексон по-вороньи – ни словечка.
Вовек он предъявить не сможет прав
На то, что унесла златая речка:

На собственное детство. Адский нрав
Не усмирит нахохленная птица,
Больное сердце лапами поправ.

Осталось наблюдать, как в отдаленье
Редеет за видением виденье.

1948

Другие стихотворения
Глаза мои, откуда вы взялись?

Глаза мои, откуда вы взялись?
Вы мне крадёте бури и шторма.
А вами, губы, я целую высь,
Где солнца смех и ветра кутерьма.
Неужто вы перегниёте в слизь

И в прах, когда вольётся в жилы тьма?
Мы – часть тебя, иль – сами по себе?
Отец, зачем ты спрятался от нас?

Голос:
Течёт река, ручей с ней заодно,
И облака по небу косяком.
В руде, в цветке, в растении морском
За жизнь сражается зерно.
Но чу! Ты слышишь – раскричались чайки?

1939

Натурщик

Один среди уродливых богов
Мерцает ангел хрупкого сложенья,
Чрез таинство пластичного рожденья
Выходит он из узких берегов

Действительности. Тусклым серебром
Мерцает плоть – в него влюблённый дьявол.
Он – тих, когда бы в небе вой не плавал

Железных птиц, летящих косяком.

1939

Твоей любовью взятый в плен

Твоей любовью взятый в плен,
Я выткал пёстрый гобелен.
На нём живут орёл и лев,
Ягнёнок блеет, оробев.
Здесь Англия в слезах скорбит,
Здесь Вечное огнём горит,
Но, лишь тебе благодаря,
Не видно рыла упыря.

Май 1940

Крылья

Пути меж туч сражениям подобны.
Грустны разбитых крыльев голоса.
И только гордецы летать способны,
В полёте посрамляя небеса.

Лишь тот, кто, опалённый звёздным

светом,

В пространстве безвоздушном бьёт крылом,

Сумеет всё в огромном мире этом

Почуять сердцем и постичь умом.

1946

Старый седой осёл

Старый седой осёл щиплет траву и клевер.

С солнцепёка уходит прочь – к лаврам под бок – и обратно.

Только три звука слышны вперемешку с песнями птиц.

Первый, короткий и резкий, от удара копытом о землю.

Второй – это треск стеблей под белёсой ослиной губою.

А третий как марш наступающих войск,

Неотвратимый, медлительный, жуткий

Чавканья звук, задающего ритм полудню.

1949

Круговорот голов

Круговорот голов вокруг меня
Морочит и пугает, отрицая
Свою причастность к призракам. Томит,
Всем тайнам вопреки,
Всамдельнешностью жуткой.
И эта жуть плывёт
По закоулкам мира
Под скрежет шестерён…
Круговорот голов,
Рождённый горем.

Март-август 1958
Перевод с английского М. Калинина

Из латышской поэзии

Леонс Бриедис
Мой шестой подвиг
I

изящней мне хотелось тоньше
иной судьба дала маршрут
по смрадным свалкам суматошно
меня пути мои ведут

другим давно бы стало тошно
никак я не управлюсь тут
лишь выгребу одну я точно
грибы
другие вновь растут
все тоньше гнили смрад все тоньше

II

хлев чистить: только и осталось
на что еще я годен тут
тружусь не глядя на усталость
ответственный и тяжкий труд

но и полезный
как пред Богом
клянусь
и веря в то что прав
вступаю в райские чертоги
в руках надежно вилы сжав

«В ночи звучит призыв как плетка хлесткий...»

в ночи звучит призыв как плетка хлесткий
он гонит нас разбитою тропой
в неведомое и на перекрестке
в лицо нам лает ветер
в миг тупой
сдадимся мы судьбе что в каждом шаге
нас караулит зная наперед
что в царстве том куда идем с отвагой
иного больше не произойдет
чего уже однажды в жизни плоской

не послучалось с нами в миг тупой
когда звучал призыв как плетка хлесткий
и гнал вперед разбитою тропой

Выстывшая математика

гаснет очаг
ветер осенний на счетах дождя
палые листья считает
вечно один сберегая в уме
трижды по семь растрепанных облаков
и результат – убывающий месяц
если же корень квадратный извлечь из слякоти:
выйдет прохожий что плутает по грязной дороге
нам, уравненью с двумя неизвестными,
остается возведение в куб
взятого в скобки квадратные
сердца
что вопреки ожиданию

так и закончится падающею звездой
минус жестокий моей продрогшей души
что отменен на глазах бесконечности
сочувственным плюсом твоей души
все ж обещает
раннюю
ранящую
и бескрайнюю зиму

«На этих берегах штормящих...»

на этих берегах штормящих
куда пути нас привели
мы клочья парусов на мачтах
что гибнут от земли вдали
но крепок нерв судьбы он долго
спасать нас будет в дни тревог
под кровом позабытым Богом
где с нами обитает Бог

Варвары

все люди в этом мире братья
и только варвары в нем чужаки

они таранят наши римы они стирают наши рифмы
они тиранят наши чувства

они едят наш хлеб
и наше пьют вино
усвоив нашей жизни соль

мы не заметили
как стало их бессчетно много
что именно они отныне братья в мире
где мы,
люди,
будучи не в силах есть их хлеб
их вина пить
и постигать их жизни соль
лишь чужаки

и оттого мы стали нетерпимо

таранить их римы стирать их рифмы
и ранить их чувства

Волны пустыни

мы – волны
пустыни
память умершего моря
неустанно плывем
не умея достичь берегов
не чуя
что умерли
задолго до моря
той смертью
что была до рождения нашего

«Куда несут нас эти дни?..»

куда несут нас эти дни?
но небо не осветят
знаменья легкие огни
никто нам не ответит
что впереди нам суждено

и кто о том хлопочет

нам нами Бог немой давно
от ужаса
хохочет

Через ливонские поля

«Через ливонские я проезжал поля...»

Ф. Тютчев

Как щедро горизонт лесами вышит!
Как много здесь лугов, хранящих зелень!
И почему люблю родную землю
тогда, когда ее же ненавижу?

Бреду я по стерне сырой и дикой
под небом, тяжело разбитым снова.
Как много дорогого здесь, родного...
Чужого,
что я тщусь узнать сквозь дымку.

Сто глаз в меня вперяют рек изгибы,

с вершин за мной подглядывают горы
за каждым шагом с отчужденьем горьким.
Как будто в топях, я в оковах гибну,

обвившихся змеей вокруг лодыжек,
что среди вод муку печали мелет.
И огоньки, блуждая, светят еле
там, где ветра неприбранные дышат.

В час одинокий, если сумрак ляжет
на сердце, я хочу хотя бы стоном
иль шепотом, который в горле тонет,
ввысь прокричать: «Кто встал над нами стражей?

И кто всех нас, живых и мертвых, прочно
свивает воедино в узел плотный?»
.....
.....
Я – кровь от этой крови, плоть от плоти
земли моей,
и в неотбитых почках

давно скопилась ненависть слепая
и вечная глухой любви покорность.
И одиночество свое, как корку,
я прикушу, бессильно улыбаясь.

De Tristia

Бывает что печаль охвачена печалью
Она забьется в уголок души
как без вины виновная и долго
не может отвести глаза от рук своих
внезапно обессилевших которыми
она явила миру столько радости
Все самое красивое и истинное
всегда рождается печалью
И оттого саму печаль порой охватывает
невыносимая печаль

«Пред тем, как небосвод звезду зажжет...»

Пред тем, как небосвод звезду зажжет

во лбу прохладном чащи, где олени
проходят чутко, – всем, кто здесь живет,
нам нужно выстрадать в себе ее явленье.

Пусть прежде хлеб созреет…
И вино
забродит… Пусть шагает сын смелее,
и молодой луны улыбка мне в окно
пусть будет с каждым вечером нежнее.

Взойдет звезда…
Пока ж еще в селе
день обмолота – урожая праздник,
еще сосед, слегка навеселе,
тесак готовит для кабаньей казни.

Взойдет звезда…
Нигде не пропадет.
И свет свой вознесет над миром выше,
когда безумный снегопад пройдет
и занесет наш дом до самой крыши.

«Что в срок и свято начиналось...»

Что в срок и свято начиналось,
сквозь мглу придет,
отыщет нас...
И, словно сонный плач ребенка,
мы слышим в полуночный час
стон ветра,
вьюг...
Не понимая,
с какою целью
и когда
на все даровано нам право,
что стало долгом навсегда?

Перевод с латышского Ю. Касянича

Из еврейской поэзии

Моше (Моисей) Кульбак
Вильно
1
«Кто-то в талесе бродит среди твоих стен…»

Кто-то в талесе бродит среди твоих стен.

Грустя в одиночестве, бодрствует в городе ночью.

Вот он вслушался: храмы и проходные дворы

Отзываются эхом, как сердца, заметенные пылью.

Ты – псалтырь из железа и глины,

Каждая стена – мелодия, каждый камень – молитва.

Когда заливает луна каббалические переулки,

Обнажается твоя таинственная красота.

Грусть – твоя радость, торжество глубокого баса

В промозглой часовне, твои праздники – бдения,

И твое утешение – сиятельная нищета,

Словно летний туман тихих предместий.

Ты – темный талисман, вправленный в Литву,

Поросший лишайниками и серыми мхами.

Все твои стены – пергаменты,

каждый камень – Писание,

Разложенные и раскрытые по ночам,

Когда на старой синагоге оцепеневший водонос

Стоит и, задрав бороду, считает звезды.

2
«Грустя в одиночестве, бодрствую в городе ночью...»

Грустя в одиночестве, бодрствую в городе ночью:

Ни звука вокруг; громоздятся дома –
груды лохмотьев,
Только где-то вверху свеча оплывает и меркнет —
Каббалист-полуночник, пристроившись на чердаке,
Прядет, как паук, тусклую нить бытия:
– Есть ли кто-нибудь там, в пустоте леденящей,
Из которой, оглохшие, мы услышим
блуждающий голос?
И стоит перед ним во мраке свинцовый Разиэль.
Пергаментные крылья его обветшали и истрепались,
Глазницы полны до краев песка и паутины:
– Нет! Только грусть, больше нет никого!..
Догорает свеча. Зеленый еврей слушает, окаменев,
И пьет темноту из ангельских глазниц.

Кровля над кровлей – легкие горбатой твари,

Которыми дышит она, задремав между холмов.

А, может, город, ты – сон каббалиста,

Летящий во тьме, как паутина летит в бабье лето?

3
«Ты – псалтырь из железа и глины…»

Ты – псалтырь из железа и глины,

Разбрелись и скитаются твои полинявшие буквы:

Женщины – сдоба, мужчины – тверды, как деревья,

Непроглядные бороды, плечи,

будто из камня,

И живые глаза, удлиненные, точно речные челны —

Твои евреи по вечерам над серебряной сельдью

Бьют себя в грудь: О Боже, грешны мы, грешны…

Таращится месяц сквозь окна. Словно бельмо, —

Там, развешены на веревках, белеют лохмотья,

И девок, уже полуголых, тела, словно доски —

Суровы твои евреи среди узких суровых улиц:

Как стены синагог, коченеют немые их лбы,

И брови покрываются мхом – словно крыши

над твоими руинами.

И я точно ворон. Пою тебя в лунном свете.

Ибо солнце в Литве никогда не всходило.

4
«Грусть – твоя радость, торжество глубокого баса…»

Грусть – твоя радость, торжество глубокого баса

В промозглой часовне, мрачна твоя спокойная весна.

Из кладки выбивается деревце, из стен – травинки,

Ветхие стволы увиты пепельными цветами.

И медленно всходит грязная крапива,

Только холод стен омертвевших и нечистоты.

Но, случается, ночью, когда ветер высушит камни,

Серебря улицу, приближается мечтательное созданье,

Родившееся от прозрачной волны и лунных лучей —

Это Вилия просыпается, прохладная и туманная.

Нагая, изящна, простирая пенные руки,

Вступает в город. Скособочившись, взирают слепые окна

И мостики, перекинутые между безмолвными стенами.

О, никто не откроет дверь, не высунет голову.

Чтобы спросить, что было нужно

прозрачному грациозному существу.

Дивятся вокруг холмы и бородатые башни,

И тихо, и тихо…

5
«Ты – темный талисман, вправленный в Литву…»

Ты – темный талисман, вправленный в Литву,

И жизнь едва теплится на зыбком фундаменте:

В далеком просвете – белые лучащиеся гаоны,

Усердием отшлифованные кости – острые, твердые;

Красная жаркая рубаха стального бундиста,

Синий ученик, торопящийся к седому Бергельсону,

И идиш – венок из дубовых листьев

Над празднично повседневными ворота-

ми в город.

Сероватый идиш – сияние в зажмурившихся окнах, —

Это я, словно путник в дороге возле колодца,

Присел и вслушиваюсь в грубые голоса.

А может, это кровь так громко клокочет во мне?

Я – город! Тысячи дверей в мир,

В холодную измаранную синеву – кровли

над кровлями.

Я – почерневший огонь, жадно лижущий стены

И на чужбине сверкающий в остром зрачке литвака.

Я – серость! Я – почерневший огонь! Я – город!

6

«И на старой синагоге оцепеневший водонос…»

И на старой синагоге оцепеневший водонос

Стоит и, задрав бороду, считает звезды.

Перевод с идиш В. Асовского

Из белорусской поэзии

Тимур Хомич
Мойщица посуды

пожилая, болезненная, собирает объ-
едки
в целлофановый пакет, добродушно
улыбается, просит меня,
чтобы я отдавал ей остатки пищи, для
поросят? —
спрашиваю я. да, для поросят, говорит
она и снова улыбается

однажды в свободное время я застал её
в гардеробе
за чтением нового завета, она
посмотрела на меня и сказала,
что за каждым из нас
наблюдают ангелы, они смотрят на
нас
через незримые оптические приспособ-
ления, отслеживают
наши действия и наши поступки

когда я нёс ей пакет с испорченным ри-

сом, старший повар
остановил меня
и пояснил, что так делать не стоит,
если заметят, будут проблемы,
я не понял его: этот рис
никуда не годится,
в любом случае
я выброшу его
на помойку

короче, как знаешь,
но
лучше выбрось

я так и сделал —
в ресторане
ведётся
видеонаблюдение

Маша

её звали, может быть, маша; у меня
куча знакомых маш,
поэтому я даже не помню точно,

правда ли её звали машей

в общежитии литинститута
на подоконнике
я говорил ей шёпотом, что я
отличный любовник,
а она говорила, что от меня
неприятно пахнет водкой

(в тот день действительно
меня угостила дешёвой
российской водкой
поэтесса из Новосибирска)

через четыре дня
я купил билет на поезд и
уехал в минск

сидя в плацкартном вагоне,
я вспоминал, как эта самая маша
плакала
и жаловалась на то,
что, имея актёрское образование,
она вынуждена работать
за пятьсот рублей в массовке,

что не имеет жилья,
что никакой она не литератор,
а поступает в литинститут
ради общежития,
неужто в этой жизни,
говорила она сквозь слёзы,
человек не может даже трахнуться,
как человек,
а должен вот тут,
в уборной,
на унитазе,
как собака

мне хотелось убить её,
ибо я не знал,
как её утешить,
ибо получалось,
что солгал ей
и любовник я никакой

Стих написанный за полчаса до того как ничего не случилось

вы знаете? нет? а я знаю
точнее я догадываюсь об этом
я догадываюсь что скоро произойдет нечто
но пока что не знаю что
я лежу на кровати небритый в одежде
я страшно устал от всего этого
я думаю что всё ещё может пойти
по-другому
при одном условии
надо научиться не быть
мудаком
нормальный человек
вот вершина к которой нужно стремиться
приложив все силы
волю и ловкость
о как бы мне хотелось научиться быть им

нормальным человеком
не бояться толп стадионов ночных клубов
очередей в гипермаркете
полюбить автомобили и восхищаться
отличными литыми дисками
и отличной подвеской
перебороть отвращение
к голливудскому кино чтобы
иметь возможность поболтать
о новом фильме в компании
научиться в конце концов
зарабатывать деньги блядские деньги грёбаные бумажки
они любят этаких
пронырливых малых
с развитой хищной челюстью
и огромными
как вёсла
кистями рук
вы наверное
встречали этих парней

они как правило
совершенно необразованы
не знают кто такой
аристотель или коперник
ничего не слышали о
феноменологии и синергетике
не отличат эксгибиционистов от
экспрессионистов
но
они точно скажут
сколько стоит ваш мобильный
раз на него глянув
они знают по именам
почти всех таксистов в городе
все что вы покупаете они купят
в три раза дешевле
работая помощником администратора ресторана
или к примеру продавцом-консультантом в магазине
модной одежды
такой паренёк

умудряется зарабатывать до ста долларов в день
левой прибыли
неизвестно каким образом
попробуйте обвести его вокруг пальца
вы поймёте что кружите
вокруг его руки
такой паук
годам к сорока имеет собственную
фирму или магазин
или ещё что-нибудь
но обязательно что-то имеет
а я не такой
потому
лежу на кровати
как последний лодырь
как последнее говно
и думаю
или произойдет наконец
что-нибудь
или я скоро сдурею от всего этого

Обнявшись, мы могли лежать так до утра...

обнявшись, мы могли лежать так до утра...

долгое время мы даже не занимались сексом

однажды я процитировал ей

одного писателя: раньше мужчина

разговаривал с женщиной

хоть ему и хотелось оказаться

у неё под юбкой

теперь же

мужчина считает себя обязанным

лезть под юбку

хоть и хочется

поговорить

ты понимаешь

что я хочу сказать, сказал я

с тобой так легко, так просто, сказала она

в первый день откуда-то появился пёс
лохматый, похожий на сенбернара
он сопровождал нас до моей квартиры
я не шучу: он поднялся
на пятый этаж (я тогда жил на пятом)
и убежал только когда я
открыл входную дверь

на следующий день мы снова возвращались с прогулки
в половине третьего ночи
мы очень удивились
представьте себе, как мы удивились
когда нас снова
догнал пёс
и сопроводил до дома
он тихо, словно привидение, шёл рядом
мы прочитывали в этом тайные знаки
мы ощущали присутствие Бога
и чего-то ещё
поскольку в это
сложно поверить:

это был другой пёс

такое удивительное удивительное начало
такой удивительный удивительный
мог бы быть
стих

но закончилось
всё банально
как всегда
закончилось
банально

Когда я сажусь писать стих…

когда я сажусь писать стих,
я начинаю думать о смерти.
о болезнях.
об одиночестве.
о сумасшедших.
мне иногда говорят:
– ты ж молодой ещё;
а уже такой утомлённый,

такой безразличный, такой апатичный.

мне тяжело объяснить этим людям,
что меня мало что интересует
в этом мире
по-настоящему.

я обижу их, я вызову
к себе отвращение, когда скажу,
что их заботы и их радости
мне до одного места,
что плевать я хотел
на их радости и их заботы.

почему ты так относишься к жизни? —
спрашивают они, – мир
разноцветный.
да идите вы на хуй, придурки.
идите вы в жопу,
я был прекрасным мальчишкой,
я любил вас, я был полон
нежности и сочувствия,

но вы не цените
ничего, вы превратили
жизнь в какое-то позорище,
в хит-парад победителей
в борьбе за выживание,
вы заселили планету чучелами,
вы уничтожили
всё, что казалось мне
привлекательным,
потому, усевшись за
рабочий стол, я думаю
о смерти и о
болезнях,
и об одиночестве,
я ни о чём другом
не могу
думать.

а вы
позаботьтесь о себе,
потому что недолго вам
осталось потешаться.
рейтинги

ваши
падают.

Сидя в электричке

«осиповичи – минск»
и сочиняя этот верлибр
я отчётливо осознал
что не умею
писать о том
о чём не имею
хоть какого-нибудь
представления
о том
чего не видел
в чём не принимал участия
а могу написать
лишь о том
как стоял
с холодным лезвием у шеи
возле стены
панельного дома в бобруйске

как пьяный и обобранный
давал показания ментам в копыле
как напивался в борисове с борисовскими евреями
как напивался в Витебске на фестивале пурим
на фестивале арт-сессия
как встречал друга
после его отсидки в жодино
как курил траву с российскими
актёрами в бресте
как снимал проститутку за сорок
у. е. в Смоленске
как влюбился в минске
как учился в минске
как работал в минске
как резал запястье в минске
в доме барачного типа
по улице нововиленской
где не было ни горячей воды
ни ванны
ни унитаза

ни будущего

как сходил с ума от одиночества на проспекте газеты правда

как у дворца железнодорожников получил кулаком по роже

как читал верлибры в москве

как читал верлибры во львове

как верлибры пишутся

когда ты едешь

в минск

из городского посёлка мачулищи

в электричке

«осиповичи – минск»

и чуть не плачешь

еле сдерживаешь себя

чтоб не завыть

не закричать

под эти щемящие звуки

под эти тоскливые песни

под этот невыносимый вой аккордеона

«нужно с этим что-то делать

так нельзя больше

сирые мои
сонные мои
разочарованные мои
помятые мои
соотечественники»

Когда-то я снимал…

когда-то я снимал
на двоих с приятелем
однокомнатную квартиру
по улице Кузьмы Чорного.
в квартире были
грязные жёлтые занавески.
я просыпался на рассвете
лежал в своей кровати
в тесной неуютной комнате
и смотрел на стену
облепленную этими старыми обоями
с мерзкими розовыми цветами
весьма отвратительными цветами.

я видел как из окна

на эти цветы
опускаются скромные
лучики света
на цветах начинала
блестеть роса
и я понимал: это слёзы
старого еврея
который когда-то жил
в этой квартире.

однажды
он вышел
на свидание
со смертью
держа в руке
эти мерзкие
отвратительные
розовые
цветы.

Перевод с белорусского К. Новикова

Из словацкой поэзии

Зузана Куглерова
Баллада

Моя душа вернулась в дерево —
спокойна, обнажена.
Ветвится в тишине.

Гора нашёптывает балладу
о трёх братьях.

Двое уже на небе,
но один
ищет печальную сестрёнку.

Она превратилась в перо —
неуловимо касается его остывшего сердца.
Превратилась в дождь.
Превратилась в листья.
Опадает осенью на дорогу,
откуда нет возврата.
Двое ушли,
но один

ищет печальную сестричку.

Она зачарована в этом дереве.

Гасну

Огонь опять впадает в горе,
сужается петля,
и я горю.

Он оставил поджигатель —
несколько сполохов пламени.
Загораются в ночи и опаляют сны.
Ищу в них давнюю страсть,
укутываю ладонью тлеющий уголёк.
Молчи, пожалуйста, Бог боли,
пусть ещё горит, пусть это просто…

Ворошу золу воображения.
Вчера они были живы —
разноцветные рыбы с полупрозрачными плавниками.
Плыли в моем сердце
твои поцелуи, руки,
твои искры.

Сегодня от них ничего не осталось —
залегли на глубине, потухли.

И я как пламя керосина
гасну.

Ожоги под белым пеплом

Полтретьего ночи
читала стихи одного человека —
в каждом строке след звёздной пыли.
Так же одинок – как и я
в своём одиночестве.

Ощущение ветра, коснувшегося огня —
он сбежал прежде, чем пламя угасло.
Хижина скрывает угли
под белым пеплом.
Кружу над нею ладонью,
пламя ещё не исчезло…

Выключаю звезду в окне,
но не прячусь в темноте тлеющего сердца,
слабого мерцания на кончике сигаре-

ты.
Жду утра.
Зари.

* * *

Сбегаю от всего,
не имеющего будущего и смысла.
Отвечаю на зов других путей —
пусть заглушат бунт в крови,
реке текущей.
Одарят сном и сбросят оковы с ног.

Не чувствую битвы за общую кость,
чувствую, как дым
поднимается над алтарем,
на котором лежит жертва Богу мира.

Предпочла бы найти свой конец света —
где водопадом дождь.
Когда окажусь там,
повешу сердце на гвоздь. На каплю.
На воздух.

Аминь.
И придёт тьма.

Звезда

Не знаю, чего боюсь —
любви или ненависти,
молчания или слова.

Обрубаю собственные корни,
стараюсь не быть,
не помнить,
не чувствовать боль.

Извлечённые чувства
скатываю как пальто,
тревожа сновидческую пыль.

Я хотел уберечь, сохранить…
в глубину глубин,
в чёрную дыру,
в которой потерялась Вселенная.

Воспоминания взрываются
барабанным боем внутри.

Боюсь...

...что и там он оставит после себя
такую же маленькую доверчивую звезду...

Перевод со словацкого В. Коркунова

Из украинской поэзии

Остап Сливинский
Неопределённая форма

Удивляться:
в управление завершённых дел
воробьи залетают сквозь крышу

Удивляться:
старуха в подъезде ссорится
с темнотой

Удивляться:
расступилось море,
а они на жару негодуют

Писать:
не более чем оставлять свет
в прихожей

Удивляться:
на мусорнике – отдельный контейнер
для домашних растений

Знать:
все мы – как рыбы и снег —

непотопляемы

«И даже в самом конце...»

И даже в самом конце,

когда почти никого не узнавал,

когда город был для него словно только что возведённым,

он встречал нас, танцуя.

Открывал двери с белой бутоньеркой в петлице,

полный упрямой свадебной радости,

и говорил:

я ваш свидетель, я один, а вас так много,

и вы, как колибри, любите друг друга в полёте,

сходитесь и расходитесь, как же

я вас запомню?

Приносил бутылку, которая сама собой

наполнялась, и называл нас именами наших дедушек и бабушек,

старательно составляя пары, ибо

надо отдаваться любви, пока не затрубит рог.

Что-то изгнало его из опустевшего леса,

давно, осенью,

когда уже не было ни от кого, ни ради кого

прятаться, —

он пришёл, оставляя в прихожей мокрые следы копыт,

и попросил подыскать ему супругу.

Отец смеялся: она же – не дерево,

как ты её запомнишь?

Сатир с кустистой бородой, которую не взяло

даже немецкое лезвие.

Правда же, когда и нас призовёт рог

в наш индийский поход, ты будешь ждать там —

смешливый свидетель —

и будешь встречать нас, танцуя?

Алинка в саду с большим псом

Сколько же он прожил? Все дети – все пятеро —

на нём ездили верхом.

Когда пришёл мой черёд,

он ослеп уже, и вертелся на месте, словно щенок,

что охотится за своим хвостом, —

грустный и впавший в детство пёс. С тех пор

столько всего случилось,

что ничего и не произошло.

Хорошо, что пожары никогда между собой не сговариваются,

и я проскальзывала между ними.

Что ветра,

словно сельские сопляки, всего-то свистели мне вслед.

Только те, что забирали братьев и заглядывали в кастрюли,

были настоящими специалистами.

Но зато

столько было спасателей, которым хотелось смеяться в глаза.

Столько было советчиков, боявшихся

опалить рукав.

Столько было учителей, что я продолжаю вертеться на месте —

как на том старом фото —

маленькая женщина верхом на большом псе.

Перевод с украинского С. Вельского

Из литовской поэзии

Генрикас Радаускас
Зимняя песня

От завьюженных роз, заблудившихся птах,
От нехоженых склонов в зыбучих снегах
Затворилась зима на незримых высотах,
В ускользающих, млеющих, нежных тонах.
Стих родится – как ветер – до всякой причины,
И, тревожно звеня, по сугробам промчит,
Но снега не пробить новой песни зачину,
И вернется – как ветер – в свой дом, замолчит.

Белые мельницы

Скрип белых мельниц – время мелют,

И время сыплется в горах.
Декабрь. Чьи пальцы занемели
Церковных башен на крылах
И им взлететь не удается
Да и меня он не пускает
И кто до края доберется,
Где фавн на травке засыпает,
И месяц на рожке играет…

Сказка

Сквозь паровозный дым, сквозь проводов гуденье,
Сквозь из железа дверь, томима взаперти,
Сквозь желтого огня безумное свеченье
Сквозь жаркую слезу, упавшую почти,
Сквозь журавлиный клин, на север лёт стремящий,
Сквозь кладовые гномов-силачей
Взмывает Сказка бабочкой искрящей
В тропическом дожде цветных лучей.
Шагами по семь миль здесь путь на-

резан,
Сиротку злые волки берегут,
И братьев Эгле косами зарезан
Муж-уж ее на пенном берегу
Паук на небеса ползет по былке,
Вещает камень, дерево ж – молчок.
И ищет счастья, на слепой кобылке
Всю землю обскакавший дурачок
Смеется мир, свои раскинув сети
На тропках и тропинках второпях.
Как соловью, внимаю сказке этой,
Не верю миру – Сказке верю я.

Элегия

На землях я стою огромных,
Как капля, круглых, я один.
Луны и солнца неуемный
я слышу смех, а из долин
Холодных ветер вдруг достанет
Волос моих – и не понять:
Вдруг сердце биться престанет,

Вдруг – раньше, чем смогу сыскать
Я ангела того, который
Чуть слышно, тихо мне поет,
И черта-козлонога, в гору
И под гору чей след ведет.

Зацветает каштан

К чертям высокое искусство,
И запрещается грустить:
Весной каштан приходит в чувство —
Берется за окном цвести
Велит – и льется дождь горячий,
И ветер с юга дуть готов,
Он так цветет, чтоб изливались
Сердца рекой из-под мостов
Чтоб книги со столов слетали,
Чтоб впасть в истому вечерам,
И чтоб болезни бушевали
Из неизвестных докторам
Чтоб пенилось все и горело,
Чтоб птицы свистом изошли,

Чтоб мать глаза все проглядела,
А дочери чтоб не пришли.
А на деревьях тихо свечи
Горят – в румяных точках цвет.
Домой слепым вернулся.
Вечер. Чернила брызжут в белый свет

Дождь

Дождь на ногах стеклянных, тонких
Кружит по саду, не слабея.
Орешник рукоплещет звонко,
Трепещет радостно аллея.
Над лесом старая береза
В прорехах зонт зеленый высит
Желтоголовник в дерзкой позе
Мир золотом пленить замыслил
Изливы желтых молний реют,
Все ближе гром, все шире дрожь,
По всей земле кружит, смелея,
Тот на ногах стеклянных дождь

Вечер

Вечерами так бывает:
Все сидеть бы и смотреть,
Как нас солнце покидает,
И в луче его блестеть.
И смотреть, как речка иву
Отражает и луга,
Вечер землю обнимает,
И тепла его рука.
Слышать свист над головою
Птиц неведомых в саду,
Дерева бредут гурьбою
В ночь, бормочут на ходу
Так сидел бы и смотрел бы,
Мысли все-превсе забыв
Ничего бы не хотел бы
Даже смерти.

Сон в летнюю ночь

Вечерами, в предсонные миги,
Когда лампа еще горит,
Но уже засыпают книги
И лягушка из дерева спит,
У соседа внизу, на камине,
– Старомодных часов дин дин дон, —
Слышу запах цветущего тмина,
И все ближе и слаще все он.
Вижу я – отдыхающий косарь:
Голубые глаза в зеленях,
Шелестит летний ветер в прокосе,
На соломенной шляпы краях.
Вижу я, сквозь туманы будто,
Машет хрупкая мне рука
Леску мечущего как будто,
Год, как умершего, пастушка
Искупаться меня зазывает,
Тонкий голос летит ко мне,
Солнца умерших свет играет

На его лице в моем сне.

.....

Цветок назначил ветру свиданье в ранний час,

А ветру показалось, что он сказал «Сейчас!»

Шепнул на ушко брату, а братец-дуралей, —

Другому, помоложе, глупей и веселей,

Согнал тот тучи в небе, чтоб дождиком полить,

Раздуло солнце печку, чтоб горячей светить,

Смешалось все в деревне, и только и слыхать:

«Какого цвета радость готовимся встречать?!»

Беды не дожидаясь, решил расцвесть цветок

И лопнул влажной почки зеленый ободок.

Бутон раскрылся белый, а ветер – ну, качать!

И «Белый! Белый! Белый!» без устали кричать.

Графство Юнипер

Пасутся яблони в тумане.
Ручьев учтивый толк журчит,
И, как в зачитанном романе,
На розе бабочка сидит.
А можжевельник джин растит.
И этот джин цедят матросы,
Пока на борт петух их не вернет,
А не матросы, так каменотесы
Которых церковь-новостройка ждет.
Пасутся овцы, храм в тумане,
Волнуются ячмень и рожь,
И, как в зачитанном романе,
Близ розы – бабочек галдеж,
А можжевельник джин растит,
Ручьев учтивый толк журчит

Начальник станции

В пустыню перрона
Под солнцем фонарным отвесным
В фуражке червонной
Выходит на встречу экспресса.

Он давится ночью и снегом,
Экспресс ненасытный,
Теснимы ревущим пробегом
Вокзалы звенят беззащитно.

Стоит на перроне, бессильный,
Бессонный, усталый,
И смотрит на рельсы,
Блестящие ленты металла

Полуночный дребезг:
Железо о сталь ударяет.
Под месяцем в небе
Кривое созвездье свисает

С пустого перрона
На искры глядит без опаски

Из желтого круга персона
В червонной фуражке.

Стрела в небесах

Я – как стрела, которую ребенок
В цвет белых яблонь на зеленом взморье,
Нетвердою рукою запустил,
И облако цветов, как будто лебедь
Мерцающий, на волны опустилось,
Глядит ребенок и не может пены
От цвета отличить

Я – как стрела, которую охотник,
Силен и молод, запустил в орла,
Но в птицу не попал,
И ранил солнце, старое, большое,
И целый вечер кровью истекал
И умер день.

Я – как стрела, которую безумный
Солдат врагом охваченной твердыни
К могучим высям ночью запустил

О помощи просить, но, Бога не найдя,
Стрела блуждает меж созвездий хладных,
Вернуться не решаясь.

Фонтан

На урну в парке, на бетон ложится
Лист желтый тихо. Осень велика.
Сквозь горло льва фонтанного струится
Посеребренных ручейков река.

Листами желтыми так крупно плачут липы
Вороны каркают вдвоем, бог весть, зачем,
А львиным горлом все идет вода,
Клен золотой дрожит в ней, как звезда.

Перевод с литовского В. Просцевичуса

Из белорусской поэзии

Андрей Хаданович
«Назначишь мне стрелку в песочных часах, чтобы я…»

Назначишь мне стрелку в песочных часах, чтобы я

помог отыскать за стеклом все чужие секреты.

Песочница времени память доверит ручьям.

Второй потечет на тот берег, а первый – на этот.

Твои города ни один не топтал лиходей.

Я с красным ведерком шагаю до крепости хрупкой.

А в этом ведерке – песочные пряники дней,

несу их в подарок, отдав тебе сердце и руку.

Ты в маминых клипсах, к ноге подорожник прилип.

И я, как трехлетний заложник глазищ твоих хитрых,

решаю, что смерти не будет: не взрыв, просто клип.

И в воздухе титры, и к звездам шагаем по титрам.

«Падает август с метеоритных ног…»

Падает август с метеоритных ног.

Солнце и влагу шлёт самогонный бог.

Памяти хроменькой хватит и промелька.

Дрался б и за соломинку, если б мог.

День у погоды выдался вдруг сухим.

Часть небосвода, на волоске висим.

Так ярко лесам, месяц тонет в огне и сам,

странствуя по часам наших лет и зим.

Звезды, как рыбки, над тростником парят.

В каждой ошибке радость живёт своя.

Почва сырая всякого забирает.

Лето без края. Время найдёт края.

«Так потянешь за шпильку, а вытянешь ветер в причёске...»

Так потянешь за шпильку, а вытянешь ветер в причёске,

теплый май, полотенце, ночные купания и

соловьиную песенку, молнии злую полоску,

твой рюкзак-потеряшку, а с ним и плацкарта огни.

Так потянешь за дым, а найдёшь порыжелое взгорье,

журавлиные крики да листьев цветной фитилёк.

За янтарным осколком – забытое утро над морем.

За крыло мотылька не тяни, он всегда мотылёк.

Перевод с белорусского Е. Джен Барановой

Город, который никогда не спит (так и не адаптировался к местному времени)

Этот город никогда не засыпает,
и не снится – и секреты тут ясны:
он магнолий лепестками засыпает
тех зевак, что слишком долго смотрят сны.

Этот город раскрывает каждый почерк,
Этот город растворяет каждый кич.
Прикурив на Кони-Айлэнд, даст по почкам
и разбудит под столом на Брайтон-Бич.

Тут кошерное готовят из баранины.
В бой морской опять вышгрывают стриты:
25-я и Мэдисон – вы ранены,
А 30-я и Лексингтон – убиты.

Километр тут растянется до мили —
Да и жизнь на треть длинней, если поверить.
Здесь на улицах за вечер насмолили
Так прикольно, что не хочется проветрить…

Рок-звезда здесь выступает в переходе,
бросишь денежку подземному шаману.
Видишь остров – улыбаешься Свободе,
и она тебя поманит из тумана.

Все пройдет, но сердце точно здесь посеял.
И выходит твоя муза на Бродвей,
И бредешь за нею за полночь на север,
с каждым шагом забирая все левей.

Чтоб гудела память музыкой сплошною,
Если в чем преувеличу (повинюсь) —
То, как скрещенные пальцы за спиною,
эти улицы скрещу я с авеню.

Перевод с белорусского И. Кузнецовой

Ночь музеев
Старинная грузинская песня

Голову уроню на стол – окажусь в музее,

а вокруг – живые картины – реально, факт.

Белый голубь Пикассо глядит на меня, шизея:

в третий раз просыпаюсь тут – не свыкнусь никак.

Вылезет из недр интернета Nickname Пиросмани,

а вдогонку за ним симулякры собак – Google dogs.

Элегантный цыган выклянчит мои money-money

на сигары, цилиндр, цинандали плюс импортный кокс.

Знает всю подноготную он стихов и прозы,

на убитой маршрутке подбросит на

фильм «Мимино»,

он вино превращает в песню, а песню – в слезы,

слезы в дождь; а дальше по новой – лоза, вино…

Оживится к ночи весь город со мною вместе,

животворна вода Тбилиси – помногу не пьют.

Мой водитель в пробках так громко врубает песни, —

люди на остановках пляшут и в такт поют.

Мужики-торговцы меряются чурчхелой,

дразнят самой большой, видной, вкусной и спелой,

повариха-красотка – та с бабников угорает, —

где горячей да слаще и сама лучше знает.

«Платье тебе к лицу», – говорю. «Тут вопрос тела. —

краля ответит, – Я для него потолстела».

«Удачная шутка». «А это – вопрос души.

Ты, как вижу, поэт. Вот возьми – опиши...»

Немыслимый город словно сошел с граффити,

двинулся в ночь музеев, ведь каждая ночь – музей:

«Родился – расти большой, и, хоть неофит ты,

отрывайся, пой и танцуй, но притом не трезвей».

Льется литрами лирика и буквы легкого флирта

кружат слепым котом, твердят: «Горячо! Горячо!

Целоваться только в затяжку, любить – без фильтра,

чтобы вдруг умереть от счастья – и жить еще».

Детали

Когда, зацепив, говорили не «упс» – «извините»,

читали бумажные книги, да просто читали, —

поэт был пиратом и реяли флаги в зените.

Не помню, какие флаги, – это детали.

Когда вековые деревья срастались под небом, —

таким бескорыстным ты был, – все тобой помыкали;

и, свет погасив, говорили все девы: «Ну, где вы?»

Не помню, какие девы, – это детали.

Вина океаны вливались в гортань романтизма;

ты всё выпивал, был герой из гранита и стали…

А нынче детали посыпались из организма.

Не помню, какие детали, – это детали.

Перевод с белорусского Г. Власова

Из датской поэзии

Нильс Хав
Женщины Копенгагена

Снова, в который уж раз, влюбился я

В пятерых разных женщин во время поездки

На сороковом автобусе.

Да и можно ли контролировать свою жизнь в таких условиях?

На одной была шубка, на другой – красные веллингтоны.

Одна из них читала газету, другая – Хайдеггера —

А улицы заливало дождем.

На бульваре Амагер вошла промокшая принцесса,

Взвинченная и разъяренная – и я тут же влюбился в нее.

Но она выскочила возле полицейского участка,

И вместо нее вошли две сирены в колышущихся платках,

Они резко разговаривали друг с другом на пакистанском

Всю дорогу до муниципальной больницы —

И автобус готов был вскипеть от переполнявшей его поэзии.

Они были сестрами, одинаково красивыми,

И обе разрывали мне сердце – и в то же мгновенье я спланировал

Новую жизнь в деревушке под Равалпинди,

Где дети подрастают в ароматах гибискуса,

Пока их отчаявшиеся матери поют разрывающее сердце песни,

А утки гнездятся на пакистанских равнинах.

Но они не замечали меня!

И та, что в шубке, закричала, поднеся руку в перчатке к губам,

Что ей выходить на улице Фаримагс.

Та, что читала Хайдеггера, внезапно

захлопнула книгу

И посмотрела прямо на меня с уничижающей улыбкой,

Как будто внезапно перехватила взгляд

крайне незначительного мистера Никто.

И мое сердце разорвалось в пятый раз,

Когда она встала и вышла из автобуса вместе с остальными.

Жизнь так жестока!

Я продолжал еще две остановки, пока не бросил эту затею.

Всегда заканчивается одинаково: ты стоишь одиноко

На бордюре, посасывая сигарету,

Раненый в сердце и немного несчастный.

Моя фантастическая авторучка

Я предпочитаю писать какой-нибудь старой ручкой,

найденной на улице,

Или акционной, с радостью принятой в дар от электриков,

Газовой компании или банка.

Не столько из-за того, что они дешево мне достались,

Сколько потому, что такое заимствование

Наполняет мое письмо индустриальным духом:

Запахом пота квалифицированных рабочих,

административных офисов

И тайной во всех ее смыслах.

Однажды я написал сложную поэму чернильной ручкой —

Чистая поэзия о чистом ничто,

Но теперь мне нравится дерьмо на бумаге, пот и сопли.

Поэзия не для зануд!

Поэма должна быть такой же честной, как индекс Доу Джонса —

Смесью реальности и абсолютного блефа.

Для чего мы растем такими чувствительными? Не для многого.

Поэтому я слежу одним глазом за рынком акций

И ценных бумаг. Фондовая биржа —

Это часть реальности – как и поэзия.

И поэтому я так радуюсь этой шариковой ручке

Из банка, которую я нашел одной темной ночкой

Перед закрытыми дверями магазина. Она чуть пованивает

Собачьей мочой, но пишет она фантастически.

Визит моего отца

Меня посетил умерший отец.

Он снова садится в свое кресло, которое осталось у меня.

«Ну что, Нильс!» – говорит он.

Он загорелый и сильный, волосы блестят,

Словно покрытые черным лаком.

Когда-то он передвигал могильные камни

При помощи стальной проволоки и колесной тележки, я помогал ему.

Теперь он отодвинул свой собственный.

Сам. «Как дела-то?» – говорит он.

Я рассказываю ему все помаленьку,

Мои планы, неосуществившиеся мечты.

На доске для квитанций собралось семнадцать счетов.

«Да выбрось ты их», —

Говорит он, – «снова придут!»

Смеется.

«Многие годы я был строг к себе», —

Говорит он, – «Я просыпался с мыслью,

Как бы стать лучше.

Вот что важно!»

Я предлагаю ему сигарету,

Но он сейчас бросил курить.

Снаружи солнце зажигает костры на

крышах и каминных трубах,

Мусорщики грохочут и орут друг на друга

На улице. Мой отец поднимается,

Подходит к окну и смотрит на них.

«Заняты работой», – говорит он. – «Это хорошо.

Делай что-нибудь».

Проблемы с сердцем

Мы говорили о проблемах с сердцем

И внезапной смерти;

Шутили насчет

Картофельных чипсов, вина и сигарет.

Мы ели и пили. Затронули тему слегка,

Поскольку никто и не думал о том,

Что однажды каждый из нас окажется лежащим

В одиночестве на тротуаре или каком-то полу

С видом на шагающие ноги или ножки стула,

Пока кто-то порывисто будет обрывать
Пуговицы с нашей одежды
И звать на помощь.

Нет стыда в том,
Что умираешь на полу,
Поскольку и вовсе не было
Такого намерения.

Охота на ящериц в темноте

Во время этих убийств мы шли
Незамеченными вдоль озера.
Ты говорил о Бетховене,
Я разглядывал, как грач
Клюет собачье дерьмо.
Каждый из нас замкнут на себе,
Окружен оболочкой безразличия,
Которая защищает наши предубеждения.

Холисты верят, что бабочка в Гималаях

Одним взмахом крыльев может повлиять на климат

В Антарктике. Быть может, это правда.

Но когда въезжают танки,

А куски плоти и кровь каплями падают с деревьев —

Это неуютно.

Поиски истины – как охота на ящериц

В темноте. Виноград из Южной Африки,

Рис из Пакистана, финики, выращенные в Иране.

Мы поддерживаем идею открытых границ

Для фруктов и овощей,

Но при этом крутим носом,

Когда дело касается черных.

Мертвецы похоронены глубоко в недрах газет,

Поэтому мы, незатронутые, можем сидеть на скамейке,

На окраине рая,

И рассуждать о бабочках.

Анестезиологи обсуждают астрономию

Анестезиологи обсуждают астрономию,
Поднимаясь в лифте,
Пока пациенты подъезжают на такси,
В сопровождении семьи или без.

Вселенная
Состоит из ста миллиардов галактик.
Если и есть разумные цивилизации
Хотя бы на миллионной доле этих планет,
Мы от них далеко.
Снаружи: холодный дождь,
Декабрь.

У больного,
Сидящего в приемной
Среди потрепанных журналов,
Жизнь которого подвешена на волоске,

Осталась одна единственная молитва.

Кафе «Пушкин»

Мы живем сейчас, как в русском романе в стихах,
Написанном Александром Пушкиным.
Мы меняем дорожные знаки,
Но мы нуждаемся,
Спим в одной постели под ворохом одежды,
Когда трещат морозы.
Москва сейчас —
Снова Москва.
И мы прорываемся. Все ложь,
Так же как и в реальности.
Ты мечтаешь украсть автомат
У спящего солдата,
Но солдаты не спят
С тобой всю ночь.
И ты танцуешь всю ночь в кафе «Пушкин»,
Пока я стою в гардеробе

И курю русскую сигарету.
Что остается?
Сейчас тебя зовут Наталья,
И я говорю как настоящий безумец,
Безумец, безумец.

А Пушкин действительно был убит
Ее любовью.

Перевод с датского Е. Мордовиной

Из польской поэзии

Кшиштоф Шатравский
Продавец имен

я пишу на песке имена
я иду походкой слепого
но вижу ясно и далеко
вот площадь пылает на солнце
городская стена гордо возносит заставу
и пусть так будет всегда
пусть бешено цветут сады
заселяются улицы, а голубые трамваи
радостно катятся по тенистым аллеям
и пусть имена будут правильными
и однозначными
ведь я продаю их без прибыли
может, здесь найдет свое имя
та девушка с грустными глазами
что идет себе по дороге
прочтет свое имя мальчик

глядящий на быструю воду
есть у меня имена с пожизненной гарантией
есть дешевые, на одну ночь, и, наверное
я написал уже все, хотя многие
остались в забвении
я даже не смогу их назвать
небо ясное, словно взгляд ангела
деревья колышутся, как раненый дракон, а моя
молодость пытается справиться
с последними обидчиками, но скоро
скоро и они исчезнут
ну вот
я тихо закрываю глаза, словно они – калитка
искусно выкованная из черненой стали
словно они – деревья, склонившиеся
над искалеченным камнем
моя беззубая старость находит покой
повторяет концовки литаний
и все тот же голос, все те же слова

пересыпает ветер и стирает шаги
как долго еще

День рождения

с утра звонят друзья
опьяненные обещаниями вечного счастья
пышностью своих поздравлений
искренностью пожеланий, упакованных с бантиком
высокопарные, степенные, голосистые и счастливые
но всё, что они желают, уже есть
наяву, на блюдечке, на банковском счету
или никогда не будет

а может, по-другому
приходят рано вечером
преспокойно заглядывают на кухню, сидят на лестнице
пробуют вино, проверяют, что есть в холодильнике

болтают о всяком, и каждый думает по-своему

о счастье, не о пожеланиях, о жизни

они приходят из воды, из воздуха, из выдумок

а в полночь их заплетающиеся языки

выводят одну тихую мелодию

вот оно, исполнение

Ночь Дездемоны

когда из тени на стене придет свершение

в лабиринте коридоров угаснут наши голоса

а смысл слов скроют темные воды

на этом ложе с вожделением заснут любовники

в конечном счете, немногое меняется, белая кровь

красная и черная униформа, круглые черепа

и снова нет недостатка в поэтах

философия стирается, как уголь или мел

я разбиваю липкие тени деепричастий
они тянутся вслед, как пуповина греха
опускается темнота, плывут в каналах огни

в час ответа меня бередят вопросы
молчат механизмы, плененные собственным ходом, и только ночь
единственная компенсация

Кладбище в Черновцах

если граница существует только в нас
то почему я снова умер
на пустой стоянке
в ничего не значащей поездке
водитель нарезает круги
разговоры с незнакомцами
напоминают древнюю мифологию
от огней Буковины клонит в сон

глоток пива вместо нормальной еды

отражает пропорции и цепь событий
но уже поздно, и полная
луна заслуживает уважения
на город опускаются сумерки
неровное дыхание полудня
отмеряет время до темноты
и свет луны
струится на белом склоне
словно все мертвецы наблюдают
за этим забытым городом

если границы и впрямь существуют
то как же выходит, что опять умираю
на этой пустой стоянке
в ничего не значащей поездке
ведь, знаешь
никакая смерть не кончит этот свет
только далекие-далекие пространства
проглотят нас как сказку
перед сном

Теория малого взрыва

мы сидим за столом
вдруг собака чувствует приближение канонады
воя от страха, пытается спрятаться в ванную
под лестницу, втиснуться
между стеной и калорифером
сейчас начнется

через мгновение действительно
сухие стоны взрывают темноту
это первые залпы в честь праздника
потом сильнее, для подтверждения
мужественности, авторитета, свободы или чего-то
спрятанного глубже

потом и впрямь начинают
разносят городскую панораму, пускают
тысячи ракет и ракеток

в честь божка свободного рынка и стадного чувства

произносят какой-то тост, а потом попадают в глаз

произвол судьбы над облаками

малый взрыв – это, может

начало чего-то, что, собственно, начинается

нет чтобы бояться бога – люди

мечут в небо гром и молнии

время кружит на месте и не устает, словно

обезумевший от страха зверь

Сон в летнюю ночь

ты с таким задором молчишь, что не знаю ответа

ни на один из моих вопросов, не знаю времени, места

не знаю даже себя и своих желаний

а ты молчишь и улыбаешься

может, это лучший способ ответа

на все, что так или иначе касается нас

сад превращается в пустыню

полную диковинных зверей

прямо сейчас, когда без предупреждения

ты отворяешь дверь в такую ясную ночь

когда с ироничной улыбкой

пытаешься запомнить имена, лица и запахи

мы не знаем, какими путями приходит судьба

но она всегда вовремя, и каждое место

знает свой час

в худшем случае ничего не случится

и ни одна птица не покинет с криком небес

ни одна любовь не минует божьего промысла

какая путаница и неразбериха, а ведь

я мог бы найти место получше

на стоянке у торгового центра, я мог бы

стать служителем экзотического культа и петь

на восходе возлюбите ближнего своего

ибо ничто не изменит того, что вам суждено

любите врагов ваших

ибо только страх отвергает от вас счастье

отриньте зло

ибо лишь оно позволяет отринуть себя

вот что я говорил из глубины своих страданий

вот что я говорил из сердца надежды

расставляя правильные акценты

когда мне было тридцать девять весен

а моя жена не помнила о них

и ни один, ни один из миров

не казался более бренным

чем глаза, просящие о знании

о подтверждении

своей наивной веры

каждый мир – не больше, чем сбывший-

ся сон
наступающий из раскаленной тьмы
чем крик любимой женщины
еще одна бутылка виски
и костюмы с белым воротничком
в которых мы бегали в школу

наши первые слова
наши прощальные жесты
наша молодость, молчащая в тишине
и уверенность в том, что ничто не может нам угрожать
что ничто не может с нами сравниться
вера, которая двигает горы
но потом технологии чернокнижников
превращают нас в цветы и слова

В дороге

в пути без цели и без причины
мы проносимся мимо мира
за стеклом, а мир мимо нас

но остается время, бегут цветущие поля

программа не кончается, вечное повторение

и каждый полевой цветок оборачивается вослед

и вот уже серые леса погружаются в зимнюю ночь

белый снег, сизые пихты, бумага желтеет

сталактиты можжевельника всматриваются в следы на пнях

ты помнишь, все можно разбить и рассыпать

словно зерно, которое воруют птицы

как огни городов вдалеке

тысяча яблок катится сквозь ночь

и всегда кто-то плачет и кто-то смеется

и везде есть что-то небольшое

а между этим – что-то еще меньше

под каждым стеблем травы

что-то рождается и умирает

по какому заклятью

спешка тасует наши чувства

кто-то смотрит со стороны, кто-то остался позади

кто-то не вымыл руки, у кого-то нечистая совесть

всегда останется какая-то любовь или тоска

и между ними никакого пустого пространства

даже если так подсказывает страх

большой наш друг

Теория большого взрыва

сначала – взрыв и, наверное, что-то

чего мы не помним

потом только дым, мгла, мрак

ноги вязнут в нечистотах

мы поскальзываемся на неровной земле

она уходит из-под ног и вдруг ударяет в нас

со всей силы нашей инерции

когда нас будит сирена «скорой»
мы приходим в сознание
на секунду

не чувствуя боли
ничего не понимая
мы не можем поверить, что сначала
был большой взрыв

но ведь
должны же мы кому-то верить

теперь вернемся к здоровью
вот магическая сила теории
действительность тихо повизгивает

Битва наших встреч

грюнвальдская битва наших встреч повторяется
с удивительной регулярностью
когда
вижу твой пронзительный взгляд
всегда
чувствую торжественную силу излу-

чения

власть твоих глаз, спокойных, как океан

мои уши готовы внимать

мои сны убивают повседневность

переполненного лифта

и пробок по пути на работу

повседневность необычайного роста рынка акций

подходящей конъюнктуры в строительстве

туристических услугах и развлекательном секторе

безумств на книжном рынке, которые скоро

доведут нас до ручки

читательской выдержки

когда наконец все безграмотные станут поэтами

может, поэтому я не хочу слушать жалобы

хотя как ребенок

радуюсь своему будущему

и упорно отказываюсь от мимолетности

или просто регистрирую факты

переписываю имена, номера телефонов

чтобы до поздней ночи рассказывать о музыке и тишине

ведь повседневность ночей не имеет границ

я расплываюсь во тьме, и она замирает

в немом свете дня

наше время подменили артефакты, привлекающие знатоков

искусства

его суммируют бухгалтеры и технократы

и, видно, поэтому, когда ты так смотришь

дрожь по всему телу

дрожь в мыслях

и

как зверь, попавший в капкан метафизики

я раздираю когтями грудь
но кровь цвета ржавчины
цвета песка
и уже
тут нечего
добавить

Перевод с польского Е. Добровой

Из украинской поэзии

Галина Крук
Формальная логика

может ли бог создать камень,
который не в силах поднять?
или даже бог не может поднять камень,
который создать не в силах?

в конце концов, для чего нужно больше силы —
для того чтобы создать нечто неподъёмное
или для того, чтобы поднять нечто несотворимое —
да и зачем богу камень?

неподъёмное создание божие – человек
носит бога словно камень на шее,
держит словно камень за пазухой,
иногда – словно язык за зубами

человек поднимает вопрос о том,
чего не в силах создать

поднимает вопрос, чтобы бросить в того,

кто грешен больше, у кого камень меньше,

у кого сердце не камень

а сила на самом деле не в том, что можешь создать

и слабость не в том, чего не можешь поднять

бог с тобой, человек, опомнись!

бог с тобой, как это ни парадоксально

«Ничто не спасёт нас от этого разговора...»

ничто не спасёт нас от этого разговора

так, будто в детстве, что-нибудь натворив,

семенишь за мамой, и она грозит:

«поговорим об этом дома»

идёшь с поникшей головой, молчишь,

хочешь, чтобы дорога домой

никогда не кончалась
но она всё равно рано или поздно закончится
дорога домой, дорога из дома.
разговор о неприятном.
приятное, неприятное.
путница, когда ты придёшь в спа,
спроси там, хоть кто-нибудь знает,
где эти фермопилы?

Тактическая правота

всё, чему меня учили —
больше не пригодно

ни дать кому-то, ни взять, разве что позабыть,
пренебречь
(при этом слове чувствую себя фехтовальщиком)

всё, чему меня учили,
похоже на фехтование на рапирах:
не заступать за линию,

соблюдать правила приоритета, —
это же спорт, а не уличная драка

шаг вправо, шаг влево —
всё, что сказали мне о свободе

всё ещё воспринимаю знаки твоего внимания
как знаки приоритета на узкой дороге,
всё ещё ведусь на них

но когда ты даёшь волю своим рукам,
всё, чему меня учили
оказывается непригодным

«На линии огня...»

на линии огня
избран произвольный отрезок времени
обозначены какими-то переменными,
скажем, X, скажем, Y,
две точки неподалёку, тоже неизвестные
по какую сторону они? по какую ты?
всё зависит от оси координат,

всё зависит от вектора,
от направления движения:
или от этого куста, скажем, на восток,
или от этого дерева, например, на запад
вымокший и замёрзший,
голодный до человеческого тепла,
смотришь в тепловизор и понимаешь,
как ты одинок на самом деле в этом мире,
людном и нелюдимом одновременно

«Самый устойчивый человек...»

самый устойчивый человек —
на четырёх ногах:
две твои, две мои
едим друг друга как хлеб
взаимно друг друга пьём
говорит моими губами
какой-то ребёнок:

любовь – проста словно дверь

как дверь без защёлки
как дверь у которой ручка с другой стороны

Freefall in Love

с тобой всегда хочется больше,
чем позволяет тело

солнце садится, удлиняет наши тени,
наслаивает их друг на друга
смешивает в одно целое, и уже не понять,
где заканчивается моё,
где начинается то, что является тобой

подпуская ближе, чем можно,
допускаю, что мир будет вечен
любить – это быть немного не в себе,
ходить по самому краю себя,
отрезать себя лезвием Оккама,
не бояться падения

видишь, любовь, я не держусь,
я отпускаю руки

в воздухе так много душ,
что даже яблоку негде упасть

«В такую ночь как эта…»

в такую ночь как эта (звёзды и всё такое)
слышно, как кто-то говорит кому-то:
«одной любви не достаточно»
а что нужно ещё, не слышно
кто кому, из какого окна?
слишком много окон открыто
слишком много одновременно
закрой, говоришь
крестик крестик крестик
в правом верхнем углу
крестик крестик нолик
раздаёшь любовь как вайфай
забываешь сказать пароль

Главное

голова начинает и – выигрывает
а так хочется,
чтобы пошла она кругом,
бессердечная

Самооправдание

берёшься написать кому-то предисловие – а выходит стих
отзыв научного руководителя – а выходит стих
статью для сборника – а выходит стих
пробуешь составить планы на будущее – а выходит стих
пояснительную записку для сына в школу – а выходит стих
список нужных продуктов – а выходит стих
заявление об увольнении или отпуске – а

выходит стих

завещание – а выходит опять какой-то «Заповіт»

смирись, человече, сопротивляться нет смысла,

в каждом случае выходит стих и говорит за тебя:

простите ей, она поэт, она ничего не умеет,

у ней всё, как говорят, через…

стих

«Не забыть бы о самом главном…»

не забыть бы о самом главном

не забыть сфотографировать пасхи

не забыть сфотографировать мясное

не забыть сфотографировать писанки

не забыть сфотографировать корзинку

не забыть сфотографировать как освящали

не забыть фотоаппарат

не забыть телефон

а то, бывает, забудешь —
и ни единого селфи с распятым,
словно всё это было напрасно

Перевод с украинского С. Вельского

Из польской поэзии

Вислава Шимборска
Негатив

На буром небе
еще более бурая тучка
с черной обводкой солнца.

Налево или направо
белая ветка черешни с черными цветами.

На твоем темном лице светлые тени.
Ты уселся за столик
и положил на него посеревшие руки.

Ты производишь впечатление духа,
который пытается вызывать живых.

(Так как я еще вхожу в их число,
мы должны бы ему явиться и отстучать:
спокойной ночи или добрый день,
прощай или приветствую.
И не жалеть ему вопросов на любой ответ,

если они касаются жизни,
то есть бури перед тишиной.)

Военный парад

Земля – земля,
земля – воздух – земля,
воздух – вода – земля – земля – вода,
земля – вода – воздух – вода – воздух – земля,
воздух – земля – земля – земля – земля – земля,
Земли Воды Воздуха.

Аннотация

Я успокоительная таблетка.
Я действую в квартире,
приношу эффект в учреждении,
сажусь сдавать экзамены,
стою на суде,
старательно склеиваю разбитые горшочки —

только меня прими,
распусти под языком,
только меня проглоти,
только запей водой.

Я знаю, что делать с несчастьем,
как перенести плохую весть,
уменьшить несправедливость,
рассветлить отсутствие Бога,
подобрать к лицу траурную шляпу.

Чего ты ждешь —
доверься химической жалости.

Ты еще молода,
ты должна как-то устроиться.
Кто сказал,
что жизнь должна быть прожита смело?

Отдай мне свою пропасть —
я вымощу ее сном,
ты будешь мне благодарна
за четыре лапы падения.

Продай мне свою душу.

Другой покупатель не попадется.

Другого дьявола уже нет.

Лагерь голода под Яслом[6]

Напиши это. Напиши. Обычными чернилами

на обычной бумаге: им не дали есть,

все умерли от голода. Все. ***Сколько?***

Это большой луг. Сколько травы

Пришлось на одного? *Напиши: не знаю.*

История округляет скелеты до нуля.

Тысяча и один это всё еще тысяча.

Тот один, словно его не было вовсе:

выдуманный плод, пустая колыбель,

букварь, открытый не для кого,

воздух, который смеется, кричит и растет,

лестница для пустоты, сбегающей в сад,

---

[6] Примечания: 6

Лагерь голода под Яслом — лагерь для советских военнопленных, в котором в 1941–1942 гг. погибло 6 тысяч пленных.

ничье место в строю.

Мы стоим на том лугу, где тело стало телом.
А он молчит, как купленный свидетель.
В солнце зеленый там поодаль лес
для жевания дерева, для питья из-под коры —
порция пейзажа на целый день,
пока не ослепнешь. Вверху птица,
которая по губам передвигалась тенью
питательных крыльев. Открывались челюсти,
ударял зуб о зуб.

Ночью на небе блистал серп
и жал снящиеся хлеба.
Прилетали руки с почерневших икон,
с пустыми чашами в пальцах.
На вертеле колючей проволоки
качался человек.
Они пели с землей во рту. ***Прекрасная песня***

о том, как война попадает прямо в сердце.

Напиши, какая здесь тишина.

Да.

Радость письма

Куда бежит эта написанная серна через написанный лес?

Может, пить написанную воду,

что отражает ее мордочку как копировальная бумага?

Почему она поднимает лоб, разве она что-то слышит?

Опершись на одолженные у истины четыре ножки,

она стрижет ухом из-под моих пальцев.

Тишина – это выражение тоже шелестит на бумаге

и разгребает

вызванные словом «лес» ветви.

Над белым листком готовятся к

прыжку
буквы, которые могут лечь плохо,
окружающие предложения,
от которых не будет спасения.
В капле чернил есть большой запас
охотников с прищуренным глазом,
готовых сбежать по крутому перу вниз,
окружить серну, приложиться к выстрелу.

Они забывают, что здесь нет жизни.
Другие, черным по белому, господствуют здесь законы.
Мгновение ока будет длиться так долго, как я захочу,
оно позволит разделить себя на маленькие вечности,
полные задержанных в полете пуль.
Навсегда, если я прикажу, здесь ничего не случится.
Без моей воли не упадет даже лист,
ни стебель не согнется под точкой копытца.

Стало быть, есть такой мир,
которому я вершу независимую судьбу?
Время, которое я вяжу цепями знаков?
Неустанное существование по моему приказу?

Перевод с польского Т. Яблонской